199

ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА

КНУТ ГАМСУН

KNUT HAMSUN

1859

МЕСТЕЧКО СЕГЕЛЬФОС

ПЕРЕВОД К. ЖИХАРЕВОЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА—МСМХХIII—ПЕТРОГРАД

12/3-30

Гиз. № 4049 Петрооблит № 9045. Печ. 3.150. Зак. 95

Гос. тип. им. Евг. Соколовой, Петроград, Пр. Красных Командиров, 29

МЕСТЕЧКО СЕГЕЛЬФОС

SEGELFOSS BY

I

Зачем это там человек на новом сигнальном холме? Наверное, опять какая-нибудь дурацкая выдумка Теодора из Буа, — узнал бы об этом его отец, старик Пер из Буа!

Ну, у господина Хольменгро, у помещика, есть сигнальный холм, и флаг, и сигнальщик; это разумно и нужно: ему приходится подавать сигналы почтовым пароходам и когда к набережной заворачивает тяжелый грузовой корабль с зерном для мельницы. У Теодора же из Буа просто нет ни стыда, ни совести, он завел себе сигнальный холм только потому, что он мелочной торговец, и машет флагом всему на свете, а то и вовсе зря или только по случаю воскресенья. Валяет дурака!

Вот и сейчас — выслал человека на сигнальный холм, будто в этом есть надобность, и человек стоит, и смотрит на море, и держит наготове флаг, чтоб поднять его, как только увидит, что нужно. А и ждет-то, должно быть, всего какую-нибудь рыбачью лодку!

Но удивительно — сколько раз молодой Теодор из Буа ни махал флагом и ни дурачил народ — ему это всегда прощалось. Он возбуждал в людях любо-

пытство, увлекал их, заставлял работать языки — что такое будет нынче? От этого чорта Теодора можно ждать какого угодно сюрприза. Во всяком случае, Оле Иогана и Ларса Мануэльсена здорово разобрало любопытство; они встретились под горой на дороге и не могут оторвать глаз от человека на сигнальном холме.

Оле Иоган такой же, каким был всегда, во все годы службы у господина Хольменгро, орудует мешками и тяжелой кладью, неуклюжий замараха, в сапогах с голенищами и в исландской куртке. Ни до чего порядочного он не дослужился — куда там! — и семья его, как и раньше, едва-едва перебивается. Так-то плохо складывается жизнь для одних. Ларс же Мануэльсен—тот, напротив, достиг ступеней высоких, он рос вместе с местечком, с самим Сегельфосом, он отец Л. Лассена, знаменитого пастора на юге, ученого и кандидата в епископы, и отец Юлия, того самого, что держит гостиницу Ларсена на набережной. Давердана тоже его дочь, она замужем за пристанским конторщиком, и огненно-рыжие волосы придают ей необыкновенно страстный вид. Так что семья Ларса Мануэльсена очень возвысилась, сам он тоже уже давно самостоятельный хозяин, и никто не видал его в Буа без денег. Так-то вот складывается жизнь для других. Рыжая борода Ларса Мануэльсена поредела и поседела, волосы совсем вылезли, но сын его Л. Лассен прислал ему парик, и Ларс носит его постоянно. Если он ходит в буйволовой куртке с двумя рядами пуговиц и пальцем не притронется к работе, так это оттого, что ему не нужно, — настолько поправились его обстоятельства.

За последнее время Ларс ни от кого уже не слышит ничего обидного, но, разумеется, случается, что

его бывшие товарищи и собратья по каторжному житью на нашей грешной земле и скажут ему что-нибудь в роде того, чтобы:

— Не понимаю я, на что ты живешь, Ларс, ежели не крадешь?

Тогда Ларс Мануэльсен сплюнет, помедлит немножко и ответит:

— А я тебе — скажет — что-нибудь должен?

— Нет, что ты! А жалко, что не должен!

— Тогда я заплатил бы, — скажет Ларс.

Доходы Ларса Мануэльсена были вполне натуральные. Например, разве мог человек, имея таких важных детей, пойти работать на других? Конечно, нет. Но когда Юлий открыл гостиницу и стал принимать постояльцев, то, само собой разумеется, старик отец был привлечен к делу. Иначе, кто бы стал таскать сундуки и чемоданы с пристани и обратно? По первоначалу Ларс Мануэльсен был скромен и зарабатывал мало, но в последнее время доходы его возросли, частенько стали приезжать шкипера, прасолы, скупавшие убойный скот для городов, а то заглянет фотограф или какой-нибудь корреспондент иллюстрированной газеты, а тут появился даже коммивояжер с образчиками в ручном саквояже. А это все были щедрые и приятные постояльцы, видавшие свет и не жалевшие выбросить монетку в двадцать пять эре за то, чтоб их багаж снес отец знаменитости. Про Оле Иогана, стоявшего тут же, никто ничего не знал, про Ларса же Мануэльсена всем было известно, кто он такой, да он и сам это знал и не таил про себя.

— Нет, они ждут не рыбачью лодку и не парусную шкуну, — говорит Ларс Мануэльсен. — Ветра нет.

— Да, ветра нет. Разве что послали гребную лодку за приезжими гостями?

Оба обдумывают это, но находят невозможным, смешным. Нет, у старика Пера из Буа и у Теодора из Буа не бывает гостей. Вот если бы человек стоял на сигнальном холме господина Хольменгро...

Потому что господин Хольменгро все еще был великим человеком, и о нем всегда вспоминали прежде всех. Правда, несколько лет тому назад он понес огромные убытки, да и потом тоже у него было много потерь, но что значат одна—две потери для того, кто может с ними справиться? Ведь рожь и пшеница нынче, как прежде, прибывали в Сегельфос из Америки и с Черного моря на больших пароходах и покидали Сегельфос перемолотые в муку, направляясь во все северные страны и в Финмаркен. Мельница господина Хольменгро не стояла ни одного рабочего дня, хотя уже не работала по ночам, как встарь.

Насчет же гостей и всего такого Оле Иоган и Ларс Мануэльсен долго прикидывали, какого же это важного человека мог ожидать господин Хольменгро: ведь дочь его, фрекен Марианна, уже приехала домой, в красной пелерине, из Христиании и из-за границы, и во всяком случае—не стал бы господин Хольменгро пользоваться ради этого сигнальным холмом Теодора из Буа!

Оле Иоган говорит:

— Будь у меня время, я сходил бы на сигнальный холм и спросил. Не сходишь ли ты?

Ларс Мануэльсен отвечает:

— Я? Нет.

— Что так?

— Мне это ни к чему.

— Что ж, по мне, ладно, но только так никто из нас не узнает, — обиженно говорит Оле Иоган. —

Только уж очень ты стал важный, тебе ни до чего нет дела.

Ларс Мануэльсен плюет и отвечает:

— Я тебе что-нибудь должен?

Оле Иоган собирается уходить, но вдруг замечает Мартина-работника, несущего на плече несколько штук дичи. Мартин-работник идет из леса, в руке у него ружье, днем он охотится, — песцовые шкурки нынче семьдесят крон, а выдра — тридцать.

— Что убил нынче? — спрашивает Ларс Мануэльсен, желая проявить благосклонность.

— Смотри сам! — кратко отвечает Мартин-работник.

Мартин-работник так краток со всеми, и с отцом великого человека обращается не иначе, чем с другими. Великий человек, — кто в наши времена велик? После смерти своих бывших господ Мартин-работник не видал ничего великого среди людей, он живет большею частью воспоминаниями о временах лейтенанта, о временах Виллаца Хольмсена Третьего, когда теперешняя фру Раш, жена ходатая по делам, была камеристкой в поместьи, а Готфред-телеграфист служил на побегушках в Сегельфосе. Эти времена он помнит. Разумеется, и теперь тоже есть Виллац Хольмсен Четвертый, по прозвищу молодой Виллац; но он артист и редко живет дома, Мартин-работник мало его знает.

Он идет дальше с перекинутыми через плечо птицами, сохраняя свои старинные убеждения.

— Отчего ты не пойдешь к нам в гостиницу, продал бы птиц и получил бы за них деньги? — говорит ему Ларс Мануэльсен.

Слыхал Мартин-работник или нет? Слыхал отлично, но не ответил. Так презирал он это хвастливое предложение.

— Ты не видал, кто это стоит на сигнальном холме? — кричит ему вслед Оле Иоган.

Мартин-работник останавливается:

— На сигнальном холме? Корнелиус из Буа, — отвечает он, потому что спросил Оле Иоган.

— Корнелиус из Буа?

— Да.

Мартин-работник идет дальше. И в особенности он презирает Ларса Мануэльсена с его двумя рядами пуговиц на куртке.

А ведь оба, и Оле Иоган, и Ларс Мануэльсен, отлично видели, что это подручный лавочника Корнелиус стоит дозорным на холме, вырисовываясь с флагом в руке на небе, но им надо было это слышать и надо было об этом поговорить. Да, раз это Корнелиус, то, стало быть, дело касается хозяев лавки, Пера из Буа или его сына Теодора из Буа, а что же это может быть?

Впрочем, в Буа был только один человек, потому что сам старик Иенсен лежал в параличе, развалина на восьмидесятом году, и все равно, что нет его, сын же был все и великолепно вел дело, на широкую ногу, того и гляди станет богачом. У этого Теодора была счастливая рука на все, что он ни задумает и ни затеет: он перегнал отца, он зарабатывал деньги, тогда как отец их только копил. Молодому человеку было всего двадцать лет, а он до сих пор умел оградить местечко от конкурентов; недавно он проглотил даже пекаря со всей его пекарней за долг в лавку.

Но, при всем своем твердом и настойчивом характере, парень этот был все же довольно ограничен. Чего еще можно было от него ожидать? Как природный крестьянин, как мошенник, он хорошо вел

свою торговлю, но вне дела был не лучше прочих парней своего звания, пожалуй даже хуже по тщеславию и дурашности. Носил кольца на обеих руках, а иногда расхаживал по грязному полу своей лавки в башмаках с шелковыми бантами. Даже односельчане смеялись над ним и говорили: „Посмотрел бы на тебя твой отец!“

А что ему за дело до отца,—он победил и превзошел его. Уже несколько лет он спекулировал за собственный страх и покупал рыбу на Лофонденских островах, насколько хватало средств,—с каждым годом все больше и больше, и наконец завел себе собственную рыбачью яхту. И вот теперь парень стоял на большой высоте, и перед ним раскрывалось целое царство. Осенью он поразил всех,—продал свою новую рыбачью яхту и получил много денег. Бросил он рыбный промысел, что ли? Да, на один год. Сделал передышку.

Весною он купил у одной компании в Юттерэйе большую, гнилую шхуну „Анну“, которую можно было проткнуть дождевым зонтом; судно никуда не годилось, но зато ничего и не стоило. Два месяца спустя шхуна была наилучшим и наибыстрейшим образом отремонтирована и вдобавок оснащена, как галеас, покрашена, застрахована и отправлена на лов сельдей. „Анна“ выдержала, дно из нее не вывалилось. А зимой уж не пошла ли она в Лофонден за треской? Это было бы ее смертью; вместо этого Теодор заарендовал в тот год под свою треску грузовое судно. Это была замечательная идея, и все понимали, что она приносит каждый день убыток. Убыток? Как раз в эти дни милашка Теодор заказал себе из золотого в двадцать крон булавку для галстука и стал щеголять в этом украшении. А что

же произошло осенью, когда треска высохла и стала легкой? Милашка Теодор погрузил ее на гнилой галеас, перестраховал и отправил в море. Правда, это был последний рейс галеаса «Анна», он пошел ко дну, едва миновав Фолла, но никогда у милашки Теодора не было дела выгоднее этого. Благодаря этому маневру, он получил капитал, необходимый для следующей операции: знаменитой покупки гагачьего острова у купца Генриксена.

За этой операцией последовало много других. В особенности ему везло со старыми судами; нынче у него опять имелась старая, но вполне пригодная шхуна. И вот теперь шхуну ждали со дня на день с новым грузом трески, которую предстояло сушить на горах, но шхуна не могла прийти вследствие безветрия. Однако Корнелиуса послали сигнализировать не шхуне.

Оле Иоган обладает закоренелым пороком, терзающим его ежеминутно: он любопытен, как баба. И вот он предлагает пойти прямо в Буа и все разузнать, если Ларс Мануэльсен тем временем поработает за него на мельнице.

Правда, Ларс Мануэльсен больше не работает своими руками; но он уж столько раз отказывал своему товарищу и соседу, что теперь не хочет отвечать напрямик: нет.

— Я не так одет, — говорит он вместо этого.

— Одет? Ну, да, у тебя восемь пуговиц на куртке, — раздраженно издевается Оле Иоган, — и ты боишься, как бы они не смололись!

— Не в этом дело, — отвечает Ларс Мануэльсен довольно миролюбиво. — Но я не знаю, позволит ли парик.

— Парик? А разве ты не можешь его снять. Что же, ты так на всю жизнь и хочешь быть разва-

линой из-за парика? Начхать на парик! Надевай его по праздникам и к причастию, — против этого никто тебе ничего не скажет.

Тогда Ларс Мануэльсен направляется к мельнице и больше не препирается. Для этого он слишком важен. Покосившись через плечо, он видит, как Оле Иоган поворачивает к Буа.

На мельнице ему все хорошо знакомо с прежних времен, и он сам находит себе работу. Но он нагибается не чаще, чем надо, и не поднимает тяжелых кулей,— это все отошло в прошлое, когда он еще не получил великого отвращения к труду.

Бертель из Сагвика стоит на своем посту. Он дослужился у помещика до положения доверенного, и поденная плата его теперь немножко выше, чем когда он поступил. Бертелю из Сагвика и его жене живется сносно, сам он имеет верные деньги, а жена его, по примеру прочих, шьет мешки для мельницы и тоже прирабатывает. Дети у них выдались хорошие и после конфирмации вышли в люди: Готфред служит на телеграфе, а дочь Полина живет хозяйкой в имении Сегельфос и заведывает всеми служащими, оставшимися у молодого Виллаца. Эта самая Полина отлично научилась домоводству и кулинарии у стариков Виллац Хольмсен, так что была бы очень подходящей хозяйкой в гостинице Ларсена,— ну, да разве Юлий о ней не подумывал? Еще как, он уже давно думал о ней, и любил ее, и настойчиво сватался, но Полина его отвергала.

Ларс Мануэльсен не устоял — завернул к Бертелю поболтать и прежде всего объявил, что он пришел сюда не работать, а за тем, чтоб немножко пособить Оле Иогану.

— Понимаю, — отвечает Бертель и слегка усмехается про себя.

— Я больше не хожу работать, мне это не нужно.

— Конечно, — отвечает Бертель и сильнее усмехается про себя, потому что с годами Бертель стал очень весел и жизнерадостен.

— Потому что, ежели насчет всего такого, так у Юлия есть гостиница Ларсена с едой и питьем, и готовыми постелями, и всем, что душе угодно.

— И я то же говорю.

Ларс Мануэльсен спрашивает:

— Так как же, женится Юлий на Полине? Известно тебе что-нибудь?

— Нет.

— Я вот что хочу сказать, — продолжает Ларс Мануэльсен, — мой сын Лассен мог бы повенчать их, а ведь это, пожалуй, получше, чем если бы их повенчал кто другой.

На это Бертель отвечает, что ему ничего неизвестно; Полина вольна поступать, как хочет, и непохоже, чтоб она торопилась уходить из имения.

— Она может поступать, как ей угодно! Да что же она думает? Смешно слушать! Что же, она метит за самого Виллаца? Шалопай и музыкантщик, то он в одной стране, то в другой. А имением управляет Мартин-работник.

Но Бертель сохранил часть своего прежнего почтения к дому Хольмсен, его сердит насмешка Ларса Мануэльсена над молодым Виллацем, и он этого не скрывает:

— Твоя мать родила шалопая, — сказал он, — и шалопай этот — ты. Виллац настолько выше меня и моих семейных, что он не замечает нас на земле, а еще меньше видит Полину, которая служит ему за насущный хлеб. Виллац — барин, а что такое мы

с тобой? А до твоего поганого рта, Ларс, ему и дела нет, он и плюнуть-то на тебя не захочет!

С этими словами Бертель весьма непочтительно сплюнул.

Ларс Мануэльсен стоит безмолвно, полный собственного достоинства. Давно уже никто не говорил с ним в таком оскорбительном тоне, и вот он уходит — возвращается на свое место и к своей работе, подальше от Бертеля из Сагвика.

Внизу, по дороге, идет господин Хольменгро, сам помещик. Удивительно, до чего он изменился! Серая куртка, серые сморщенные брюки, пара грубых башмаков, белых от муки, и большая нечищенная шляпа — вот и все его великолепие. Зимы с каждым годом становятся мягче, но люди, раньше ходившие в куртке, теперь стали носить пальто, — они сделались такие неженки, такие зябкие; господин же Хольменгро идет в серой куртке. Даже ленсман из Ура носит на фуражке шнур, даже у лоцмана с берегового судна ясные пуговицы с якорями; а господин Хольменгро похож на рабочего у невода или на артельного старосту. Если б люди не привыкли к этому за последние годы и не видали его в другом виде, они бы очень подивились. Не он ли король Тобиас здешних мест, не он ли поработил и согнул перед собой все живое? Если бы не толстая золотая цепь на жилете, никак нельзя было бы подумать, что это он. Да, не будь цепи, его можно было бы принять за сушильщика рыбы у Теодора из Буа.

Он проходит мимо Бертеля из Сагвика, и Бертель кланяется. Идет к четверым рабочим, которые насыпают мешки мукой и затягивают у них верхушки; эти не то кланяются, не то нет, двое слегка кивают, а двое умышленно нагибаются над

мешками и притворяются, будто не видят. Это рабочие нового склада, они ходят в галошах и приехали сюда на велосипедах, машины их стоят поблизости.

Господин Хольменгро заговаривает с ними, они не выпрямляются и слушают не очень внимательно; стоят, навалившись на мешки, и словно заставляют себя слушать. Когда хозяин кончает говорить, они выпрямляются и с минуту думают о том, что он сказал, потом начинают громко разговаривать между собой так, чтобы хозяин слышал, выражают сомнение в правильности его распоряжения, спрашивают друг у друга, плюют, советуются: — Как по твоему, Аслак? — говорят они. — Что нам делать? — говорят.

Помещик повернулся уходить и уж сделал несколько шагов, но, услышав последние слова, кричит через плечо:

— Что вам делать? Вы должны сделать так, как я сказал!

И при этом, должно быть, думает, что дело решено. Увы, оно, пожалуй, совсем не решено; но помещик видит сейчас, как и раньше, что уважение пропало, он боится спора и удаляется. Больше он не смеет настаивать. Случалось, что помещик увольнял своего слугу Аслака, но тогда остальные его слуги грозили, что тоже уйдут. Это случалось два раза, и оба раза не приводило ни к чему.

А будь на его месте бывший владелец имения Сегельфос, лейтенант! Молнией сверкнул бы воздух от хлыста, — вон! С годами господину Хольменгро часто приходилось вспоминать лейтенанта Хольмсена: слов у того было немного, два слова, четыре, а глаза словно печати. Когда он сжимал в руке ручку хлыста, суставы пальцев становились совсем белыми, но

зато, когда он раскрывал руку и хотел кого-нибудь поощрить, минута эта долго жила в людской памяти. Служить у него было приятно, потому что он умел приказывать, он был начальник, барин. А носил ли он огромные золотые кольца в ушах, как важные шкипера с западного побережья? Курил ли длинную пенковую трубку с серебряным мундштуком? Был ли так толст, чтобы на двух стульях помещать свое величие? И все-таки никому не отводилось такого просторного места, как ему, и никто не осмеливался говорить с ним свысока.

Господин Хольменгро и поныне удивляется. Он ли не пробовал сам всяческими способами приобрести власть над своими служащими? Разве он не додумался даже до того, что поступил в масоны и разгуливал, словно затаив какую-то сверхъестественную силу. Но люди не очень-то обращали на это внимание, никто его не боялся, таких дураков не было. Да никто в точности и не знал, действительно ли помещик был масон.

Он подходит к Ларсу Мануэльсену и говорит:

— Здравствуй, Ларс. Ты опять начал у меня работать?

Ларс отвечает:

— Избави бог! Нет, это я только случайно.

— Где Оле Иоган?

— Задержался внизу. Я поработаю покамест вместо него.

— Я послал сегодня утром поденщика на подмогу, где он? — спрашивает господин Хольменгро.

— Поденщика? Не Конрада ли? — Нет, Ларс Мануэльсен не видал Конрада.

— Он столуется у меня, получает харчи, нынче утром он должен был прийти сюда.

— Стало быть, сидит где-нибудь и ждет. Разыскать его?

— Да, разыщи.

Все идет неладно, и помещик хмурит брови. Поистине, у этого короля, владеющего поместьем Сегельфос, много неприятностей. Несколько лет тому назад это был добродушный и свежий господин, теперь у него синие жилки на висках, заострившийся нос, морщины у глаз и седая борода. Все у него тонкое: руки и лицо, ноги—все превратилось в кожу да кости. Но разве он стал из-за этого ничтожен? Тогда он не был бы тем, кем он был! Правда, в деятельности его уже нет прежнего широкого размаха, да, мельница его работает только днем, он держит меньше рабочих; но король Тобиас не рассыпался на кусочки, у него выносливости хватит. Когда он стоит на открытом месте и, задумавшись, озирает свою могучую реку, а за нею пристань и море, и дает волю своей голове похозяйничать, тогда выражение лица его сильно, и глаза полны отваги. Молодость отлетела от него, да, но старость еще не пришла, он человек пожилой, но поговаривают, будто в соседнем поселке у него еще родятся ребятишки.

Ларс Мануэльсен возвращается с поденщиком, и помещик спрашивает:

— Что ты делал сегодня?

— Да я только так, сидел, — отвечает Конрад.

— Он сидел и курил, — докладывает Ларс Мануэльсен.

— А что же мне было делать? — спрашивает Конрад. — Ведь Оле Иоган не пришел.

— Ты мог бы явиться ко мне и был бы приставлен к работе, когда я пришел, — важно говорит Ларс Мануэльсен.

Но Конрад фыркает:

— К тебе? Мне надо было явиться к тебе?

— Да, надо было, — подтверждает помещик.

— Нет, не надо, — говорит Конрад. — А если вы хотите вычесть с меня за этот прогул, так я за него ничего и не получу.

— И ты думаешь, что тогда все в порядке? — спрашивает помещик. — Да ведь работа, которую ты должен был сделать, стоит.

— Да, а что ж, если Оле Иоган не пришел? Я тут не при чем.

— А то, что ты два раза ел сегодня, это мне тоже с тебя вычесть?

Тогда поденщик отвечает:

— Ел? Что же мне — выходить на работу на тощий желудок? Нам, наемным рабам, становится все хуже и хуже, вы хотите вырвать у нас даже кусок изо рта.

Дело опять грозило жестокой перебранкой, если б помещик не смолчал. Он знал, чем это кончится: поденщик останется.

— Собственно, мне следовало бы сейчас же отправить тебя домой, — сказал помещик и пошел.

Конрад не полез за словом в карман.

— Вы так полагаете? А я вот так прост, что думаю — у нас в стране есть закон и право. И если я пойду в газету, так там тоже так думают.

Да, в газете, конечно, думают тоже так, — размышлял господин Хольменгро, — в почтенной „Сегельфосской газете", выходившей уже седьмой год и руководившей мнениями городка и округа! Помещика неоднократно поминали в газете, кое за что осуждали, усердно трепали его и за цены на муку, — в особенности пшеничная мука и ржаная мелкого раз-

мола стала очень дорога для бедноты. Но „Сегельфосская газета“ была справедливая газета, редактор умел признавать заслуги, а его признание было не лишено значения. „Мы“, — говорил он, — „по нашему мнению“, — говорил он. Изредка он предупредительно кивал в сторону господина Хольменгро, одобряя его деятельность, а один раз написал:

«Считаясь с обстоятельствами, мы должны одобрить произведенную помещиком починку дороги к мельнице. Подъем теперь значительно мягче, и подводчики могут забирать на 100 кило больше груза. Дорога стала несколько длиннее против прежнего, но, как сказано, это окупается большей нагрузкой подвод. И потому, в качестве нашего личного мнения, мы должны сказать, что перекладка дороги была полезным для нашего местечка мероприятием, хотя не можем не заметить, что коням очень многих бедняков приходится взбираться на более крутые пригорки и нести более тяжелую работу, чем здесь. Нельзя также отрицать большой выгоды для работодателя от того, что теперь измученный рабочий может утром подъехать на велосипеде прямо к месту работы и, таким образом, приступить к своей ежедневной каторге с нерастраченными силами. Запомните это, рабочие!»

Наконец приковылял Оле Иоган. Он из хороших старых рабочих на мельнице, глуповат и бестолков, но надежен и силен, и умеет не жалеть себя, когда нужно. Вежливость его выражается в такой форме, что он еще издалека начинает кланяться и кричит:

— Здравствуйте! Я ужасно опоздал, но я послал за себя Ларса!

Господин Хольменгро только кивнул и удалился с мельницы.

— Что, он рассердился? — спросил Оле Иоган, смотря ему вслед.

— Попробовал бы! — ответил Ларс Мануэльсен с ударением.

— Так ему и позволили! — ответил поденщик и выпятил грудь.

Тут вся история была пересказана, обсуждена и оценена. Поденщик не забыл повторить, что он ответил почтенному барину: — Право и закон в стране! — сказал я.

— Да, я стоял вот тут и слышал, — подтвердил Ларс Мануэльсен, перешедший теперь на сторону Конрада. Ободренный этой поддержкой, Конрад заважничал еще больше:

— Ты ведь сам знаешь, Ларс, да и ты тоже, Оле Иоган, что я исполняю свою работу и несу свое бремя. Но когда он поступает, как тиран или, скажем, как рабовладелец, то я не из таковских, чтоб молчать. Пусть он это попомнит! Потому что, — или я скажу ему, что думаю, прямо в глаза, или он не услышит от меня ни звука.

— Да, — сказал Ларс Мануэльсен. — Что это я хотел сказать? Известно кому-нибудь, чего это ради Теодор из Буа подает сигналы?

Конрад обиделся, — он полагал, что сумеет поддержать интерес к себе еще на порядочное время. И он пошел прочь, прошел мимо Бертеля из Сагвика, мимо велосипедов, которые мимоходом осмотрел, и остановился у группы, затягивавшей мешки.

А Оле Иоган тяжело плюхнулся на мучной мешок, так что от него пошел столбом дым. Свинья! О, да ведь это все равно, — немножко больше или немножко меньше муки на его платье, — какая разница? Оно и раньше состояло из материи и муки, на нем и раньше были корки из теста.

— Чего ради он подает сигналы? — повторил Оле Иоган. — Я спросил его, зачем он морозит человека на сигнальном холме? А он, Теодор-то, ответил: „В положенное время узнается".

— Да, такой ответ как раз подстать его поведению и складу, — с досадой говорит Ларс Мануэльсен.

Оле Иоган встал и для начала стащил с себя куртку; но любопытство его так велико, что парализует его.

— Если б я мог догадаться! — сказал он. — Ты что думаешь, Ларс?

— Пожалуй, опять одни выдумки и хвастовство Теодора.

Оле Иоган сказал:

— А знаешь, что я думаю, Ларс? Я думаю, что это опять не что иное, как выдумки и хвастовство этого Теодора. Наплевать на него!

Но таким способом они сами лишали себя интересного приключения и опустошали себе душу. Оле Иоган все никак не мог взяться за дело и вдруг сказал:

— А что, если это принц шведского короля? Едет к нам на охоту!

— Разве что так!

Тогда Оле Иоган пришел в необычайное возбуждение, снова напялил на себя куртку и сказал:

— Пойдем, послушаем, что скажут Аслак и другие.

Так шло время. Эти люди работали мозгами на свой образец и по-своему питали свои сердца. И им тоже мерещились чудные видения, когда они заглядывали в страну фантазии.

А работа стояла.

Подойдя к Аслаку и остальным рабочим, они снова прослушали историю о храброй отповеди поденщика,

о том, что в стране, слава богу, есть закон и право. И память Конрада не притупилась; наоборот, она обострилась, он припомнил теперь, что бросил слово „рабовладелец“ помещику прямо в лицо да еще прибавил: масон. Шестеро взрослых мужчин стояли и слушали седьмого. Работа не подвигалась.

Вот они — современные рабочие, разъезжающие на велосипедах и щеголяющие в пиджаках с болтающимися часовыми цепочками, закаленные борцы, прибегающие к прессе. У всех у них были свои мнения. Они знали себе цену, да в сущности они и имели цену, потому что их было много. Куда денутся остальные без них? И что они смогут против них? Капиталисты, судный день близится!

Оле Иоган попробовал преподнести свою великую сенсацию: о человеке на сигнальном холме. Нет, Аслак и другие ничего не знали, они были закалены в борьбе, у них не было даже фантазии, они снова вернулись к делу Конрада. О, это дело Конрада, чего оно стоило, как могло утолить человеческое сердце!

Тогда Оле Иоган одновременно и разочаровался, и оскорбился, чувство долга внезапно вспыхнуло в нем, он величественно зашагал на свое место к своей работе, снимая на ходу куртку, и крикнул через плечо поденщику:

— Ну, иди, что ли, Конрад, да живей, сию же минуту!

Ларс Мануэльсен пошел прочь.

— Если услышишь что, приди к нам рассказать! — крикнул ему вдогонку Оле Иоган.

„Очень-то мне это нужно!“ — подумал про себя Ларс Мануэльсен. — „Эти старые приятели не помнят, чей я отец“, — думал он. Он пошел вниз, ощупывая на ходу свою куртку.

Корнелиус все еще стоял на сигнальном холме и таращился на море. Внизу, в Буа, у мелочной лавки, царило то же оживление, что и каждый день: покупатели и зрители, дети и собаки, рабочие, таскавшие ящики и тюки, таскавшие товары в большую сельскую лавку для продажи в розницу.

И как это из таких мелочей могла вырасти такая громада!

II

То же самое строение, в котором старик Пер из Буа начал свою маленькую мелочную торговлю, но увеличенное и расширенное вдвое. Это сделал Теодор.

Наверху, в мезанине, лежал сам Пер из Буа и никак не мог умереть. Поразительно, до чего он был живуч, хотя парализованная сторона у него порядком высохла, так что получилась женская рука и женская нога, вместо его прежних солидных конечностей. Умереть? Разумеется. Но не сейчас, не раньше времени! Люди издалека могли судить о его ежедневном нежелании умирать; он лежал в кровати и стучал в пол палкой, когда ему что-нибудь было нужно, стучал часто, оглушительно и вмешивался во все происходящее. Он и лежал-то всегда в жилетке, для того чтобы хоть верхняя часть туловища не совсем была прикована к постели. Но все же это был дряхлый и безнадежный паралитик, заросший бородой и с белыми косичками на затылке. Летом, в теплые дни, его выносили наружу, и тогда он испытывал большое удовольствие, наблюдая движение перед своей мелочной лавкой. Зимою же, в короткие дни, он не читал, лежа, газеты или собрание проповедей,—

для этого керосин был слишком дорог, — а лежал впотьмах и слушал далекое, за милю от земли, пение лебедей, и это было жуткое пение, на которое он отзывался невольным стоном. Ветер словно швырял железные листы, церковные флюгера вертелись, большие ворота скрипели на петлях: у — у! И какого чорта так кричат дикие птицы? Ведь никто их не трогает!

Но в летние светлые ночи Пер из Буа опять становился другим,—он лежал, и строил планы, и ворочал делами. О, это были детские забавы, сущая чепуха. Он полагал, что торговля и оборот ведутся в наши дни точь-в-точь так, как в его времена, только что все стало немножко крупнее. Он все еще верил в такой товар, как постные баранки, которые купеческие яхты привозили из Бергена в пустых бочонках и гробах. Он верил в гвозди, много ящиков с толстыми трех и четырех-дюймовыми гвоздями, в мятные лепешки для школьников, в бумажные воротнички и манишки,—кому это теперь нужно! Пер из Буа был человек старинного склада, идиотски бережливый, выше всякой меры осторожный и упрямый мелочник. Ну да. Но бог знает,—может быть, лежа и торгуя ненаходящими спроса товарами, он знал, что делает и даже как будто обманывал кого-то. Кого? Себя самого или других, но кого-то обманывал. Он родился для того, чтоб менять и торговать, и его неистребимый талант к этим занятиям вел его все дальше и дальше; он давно уже миновал двусмысленность, перешагнул изощренный обман, и теперь, пожалуй, совершил полный круг, добрался до изнанки: он играл в обманывание. Коварный и смешной человек.

Он постучал палкой в пол. Наконец пришла его жена; он велел позвать Теодора, а когда жена про-

должала стоять, не торопясь исполнить приказание, он повторил свои слова очень кратко. Он не разговаривает с женой без особой надобности и никогда не смотрит на нее, потому что она представляется ему козой в образе человека.

— Это смотря по тому, есть ли у Теодора время, — говорит она.

— Пусть Теодор придет сейчас же!—кричит Пер из Буа.

Но Теодор шел или не шел, в зависимости от времени и охоты. Если отцу приходилось ждать слишком долго, он посылал новых гонцов, и слова его были еще грознее. Ведь вот, старый упрямец и до сих пор имел некоторую власть, не говоря уже о том, что все дело велось от его имени и под фирмой П. Иенсен. Теодор и посейчас еще не отваживался являться к отцу в полном параде, а обычно прятал свои перстни в жилетный карман. Так сделал он и на этот раз.

Он останавливается у постели и, из прежнего уважения не садится на стул.

— Ты не мог прийти, когда я стучал?—говорит отец.

— Я был в погребе, — отвечает сын.

— Не верю. У нас есть спички?

— Спички? Как же.

— Цена на них не поднимается?

— На спички? Нет.

— Нам надо закупить тысячу гросс, — говорит старик, — тогда они поднимутся.

— Тысячу гросс? Это груз на целую яхту, да и где мы их будем хранить?

— В сарае. Чтоб в сарае плясу больше не было, это грех. У меня было насчет этого знамение. А нечистый пусть заполучит в сарай спички!

Из старого уважения, Теодор не смеется и не хлопает себя по коленке. Стало быть, отец хочет победить нечистого, победить дьявола спичками! Но и сам не собирается на этом проиграть,—он хочет скупить дочиста всю фабрику и сам завладеть всеми спичками в Норландии. Детские затеи, — отец превратился в младенца. Тысячу гросс спичек невозможно перевезти, они займут, бог знает, сколько места и ничего не весят. Да и какой барыш даст тысяча гросс спичек? Никакого. Будь это тросточки или ткани на блузки.

— Тысячу гросс, я так решил. А соль у нас есть? — говорит старик, предполагая легким спичкам противопоставить тяжелый груз.

— Соль? Есть, сколько нужно на лето.

— Что, закром полон?

— Не скажу, что б совсем полон. Но соль от жары тает.

— Щенок — хочешь учить отца? Так, значит, сто тонн соли. Ступай и напиши.

Все это был вздор. Теодор сошел вниз и ничего не написал. Он понимал, что отцу очень важно было выставить спички против нечистого, раз он шел даже на большой убыток от соляной операции, но отец был невменяем. Да и сарай нельзя было трогать,—он служил танцовальным залом для молодежи и приносил колоссальный доход. Правда, у лавки отняли право винной торговли, но все же многие приходили к милашке Теодору и получали от него бутылочку на субботнюю вечеринку. И когда Теодор сам иной раз приходил в сарай во всем своем великолепии и в башмаках с бантами, он был словно барин, словно вельможа, богач, олицетворение земной пышности и величия в глазах всех бывших там

девушек. Но юный Теодор любил принцессу, и девушки для него не существовали. Должно быть, господь бросил это тяжкое несчастье в трюм его души, чтобы он не опрокинулся от глупости и легкомыслия. Но это был крест.

Он опять надевает свои кольца и спускается в лавку, в свое царство. Толпящиеся у прилавка и загораживающие ему дорогу расступаются перед ним; он поднимает доску, проскальзывает в проход и опять опускает доску. Теперь он командир. У молодого человека двое подручных, полки и выдвижные ящики полны, потолок увешан товарами, пол завален товарами, — в лавке все, что может пожелать человек: шелковые ткани, изразцовые печки, венское печенье. Он помещал объявления в „Сегельфосской газете“ только ради шика, — это было излишне, конкурентов у него не было, но он вел дело на современный образец.

Старик Пер из Буа не имел никакого представления о том, что происходит под его ногами, он сказал: спички, сказал: соль. Уж не воображал ли он, что и сейчас, как во времена его владычества, дневную выручку можно уложить в кожаный кошелек и запрятать на ночь под подушку? Теперь выручка записывалась в толстые книги и пряталась в несгораемый шкап в конторе, а контора существовала для одного только Теодора, который сидел там на высоком винтовом табурете и записывал все на свете.

Вначале, когда он был маленьким, он писал: „с совершенным почтением Теодор Педерсен“, потому что отца его звали Пер, теперь же подписывался: „Теодор Иенсен“, потому что отца звали Иенсен. Это мать перекрестила так отца,—она захотела ходить в шляпке и величаться «мадам». Так все и пошло расти

в вышину, одно за другим, пуще же всего — торговля. Спички и соль? Нет, консервы, и макароны, и швейцарский сыр. Упрямый калека в мезанине и сейчас требовал козьего сыру, как в старину, — простак, козьего сыру негде было достать, потому что никто уже не держал коз. Товар вывелся точно так же, как вывелись бумажные воротнички и постные баранки. Старику предлагали взамен так называемый жирный сыр, или сливочный,—покорно благодарю, он выплевывал эту дрянь на пол! Он был самым неприятным клиентом в лавке из-за своего пристрастия к старине. Почему бы ему не есть, со всеми прочими, рокфор в серебряной бумажке и камамбер в изящных деревянных коробочках? Но это, в его глазах, был обман. Клецки в молоке — это он понимал, но макароны — это еще что такое? Он отстал от развития местечка и его обитателей, теперь и здесь уже не было человека, который не кушал бы макарон на свой заработок, и все кушали конфеты, и кушали вкусные сливы на заработанные денежки, и истребляли целые леса макарон, как заграницей!

В особенности сказались все эти новшества на домашнем хозяйстве,—его стало гораздо легче и удобнее вести. Масло? Масла уже не сбивали, а шли в лавку и покупали маргарин. Кладовые и чуланы с мясом, свининой и рыбой? Все бы до смерти нахохотались над чудаком, который вздумал бы запасаться солониной. Гораздо разумнее было покупать кушанье в жестянках, порционное кушанье. Оно было готовое, сваренное, почти что уже пережеванное, только и оставалось, что завязать его в тряпочку и сделать соску для человечества. Ах, как бедным хозяйкам приходилось мучиться в старину по сравнению с теперешними временами! К чему теперь зубы во рту?

Ведь вставные зубы висят на шнурке в лавочке дантиста, а для жестяночных кушаний требуется только ложка. И потом, кушанья в жестянках свежие, они действуют мягко на людей, уже получивших от них язвы желудка. Так неужели это не расцвет по всей линии?

А вот Нильс-сапожник и его сын остались без хлеба. Они, некогда бывшие самыми необходимыми людьми в Сегельфосе и окрестностях, шившие кожаные башмаки, которых хватало на год, а то и на два, и умевшие положить заплатку так, что она служила только отделкой и украшением сапога,—они остались без хлеба. Теперь люди покупают обувь в лавке. Ну, конечно. И она страсть какая блестящая и остроносая и чуть что не тает на языке.

Выдержав такое положение вещей несколько лет, в течение которых Нильс становился все тоньше и тоньше и превратился в тень самого себя, чуть ли не в мальчика-конфирманта,—до того он стал легок на ногу, когда бродил по избам, напрашиваясь на ломоть хлеба с чашкой кофе, и когда на каждой мусорной куче находил эти покупные сапоги и покупные башмаки, которые люди снашивали в каких-нибудь два-три месяца и потом выбрасывали,—да, выдержав это несколько лет, Нильс-сапожник в один прекрасный день решительно отправил своего сына в Америку, а сам продолжал бродить по пустырям и голодать изо дня в день. Нечего говорить — иногда он встречал щедрую душу. Встречал Борсена с телеграфа, начальника станции, и тот давал ему несколько грошей. Странное знакомство было между ними,—оно началось с того, что Нильс-сапожник пошел однажды к начальнику телеграфа, указал тому на его сапоги и предложил подкинуть под них подметки.

— Нет, — сказал Борсен, — на это у меня не хватит средств. Но вот, выпей рюмочку и возьми две кроны.

И с тех пор сапожник постоянно получал какую-нибудь мелочь, когда у Борсена было из чего уделить.

Юлий тоже нередко помогал ему, — в гостинице Ларсена оставалось много объедков для изможденного скелета.

— Покорми Нильса, он пришел издалека, — говорил хозяин Юлий своей матери, заведывавшей кухней, — дай ему побольше мяса, — говорил Юлий.—Уж если ты идешь в поместье и увидишь Полину, так пусть не скажут, что тебя отпустили из гостиницы Ларсена без всякого угощения,—говорил Юлий Нильсу-сапожнику.

— Еще никогда не случалось, чтоб я прошел мимо гостиницы Ларсена и меня не угостили по-царски,— отвечал, в свою очередь, Нильс-сапожник, и говорил хитро и раболепно. Старый крючок!

Еще была хорошая кухня, куда приятно попасть, у жены ходатая по делам, адвоката Раша. Самого адвоката Нильс-сапожник никогда не видал; он был ужасно жирный и толстый и постоянно сидел в своей конторе, пыхтел и вел большие дела; зато Нильс-сапожник видел барыню,—добрая душа, во времена лейтенанта она жила в поместье Сегельфос и звалась иомфру Сальвесен, а потом сделалась важной дамой. Да, поистине, все, как есть, возвысились против прежнего! У лейтенанта иомфру Сальвесен просто служила на жалованье, и удивительно, что тогда она была довольна и счастлива. Ну, а теперь она была фру Раш, имела кучу денег и двоих детей,— чего же еще? И все-таки фру чувствовала себя несчастной, нервничала и жаловалась, часто плакала

и вела себя глупо, хотя наряжалась в бархат и перья. Вот так положение! Может, ее подсекло, что она стала матерью двоих детей? Или же она не могла забыть начальника пристани у господина Хольменгро, с которым она была помолвлена, когда явился адвокат Раш и женился на ней?

Когда Нильс-сапожник притаскивался к ней в кухню с веником, сделанным для барыни, или с починенным детским башмачком, фру Раш подсаживалась к нему, угощала, говорила о старых временах и расспрашивала, как живется в Америке его сыну. И даже мысль-то о переселении в Америку пришла как раз этой странной фру Раш, но, к сожалению, денег тогда она не могла дать—всего несколько крон, двадцать крон, которые она урвала из своего хозяйства, приписывая в течение многих месяцев к подаваемым мужу счетам. И чудная барыня чуть не плакала, давая Нильсу-сапожнику эти двадцать крон для сына, эти гроши для сына, и вся покраснела от того, что их так мало. „Но вот, — сказала фру Раш, — здесь есть еще, это деньги на весь билет, они от молодого Виллаца, — сказала она, — от Виллаца Хольмсена, понимаешь?“ И фру Раш рассказала, как она написала молодому Виллацу,—он был далеко, жил в большом свете, давал концерты, тешил людей музыкой и был знаменитостью. Так вот, она ему написала и получила все, что просила, и даже больше. „Денег?—ответил молодой Виллац.—С удовольствием!“ Точь-в-точь, как в свое время его отец, когда к нему приходили и о чем-нибудь просили. Ах, помещики Хольмсен, вот это были господа! И сын такой же, две капли воды, как его родители. Нынче летом он приедет домой и долго проживет в своем большом доме.

Фру Раш необычайно взволнована и с воодушевлением разговаривает с Нильсом-сапожником, не обращая внимания на то, что ее служанки все слышат. Но все время она сидит точно на булавках и просит Нильса-сапожника поскорее съесть бутерброды и кусок пирога, чтобы ей поскорее убрать со стола, потому что не-зачем оставлять беспорядок. Потом она уходит на минутку в кладовую и, вернувшись, спрашивает Нильса-сапожника, не возьмет ли он починить и другой детский башмачок; она уложила его в большой пакет, чтоб — говорит — не так легко было его потерять.

Когда Нильс Сапожник стоит у дверей с пакетом под мышкой, фру Раш как будто успокаивается и начинает расспрашивать:

— Ну, как же тебе, все-таки, живется? Ведь ты не очень тепло одет по такому морозу?

— Одет? — повторяет Нильс-сапожник, и шутит, и смеется всем своим сморщенным лицом, потому что сыт. — Я не люблю напяливать на себя лишнюю одежу. А кроме того, я бегу так шибко, что морозу меня не догнать. Ха-ха, вот как я делаю, — говорит Нильс-сапожник.

Фру Раш спрашивает:

— А ты ничего не получал от сына?

— Как же, — отвечает Нильс,—только все больше письма. Должно быть, у него самого не так-то уж густо. Но я рад, что ему живется так замечательно.

— И ты никогда не получал ничего, кроме писем?

— Как же, карточку.

— И ничего больше?

— Н-нет. Но он обещал прислать в следующий раз. Он пишет так крупно и четко,—легко читать. Он подписывается „Нельсон“.

— Ах, был бы жив лейтенант!—говорит фру Раш и сжимает руки. — Он бы научил твоего сына писать так, что еще легче было бы читать!

На это Нильс-сапожник ничего не отвечает, но, когда он благодарит и собирается уходить, фру Раш говорит, что попросит молодого Виллаца написать в Америку этому сыну, этому Нельсону. И тогда Нильс-сапожник, ослепленный этим американским сыном, которому живется так замечательно, отвечает:

— Да нет, может, ему и самому не так-то легко. Если на то пошло—по карточке я вижу, что он здоров и у него есть все, что нужно по части платья, и часы, и все такое. Он пишет, что собирается приехать домой. И я уж как-нибудь дождусь его приезда. Покорно благодарю за угощение!

— Приходи опять поскорее, — говорит фру Раш.

По уходе Нильса-сапожника она отводит душу со служанками: уж она бы проучила этого американского барина, этого Нельсона! Ведь это лопнуть можно! Очень разжиреет худой отец от карточки! Но подожди, пусть только приедет молодой Виллац!

И тут она вспоминает, что пора ей наконец заглянуть в Сегельфос, в поместье, она пойдет сейчас,— все откладывала день за днем, а теперь надо это сделать сию минуту.

— Принеси мне пальто, Флорина! И не забудьте, девочки, сходите без меня кто-нибудь в лавку за кофе.

Добрая же эта фру Раш,—она обещала молодому Виллацу заглядывать кое-когда на его усадьбу и решила это сделать. Хозяйничала у него молоденькая Полина, славная девушка; под началом у нее было несколько работниц, а, кроме того, там жил Мартин-работник, он следил за полевым хозяйством и коман-

довал лопарем Петтером и другими рабочими. Фру Раш всегда находила в имении полный порядок, но весной и осенью производила самолично ревизию серебра. Она так решила. Во-первых, это была ее обязанность, раз она обещала, а во-вторых—и серебро-то стоило того, чтобы его посмотреть! Ах господи, какие блюда, миски с позолоченными ручками, вазы для печенья, подносы, жбаны, ножи с кабаньими головами на ручках, рукомойники из серебра в комнатах барина и барыни! И всюду — ни одного местечка, где не было бы роскоши и великолепия, — картины, мраморные статуи, золоченые люстры, резные ларцы.

Фру Раш вся кипит, она со времени своего девичества сохранила неистребимое почтение ко всему, относящемуся к имению,—такого, как там, не было нигде, даже перила на двух парадных лестницах — „не знаю, из чего они сделаны, — говорила она,— но они блестят, как золото". И когда однажды она прочитала в газете про золотой сервиз у какого-то князя, она сказала своим служанкам на кухне:

— В имении у нас был сервиз, который никогда не употреблялся.

— Золотой? — спросили девушки.

— Не скажу, чтоб золотой,—отвечала фру Раш,— но во всяком случае серебряный. Мы никогда его не употребляли, потому что он был ужасно дорогой. Его никогда не вынимали, он лежал всегда запакованный. Подумать только, тарелок на двадцать четыре персоны!

— Серебряные тарелки? — вскричали девушки.

А фру Раш отвечала:

— Вот, серебряные они или золотые, я хорошенько не знаю; но ясно помню, что один раз видела двадцать четыре тарелки!

Ну, да фру Раш, наверное, преувеличивала и врала,— она была в хорошем настроении. Оттого, придя в Сегельфос и увидев Полину, она приступила к делу весело и крикнула:

— Вот пришел инспектор производить ревизию!

А Полина отвечает:

— Это очень хорошо, потому что Мартин-работник получил письмо.

— Он приедет?

— Приедет скоро. И вы скажите нам, что надо сделать.

Сказать было вовсе не так просто,—надо было хорошенько обсудить. У молодого Виллаца кроме главного дома были две комнаты на кирпичном заводе, где под конец жизни ютился его отец. Где же теперь поселится сын? И там, и здесь комнаты стояли нетронутыми, со всею мебелью.

— А он не пишет, где думает жить? Послушай, Полина, надо здесь все убрать! Ты думаешь, такой человек, как он, может жить где-нибудь, кроме главного дома? Убери комнаты его отца, комнаты лейтенанта, всю северную половину, знаешь? Пойдем, посмотрим!

Обе женщины пошли. Воспоминания неслись навстречу фру Раш из каждой комнаты; она суетилась и отдавала приказания, как в былые дни, таскала за собой Полину, указывала, двигала стулья. Они прошли в будуар барыни; здесь тоже надо все осмотреть, обмести пыль, выколотить подушки и выстирать гардины. Взялись за серебро. „О-о!“ сказала фру Раш и упала на стул. Время шло, обе женщины с головой погрузились в свое занятие; они все глубже и глубже зарывались в груду серебра, вынимали предметы и опять их укладывали, сидели, держа на коле-

нях большие серебряные сосуды. А теперь ларец, с виду такой простой и незначительный, хотя и на золоченых львиных ножках, — они никогда хорошенько не смотрели, что находится в его глубоких недрах,— скорее, ключ! Ну-да, опять серебро в вате, но старинное и особенное серебро, ажурные вещи, сервиз. Полина вынимала футляр за футляром, сверток за свертком; на самом дне был ящик, — вынимай и его, Полина, давай сюда весь ящик! Но ящик был страшно тяжелый, и, когда его вынули, в нем оказалось две дюжины серебряных тарелок.

Фру Раш подскочила на стуле. То, что она сама считала почти сном, выдумкой, родившейся в ее душе,— оказалось действительностью.

— Что я говорила? — воскликнула фру Раш. — Я же знала, что они есть, я видела их собственными глазами; только я не знала наверное, может быть, лейтенант их продал, может быть, перечеканил на деньги в последние годы своей жизни. Мне бы надо было сообразить, такой-то человек, как он! Две дюжины, если я не ошибаюсь, пересчитай, Полина! Ну, натурально, это серебряные тарелки на двадцать четыре персоны,—мы с тобой в барском доме или нет? Ах ты, господи боже милостивый!

Она пришла в сильное волнение, жалела, что не взяла с собой своих деток, чтобы и они полюбовались чудом.

— Почем знать, может быть, это повлияло бы на всю их жизнь — повлияло бы на всю жизнь моих драгоценных малюток. Но я расскажу им нынче вечером, когда они будут ложиться спать; ты знаешь, Полина, какие у них хорошенькие глазки, красивые, большие глаза у обоих, спаси их господь! Мне хотелось бы иметь еще детей! Но теперь я скоро со-

стареюсь и больше у меня не будет, а когда эти двое вырастут, у меня в доме не будет маленьких. Я об этом часто думаю. Полина, помни, хорошенько перетри все и закутай опять каждую вещь в свою ватку и уложи в свои отделения, и пусть они спят. Пусть спят, спят, здесь спит целое богатство! Да, можно сказать, милочка Полина, мы с тобой сегодня кое-что видели. Я расскажу тебе когда-нибудь, как надо накрывать стол с серебром, когда все до последнего, кроме венецианского хрусталя, из серебра. И тут уж тебе не хлеб с маслом или вареная козлятина, а три блюда одних только рыб разных сортов, кроме пяти, а то и десяти всевозможных мясных блюд, а потом фрукты и сыр, а под самый конец кофе с ликерами из кувшинов, что стоят в погребе. Я расскажу тебе когда-нибудь, какие у господ бывают торжества. Тогда мы надеваем крахмальные передники и белые чепчики на голову, чтоб волосы не попали в кушанье. А дамы декольтированы вот по сих пор и с золотыми цепочками на шее, а мужчины все в сюртуках, если обед днем. Так у них полагается. И вот лейтенант встает и держит всем речь, — когда крестили Маргариту Кольдевин, то крестили ее здесь, и тогда лейтенант произнес про нее речь — прекраснее этой речи не может быть на человеческом языке. Но меня тогда здесь не было, это было до меня, но консул Фредрик мне это сам рассказывал. А консул-то Фредрик, Полина! Он рассказывал такие истории, над которыми я и до сих пор покатываюсь со смеха, и он брал меня вот так, легонечко, за руку, когда хотел пошутить, и был такой обворожительный. Другого такого не найти, и он умел находить самые смешные слова на свете. „Я все жду вас“, говорил он мне и, конечно, говорил это

так себе, нарочно, потому что давным давно был женат. Не будь этого, бог знает, чем бы между нами кончилось, потому что он мог заговорить всех нас. Ох, да что же это я все сижу и болтаю, пойдем скорее, милочка! Я позабыла про деток и про полдник.

Уже стоя в дверях, фру Раш все еще не покончила с последними приказаниями; она опять вернулась в кухню и сказала Полине:

— Ужасно, что мы об этом не подумали раньше: приготовь комнаты и на кирпичном заводе. Вымой гардины, выколоти ковры и вытри везде пыль. Такой господин, как он, может захотеть жить в нескольких местах за раз,—почем мы знаем.

Наконец, фру Раш отправилась домой, к своим дорогим малюткам. И тотчас служанки ее приобщились к великому мгновению, пережитому в поместье, серебряный сервиз превратился в алмазную россыпь, тысячи штук, рай.

— Мы перетерли и золотой сервиз, — сказала она как бы мимоходом, — двадцать четыре тарелки.

— Неужто из золота? — спросили девушки, всплеснув руками.

Фру Раш ответила:

— Этого я в точности не приметила, может, они были из серебра. Но во всяком случае — из настоящего, проба была на каждой тарелке. Между золотом и серебром разница небольшая,— если есть серебряные тарелки, можно иметь и золотые, но серебряные тарелки часто даже гораздо благороднее, особенно к завтраку. А что, детки пополудновали?

Горничная Флорина, в свою очередь, рассказала о том, что видела в лавке. Там было пропасть народу, она насилу добилась кофе, все говорили о том,

что будет и что такое затевается, раз Корнелиус день-деньской стоит на сигнальном холме и что-то караулит.

— В свое время увидите! — отвечали приказчики и сам Теодор, но больше ничего не хотели сказать. А люди сошлись даже с верхних выселков, чтоб узнать, что такое происходит.

— Наверно, какие-нибудь глупости, — сказала фру Раш. — Они там в лавке выдумывают, что кто-то едет, и махают флагом. Мне это так же интересно, как вот эта моя перчатка.

Но девушки заразились общим возбуждением и под вечер спросили барыню, не принести ли кстати гороху и ячневой крупы из лавки. Да, конечно, и хотя одна из девушек, которую звали Флорина, как раз была нездорова, мучилась тошнотой, зубной болью и плакала, она все-таки пошла, и ее невозможно было удержать, только замотала себе щеки шерстяным платком. И вот, девушки отправились, а когда они вернулись, приказчик Корнелиус все еще стоял на сигнальном холме и не сходил с него.

— Приказчики угостили нас шоколадом, — сказали девушки, — а Давердана пришла в лавку и пила вино, сам Теодор поднес ей. Словно на свадьбе или в роде.

Тогда любопытство одолело и фру Раш,—она ведь тоже была обыкновенный человек из плоти и крови, и знала, что если сегодня она не купит пакета желатина и пол-метра марли от мух, то придется сделать это завтра, потому что послезавтра воскресенье. Но она решила не делать из этого события, а пойти в лавку без шляпки и пробыть там только минутку, чтобы те там видели, насколько она мало интересуется их выдумками.

Когда она вошла в лавку, все ей поклонились, потому что она была фру Раш и все ее любили; но плохо было то, что и смотритель пристани стоял тут же, а он служил смотрителем пристани у господина Хольменгро и, в сущности, был первым возлюбленным фру Раш в этих местах. Правда, он поклонился, как всегда, и ничем себя не выдал, но сама фру Раш почувствовала себя неловко, потому что была без шляпки и неодета.

— Покажите мне, какой у вас желатин, — сказала она в смущении. — И дайте пол-метра кисеи от мух, — сказала она.

И молодой Теодор подошел и сам стал ей отпускать, но когда он откинул доску прилавка и попросил ее пройти, она ответила „нет“, „спасибо“,—она торопится.

И вот молодой Теодор выложил двадцать пакетов желатина, все разного сорта, и сбросил на прилавок целую штуку кисеи от мух и развернул ее так, чтобы фру Раш могла как следует рассмотреть товар. Молодой Теодор был в общем очень вежлив и изыскан, и руки у него, пожалуй, совсем приличные, только чересчур много колец. Он сам начал рассказывать фру Раш, кого он ждет в гости и кому собирается подавать сигналы, а так как он мучил всех остальных своей тайной, а теперь открыл секрет ей, то молодой парень стал нравиться ей все больше и больше,—она ведь была такой же человек, как все, а вдобавок и говорил-то он так рассудительно и мило:

Да, он хотел оказать ему некоторый почет и сигнализировать его пароходу, когда он станет подходить; это крупный коммивояжер, представитель фирмы Дидриксен и Гюбрехт и сын самого Дидриксена. У него собственный пароход, и он объезжает только

самые крупные пункты.—Вы знаете Дидриксена и Гюбрехта, фру? Да, так это его представитель. Он телеграфировал несколько дней тому назад, что приедет сегодня, но, должно быть, задержался.—Теодору надоели эти мелкие южные оптовики, присылающие доверенных с ручным саквояжем, этого не хватает, это не крупное дело.

— Ведь мы — очень крупный потребитель, — сказал он, — и намерены сделать солидные закупки на весну и лето.

Все слушали, да еще как, вытаращив глаза и вытянув шеи. Содержатель гостиницы, Юлий, дошлый парень, прервал молодого Теодора и спросил:

— А жить он будет у меня?

— Нет, — отрезал Теодор.

— Вот что, — нет. Так он будет жить у вас?

Теодор улыбнулся и ответил больше фру Раш, чем Юлию:

— Я полагаю, он будет жить у себя, в своем большом салоне.

И все слушали, поражаясь все больше. Что же это за неслыханно важная персона к ним едет?

А Теодор все распинался перед барыней и говорил, ломаясь:

— Мы подбираем ассортимент к сезону, наша фирма — ведь единственное большое коммерческое предприятие в этих местах, и мы имеем в виду дать заказ тысяч на двадцать — тридцать крон одной мануфактуры, дорогие и модные ткани, настоящие страусовые перья, готовые платья из Парижа и Лондона, все, что фру может пожелать. Я надеюсь иметь честь увидеть фру у нас, когда получатся товары.

— А у вас будут костюмчики для мальчиков? — спросила фру Раш.

— Все, фру, все.

Уходя, она ласково кивнула ему. Ей одной и никому больше рассказал он великую новость, да еще в присутствии начальника пристани. О, Теодор Иенсен был не только шалопай.

Лавка опустела, люди удовлетворили свое любопытство и спешат по дорогам с новостью, несут ее по домам, делятся со встречными. Разве не оправдались их догадки,—вот до чего важны стали хозяева лавки: этот молодой Теодор-лавочник, ему присылают собственный пароход с одними только образцами; чем же это кончится? И если он может накупить на тридцать тысяч крон одних страусовых перьев и детских костюмчиков и тому подобного, так чего же он вообще-то не может накупить?!

Какой-то человек заинтересовался изящным пакетиком, купленным фру Раш,—что в нем такое? Желатин? Для чего он употребляется? Человек был из дальних выселков, полупьяный, лошадь его стояла на дворе и мерзла.

— Дайте мне один пакет, — сказал он.

Когда пришлось платить, он поразился дешевой ценой и потребовал еще несколько пакетов, чтоб ему хватило желатину надольше. Потом купил еще коробку печенья. И вышел со своей добычей.

Стемнело, и приказчики зажгли огонь. Подручный Корнелиус спустился с сигнального холма и заявил, что ничего не видно на расстоянии кабельтова; он весь посинел от холода, и рот у него свело. Когда кто-то рассмешил его, лицо у него перекосилось до неузнаваемости, и люди нахохотались до колик, глядя на него.

Давердана все еще стояла в лавке и покупала разные мелочи. У нее огненно-рыжие волосы, она

простоволосая и пышнотелая, хохочет ужасно заразительно, и глаза у нее становятся влажными, когда Теодор просит ее пойти домой к детям. Давердана — дочь Ларса Мануэльсена, она уже несколько лет замужем за помощником смотрителя пристани у господина Хольменгро, и у нее только один ребенок. Чего ей спешить домой к детям? У нее только один ребенок,—стало быть, немного. Да и ребенок-то — девочка, которая отлично справляется одна. Впрочем, молодая мать очень работяща, она шьет мешки на мельницу и сама зарабатывает деньги; муж влюблен в нее, она веселая и проворная, и в доме у них уютно. В нее влюблены еще многие, все,—она такая пышная, и вид у нее ужасно страстный. Но муж ее не верит про нее ничему плохому и глух ко всем сплетням.

Да и зачем ему верить чему-нибудь про Давердану? Разве она не замужем и у нее нет собственного мужа?

III

Представитель Дидриксена и Гюбрехта не приехал и на следующий день, и подручному Корнелиусу пришлось три дня выстоять на сигнальном холме и мерзнуть до потери человеческого образа, пока знатный гость наконец не приехал. Но он все-таки приехал, и уж тут вдосталь помахали флагом и на сигнальном холме, и дома, с лавки, а старый Пер лежал и никак не мог сообразить, что это еще за новый шум у него над головою.

— Должно быть, это проклятая сорока, — сказал он, — вздумала гнездиться аккурат здесь! Но пусть только попробует!

Теодор был на пароходе и торговался с утра до вечера; его видели мельком, когда он ходил в лавку, он понес с собой целую кипу балансов. Маленький пароходик тоже возбуждал большое внимание,—он топил машину целый день и дымил; многие из местных жителей взбирались на палубу, и им все показывали не потому, что пароход мог потягаться с огромными насыпными судами, приходившими из далеких стран к господину Хольменгро, а потому, что это был пассажирский пароход, находившийся в распоряжении одного единственного магната.

Хозяин его был высок, задорен и молод, повеса, изредка показывавшийся на палубе в шубе и резиновых ботфортах. Он подмигивал молодым девушкам на набережной и бросал монеты в пять эре ребятишкам, — рубаха-парень, он совершал первое путешествие в северные страны. Начальник пристани пришел к нему, пришли и редактор, и метранпаж „Сегельфосской газеты“ и писали что-то своими тощими типографскими пальцами. Всем, кто приходил, предлагали выпить стаканчик. Ларс Мануэльсен тоже поднялся на палубу и спросил, не надо ли снести чего-нибудь. Нет. Тогда он сказал, кто он такой — отец Л. Лассена, и спросил, не может ли чем услужить. Господин Дидриксен посмотрел на глаза старика и на его осанку и ответил:

— Тысяча чертей, пойдемте, выпьем стаканчик, я страшно рад с вами познакомиться, — сказал он. И они отошли к сторонке и наверное сколько-нибудь да узнали друг друга, потому что разговаривали долго.

Хотя пароход стоял под парами, господин Дидриксен не намеревался уезжать в тот же вечер, как собирался вначале,—нет, он решил устроить пир. По

правде сказать, он думал покончить в Сегельфосе часа в два и уехать, но заказ Теодора оказался гораздо крупнее, и вот господин Дидриксен решил устроить маленькую пирушку в мужской компании, чтоб отпраздновать сделку. Он посоветовался об этом с самим Теодором, и Теодор согласился. О господине Хольменгро, разумеется, нечего было думать, но если бы господин Дидриксен сейчас же сделал визит, то можно было бы залучить адвоката Раша. Господин Дидриксен не захотел, — впрочем, есть там молодые женщины? — спросил он. Нет. Ну, в таком случае, он не хочет. Потом, есть уездный врач Муус, живет он, правда, очень далеко, но он был бы очень приятен. А вот Борсена надо непременно позвать, начальника телеграфа, он сильно пьет, но играет на виолончели. А еще кого?

Они думали и соображали, а тем временем выпивали стакан за стаканом и пировали авансом. По прошествии некоторого времени господин Дидриксен стал недоумевать, почему решили позвать одних мужчин,—как это так? Почему не двое-трое мужчин с своими дамами, то-есть по даме на каждого?—А что это за субъект, этот старый почтенный человек в парике, отец пастора Лассена? — спросил он вдруг и в заключение заявил, что не желает никаких чинных и скучных людей.

— Мы можем обойтись и без них, нас трое: вы, машинист и я, а если к нам придут потанцовать несколько барышень, то мы выедем с ними на фиорд. Пары у нас разведены.

Но тут выяснилось, что Теодор не из таковских, то-есть малый он хоть куда, не дурак и покутить, прихвастнул он, но он почти что помолвлен. Это чудесно, и они выпили по этому случаю. А разве

нельзя пригласить и его даму? Нет, Теодор грустно улыбнулся,—об этом не может быть и речи, она слишком высокого полета. Да, впрочем, ему на ней никогда не жениться.

Ну, и конечно, последний стаканчик выдал молодого Теодора,—он не был пьяницей, и в голове у него скоро затуманилось, он впал в элегическое настроение. В будничном сердце его был маленький уголок, куда не проникала никакая торговля и никакая земная суета,— это была заповедная роща с грезами, коленопреклонениями и жертвоприношениями.

А у того не было ни черта, у господина Дидриксена не было никакой рощи, он обыкновенно просто уезжал,—хвастался он. Он притворился, будто сердится на молодого Теодора и боится, что тот испортит ему вечер; как будто набережная не кишит девицами? Он начал утешать молодого парня и заговорил с ним так, как говорил со своими клиентами, когда хотел их подбодрить:

— Вы говорите, вам на ней никогда не жениться? Такой-то человек, как вы, богатейший коммерсант! Я за всю поездку не продал на бо́льшую сумму ни одному частному лицу. Она наверное одумается.

Элегия усиливается. Она слишком высокого полета. И потом она так невероятно богата. Нет, она никогда не будет принадлежать ему!

— Ну, в таком случае вам надо просто ее бросить.

— Да, — сказал Теодор, — больше ничего не остается.

— Хорошо, значит ничто не мешает нам пригласить на пароход двух барышень.

Нет, Теодор не соглашался. Это значило насмеяться над самим собой. Он постоянен и тверд,

никто не может обвести этого молодого парня вокруг пальца. В нем живо, должно быть, юношеское обожание, в нем еще живы две души. Браво!

— Тогда давайте своего телеграфиста, — сказал господин Дидриксен. Потом позвонил повара и заказал большой ужин.

Ох, как молодой Дидриксен старался быть мужчиной! Он словно не мог жить без пьянства, кутежей и женщин,—вот до чего он был опытен. Он достал записную книжку и показал карточки шансонетных певичек; на одной была нежная надпись, но, может быть, он сам написал ее,—чего не придумает безумная юность! Но он импонировал провинциальному Теодору из Буа,—оба были молоды.

Когда настал вечер, народу на набережной прибавилось,—подошли люди, покончившие свою дневную работу, подошли рабочие с мельницы и обитатели дальних домов. Вот стоит в сторонке какой-то человек и курит; Теодор манит его, чтоб он поднялся на пароход, но человек продолжает курить, не обращая внимания на приглашение.

— Это телеграфист Борсен, — сказал Теодор, — должно быть, он уже пьян.

— Позовите его сюда, — сказал господин Дидриксен.

Теодор опять помахал рукой,—нет, Борсен не обратил внимания. Вдруг господин Дидриксен сбегает на берег, снимает шляпу, представляется и приглашает начальника телеграфа. Оба поднимаются на пароход.

Борсен, высокий мужчина, в выцветшем синем костюме, на ходу раскачивает широкими плечами. Лет ему под сорок. Он опрятен и чисто выбрит, но платье его сильно потерто, он без пальто, пиджак на нем даже распахнут, и видна жилетка с недоста-

ющей пуговицей. Нос у него красноватый, и, несомненно, это объясняется не одним только холодом на набережной — нет, вид у Борсена настоящего пьяницы.

— Я простою здесь до утра и прошу вас пожаловать нынче вечером ко мне, если вам не предстоит ничего более приятного, — предупредительно сказал хозяин.

— Спасибо, — ответил Борсен.

— Ведь вы между собой знакомы. Что позволите вам предложить для начала?

Борсен несколько растерян, он попал снаружи, где еще светло, в маленький темный салон. Он видел очертания бутылок и стаканов на столе, но ответил:

— Если можно, свету.

Господин Дидриксен позвонил.

— Свету, это вы правы, ха-ха, поразительно верное замечание! Свету! — крикнул он показавшемуся в дверях повару. И хозяин постарался быть как нельзя более любезным и предупредительным с потертым гостем.

Они сели и приступили к ужину. Повидимому, это была не заурядная минута для Борсена; вначале он был несколько односложен, зато, с течением времени, разговорился и благожелательно слушал болтовню молодого коммивояжера. Но Теодора-лавочника он слушал без благожелательности,—бог знает, по какой причине, он почти его не видит, почти не слышит. А Теодор, со своей стороны, должно быть воображал, что может допустить в обращении с телеграфистом некоторую вольность,—он продал ему такое огромное количество своего скверного вина и знал его жалкое положение. Но тут молодой Тео-

дор ошибся,—оказалось, что ему следует быть поосторожнее.

— Вы не можете сбегать домой за своей виолончелью, Борсен? — сказал Теодор напрямик.

— Отчего же? Когда вы уйдете, — ответил Борсен.

— Вот как! — сказал Теодор и засмеялся. Но, немного спустя, понял грубость и сказал: — Вы и завтра тоже будете таким важным?

— Да, кстати, ведь здесь есть гостиница, — поспешно говорит Дидриксен. — Гостиница и рассыльный — какой-то старик, Мануэльсен, Ларсен или что-то в этом роде. Он — отец известного пастора Лассена.

— Совершенно верно.

— К сожалению, я не мог дать ему никакого поручения, — улыбаясь сказал господин Дидриксен. — Я обещал, что остановлюсь в его гостинице в следующий раз.

Хмель начинал все больше разбирать господина Дидриксена, он боролся против него, обдумывал свои слова и действовал молодцом. Он был эластичен и молод, ему хотелось оказать телеграфисту побольше почета именно потому, что он видел его запойный нос и жилетку без пуговицы.

— У нас в Сегельфосе много интересного и кроме Ларса Мануэльсена, — заявил начальник станции. — У нас есть король, господин Хольменгро, он вдовец, у него есть принцесса.

Молодой Теодор потупился.

— У нас есть заброшенный замок, — продолжал телеграфист, — в нем жил некий дворянин Виллац Хольмсен, он умер. Сын его, молодой Виллац, за границей, нынче весной он приедет домой.

— Разве он приедет весной домой?—спросил Теодор.

— Да. Но это не значит, что вы должны потерять всякую надежду.

— Всякую надежду — как так?

— Мне показалось, что у вас такой вид.

— Да, так здесь много интересного, — поспешил вмешаться господин Дидриксен. — Наверное то, что мы видим на горе, это—замок?

— Да, это замок...

— Надо сказать — великолепный, я видел его сегодня с палубы. Если б иметь такой замок, то можно бы заполучить и принцессу.

— Вы слышали? — сказал Борсен и взглянул в лицо молодому Теодору. — Во всяком случае, надо иметь замок.

— Да, — отозвался Теодор, он покраснел, но не потерял головы. — Это меня не касается, у меня есть лавка. Не понимаю, на что вы намекаете весь вечер, — прибавил он.

Борсен продолжал:

— Потом у нас есть старый кирпичный завод, возле устья реки. На нем не выделывается уже ни одного кирпича, он мертв, теперь в нем две новых горницы. Но если бы самый старый столб его мог поделиться своими воспоминаниями!

Хозяин сказал:

— Да, Сегельфос—старинное и большое место, о нем написано в „Истории землевладения“ Стенвинкеля. И, повидимому, оно не умалилось с течением времени, — во всяком случае, я заключил здесь сделку, какой мне не удалось заключить в южных городах. Господин Иенсен, разрешите с вами чокнуться!

— Присоединяюсь, — сказал телеграфист. — За многие хорошие качества юности!

— Вы чокаетесь со мной? — спросил Теодор.

— Да, с вами. Это наводит вас на подозрения?

— Да.

Телеграфист усмехнулся про себя и сказал:

— За ваши многие хорошие качества!

— Я не стану пить, — сказал Теодор и поставил стакан.

Хозяин опять вмешался и предложил:

— Не хотите ли прогуляться на палубу? Мой придворный повар наверное желает накрыть стол. Вы пришли без пальто, господин Борсен, будьте добры, накиньте мой ульстер.

Они оделись и вышли наверх. На палубе стояли машинист со знакомым и разговаривали, оба держали по стакану горячего грога и курили сигары, после длинной прогулки на берегу.

Вечер был светлый и тихий, но еще прохладный, от реки шел мягкий, нескончаемый шелест. На фоне леса маячили белые колонны и две спускавшиеся донизу каменные лестницы поместья Сегельфос, — барская усадьба, замок. Мельница бездействовала, рабочий день кончился.

Вдали показалась рыбачья яхта, три человека в ялике тянули ее на буксире, а на ней стоял только один человек у руля.

— Вон идет моя яхта, — сказал Теодор. — А ветра-то ни капельки.

— Это ваша яхта? Куда вам ее надо отвести? — спросил господин Дидриксен. — Мы пойдем за ней. Мастер! — крикнул он машинисту. — Давайте-ка притащим вон ту посудину, это яхта господина Иенсена.

Это заняло полчаса, может быть за все про все — час, они подтянули яхту к сараю, где рыбу выкладывали, чтоб потом высушить на плоских вершинах,

и пароход вернулся обратно к пристани. Стол был накрыт, мужчины спустились в салон.

— Обратили вы внимание на человека в ялике, с развевающимся желтым шелковым платком на шее?— спросил Борсен.

— Это Нильс из Вельта, — сказал Теодор. — Это он так расфрантился потому, что собирается вечером на берег, к своей милашке. А что такое с ним?

— Вот, господин Дидриксен, — ответил Борсен, обращаясь к хозяину, — мы все барахтаемся, и вы, и он, и я. И ничего нет для нас значительнее именно этого нашего собственного барахтанья. Один покупает гагачий остров, вечером, ложась спать, потирает руки, радуясь хорошему дельцу; другой уезжает на двенадцать недель на заработки, а когда возвращается домой, оказывается, что милая его уже три недели мучается зубной болью и рвотой.

И Теодор, и хозяин поняли, что тут было что намотать на ус. Тут был какой-то намек, они думали и прикидывали в уме: двенадцать недель, три недели. А может быть, это просто вранье пьяного человека? В конце концов Теодор рассердился и сказал:

— Это не на мой ли гагачий остров вы намекнули?

— И те, что померли несколько лет тому назад, или в прошлом году, а то и совсем на-днях, тоже жили здесь раньше и барахтались, — продолжал Борсен. — Продавали, и покупали, и по вечерам почитали себя счастливыми, потому что им удалось обтяпать дельце. Да. А потом умерли. Так не могло ли им быть безразлично, обтяпали они хорошее дело или нет? На нашем маленьком кладбище я прочитал на могильном кресте про Андора Нильсен Вельта. Он был отцом человека с желтым шелковым платком

в ялике. Этот отец умер лет этак с двадцать тому назад, и ни одна душа не вспомнит о нем, даже и сын; а он барахтался усердно, смастерил новую дерновую крышу на своей избе в Вельте и по вечерам, ложась спать, радовался этой новой крыше. Потом умер и ушел от всего. А теперь барахтается его сын.

— Да, — сказал хозяин, желая выразиться как-нибудь помягче, чтобы никого не задеть.— Такова уж жизнь. Ведь так уж ведется.

— А если остановиться только на минутку и прислушаться, так видишь неслыханную дерзость и бесстыдство в этом занятии своими делишками и суетой. Неужто не может быть все равно?

При этих словах телеграфист уставился глазами в свой стакан, в славный стаканчик, и принял глубокомысленный вид.

Ах, этот телеграфист Борсен, такой разбойник-плутяга, пожалуй, он прибегает к обычным уловкам пьянчужки, внушая мысль о глубоких думах, переживаниях и разочарованиях, скрывающихся за его пьянством. А в следующую минуту—уж не закатит ли он глаза к звездам и не испустит ли тяжкий вздох, не находя слов? Наверное, его молодые слушатели достаточно потрясены слышанным?

Теодор, во всяком случае, устоял,—может, ему и раньше доводилось переживать такое же положение; он сказал — даже не прожевав хорошенько:

— Ну, а разве плохо было, Борсен, прийти на пароход и попасть на такое знатное угощение? Я помахал вам сверху, но вы притворились, будто не видите.

Но и на этот раз молодой Теодор, должно быть, проявил чрезмерную развязность.

Телеграфист поднял свои глаза откуда-то с большой глубины, очень издалека, и медленно перевел их на Теодора:

— Вы махали мне, да,—сказал он.—Надеюсь, вы научились потом у этого молодого господина, нашего хозяина, как такие вещи делаются.

— Ах, вот вы как! — ответил Теодор и захохотал, но изрядно смутился.— Я полагал, что настолько вас знаю, что могу себе это позволить.

— Так что вы читали Стенвинкеля, господин Дидриксен? — спросил Борсен без всякого перехода.

— Да. Чтобы быть в курсе того, что мне встретится на пути.

— Правильно. Таким путем видишь огромные перемены, совершившиеся здесь с тех пор. У нас не делается ничего большого по сравнению с тем, что было тогда. Дела, торговля? Дребедень, кучи желтых шелковых платков. Наша жизнь выбита из колеи, лошади без кучера, а так как лошади знают, что везти вниз легче, чем в гору, то они и тащат вниз. Вниз нас, под гору, долой! Жизнь становится смешной, мы суетимся и работаем из-за еды и платья, мы притворяемся, будто живем. В старину существовали огромные различия, был замок и была пустыня, нынче — все одинаково; в старину была судьба, нынче — заработная плата. Величие — что это такое? Лошади стащили его под гору: позвольте и мне фунтик величия, сколько это будет стоить? Мы покупаем себе искусственные челюсти и разводим новую кишечную флору в желудках, для всех одинаковую, единую по всей линии, мы делим между собою жизнь, разрежаем друг другу воздух и оставляем каждому следующему поколению все более и более спутанный и изуродованный мир. Принцесса? Она разъезжает на вело-

сипеде, как рабочие ее папаши-короля, а они еле-еле сворачивают перед ней на дороге, хотят—поклонятся, хотят — нет.

Наступил уже вечер, и ужин был окончен, а телеграфист все говорил и пил; хозяин еще соблюдал вежливость и слушал, но юный Теодор не скрывал своего нетерпения, он не понимал ни звука из разговора и принимал его за обыкновенную пьяную болтовню,— так неужели же с ней считаться? Юный Теодор смотрел на часы, хлопал себя по коленке и громко зевал, закидывал руки за голову и вытягивался — олицетворение всесветной наглости и дурных манер. Ему, во всяком случае, следовало бы знать, что пиджак его пропотел подмышками, хотя пиджак и был новый, и вот теперь он рисковал тем, что Борсен порекомендует ему ванну, физическую ванну. Откуда такая храбрость? Беря новую сигару или протягивая руку за спичками, он опрокидывал стаканы из одного озорства.

Но телеграфист не посмотрел на него строго, и даже вовсе не посмотрел,—должно быть, он просто находился в болтливом настроении и продолжал говорить:

— Вы кланяетесь принцессе или не кланяетесь, и она пропускает это совершенно равнодушно, потому что принцессу тоже стащили под гору. Случись-ка это в старину! Ее горничные расчищали бы ей дорогу, лакеи расстилали бы перед ней ковры. Что сказали бы рабочие ее папаши-короля? Они радовались бы, пыжились бы от милостивого наказания,— это было переживание, роковой час; нынче они катят на велосипеде и наслаждаются своей невежливостью, и все же недовольны. Вы улыбаетесь, господин Теодор? — спросил вдруг Борсен, словно впервые заметив присутствие молодого человека.

— Нет! — с изумлением ответил Теодор.

Борсен заговорил с ним ласково, тоном как бы благодетеля.

— Если вы когда-нибудь попадете в замок...

— Я? Что мне там делать? — прервал Теодор.

— Если вас пригласят, когда приедет молодой Виллац...

— Меня не пригласят, — резко ответил Теодор и сунул большие пальцы в прорезы рукавов. — Ха, это еще что за выдумка!

— Тогда вы увидите там портреты, это — предки. Сначала-то они не так уж интересны, просто высокомерны и неаристократичны. Барин в каком-то подобии вооружения, похожий на обезьяну; единственное ценное в нем, это — его воля, она кладет основу всему. А барыня? Барыня должна позировать своему изобразителю и исказителю, она входит в дверь словно наводнение из шелка и золотых пряжек и изливается на стул. Она так благородна, что, сидя, непременно должна опираться ножкой на подушку, а на подушке — три нитки жемчуга, на которые она наступает. Потом она поднимает голову, — лицом она не похожа на властительницу, но гордость ее беспредельна. Величие до такой степени для нее ново, что ей кажется, его не будет, если она его не подчеркнет. Но из этих двух свойств — воли и гордости — все-таки может произойти поколение высшего класса, если у него будут деньги.

— Да, деньги! — говорит господин Дидриксен, чтоб не молчать.

— Деньги. Но не какие-нибудь гроши, нужно настоящее богатство. Гроши — это на то, чтобы избаловать поколение, оберечь его от необходимости промачивать ноги, гроши это на то, чтобы выраба-

тать ни на что не нужное тщеславие. Нет — богатство.

— Я полагаю, нам пора расходиться, — говорит Теодор и опять смотрит на часы.

Лицо телеграфиста недовольно морщится, но он сейчас же справляется с собой и притворяется, будто не слышал. У него такой вид, словно он собирается распространяться до бесконечности,—ха, о чем только он не может поговорить!

— Еще не поздно,— вставляет хозяин.

Однако, если весь пир устроен, собственно, в честь купца Теодора, то до некоторой степени невежливо со стороны этого доброго телеграфиста сидеть и отличаться тут весь вечер. Машинист играет на гармонике, это выход! Господин Дидриксен думает, высовывает кончик языка, ловит кончик своих усиков, зажимает его зубами, потом опять выталкивает языком. Он придумал. И велит позвать машиниста.

— Надеюсь, вы не взыщете за музыку, которую мы можем вам предложить,— говорит он извиняясь.

И когда машинист приходит с гармоникой, ему сначала подносят порядочный стаканчик,—до того ему рады. Гармоника вся вымазана углем и маслом, но она звучит, играет. Теодор положительно оживился, музыка эта известна ему по сараю, он осушает свой стакан до дна и сидит, отбивая ногой такт вальса. Телеграфист взглядывает на него, и Теодору становится немножко стыдно за свое увлечение.

— Почему вы не сбегали за своею виолончелью?— сказал он.

— А зачем мне это? Ведь вот есть же вам музыка,— ответил Борсен.

— Вы играете на виолончели?—спросил машинист и бросил гармонику на диван. Он чувствовал себя в

салоне, как дома, налил второй стаканчик, выпил его и отказался сыграть еще.— Давайте лучше сыграем партию в карты, — предложил он.

Хозяин переводил глаза с одного на другого:

— Это с удовольствием,— ответил Теодор.

— Гвоздь. С ограниченной ставкой,— сказал машинист и стал очищать место для игры. Во время долгих переходов от Копенгагена к купцам на норландском побережье он, наверное, устраивал не одну партию в карты в этом салоне, он знал все наизусть.— Сколько нас? Четверо,—сказал он и достал фишки для игры.

— Я не играю,— сказал Борсен.

Его стали уговаривать, ему покажут игру, меньше четверых невозможно.

— Вы окажете нам услугу,— вежливо просил хозяин.

— Но, милые мои, человек, у которого в кармане нет денег, не может играть в карты на деньги,— возразил Борсен.

— Вы доставите мне удовольствие, проиграв вот эти гроши,— сказал хозяин, протягивая ему две бумажки.— Вы окажете нам услугу, если согласитесь, без вас нас только трое.

Машинист уже сдал карты, и игра началась, все купили фишек для расплаты. Борсен выиграл. С тупым равнодушием он вернул хозяину бумажки, продолжал игру, опять выиграл, продал фишки за наличные другим, и у него осталось еще несколько бумажек на столе. Все много пили. Машинист был веселый малый, шутил при проигрыше,—оба купца были слишком богаты, чтобы горевать о маленьком проигрыше. Но в конце концов Теодор начал злиться, что ему так не везет.

— Никогда не видал ничего подобного, — говорил он.

— Который час? — воскликнул машинист. — Теперь будем играть с повышенными ставками. Надо пощипать счастливого игрока, ха-ха!

Хозяин обвел взглядом гостей, и Теодор ответил:

— С повышенными ставками? По мне—с удовольствием.

— А что говорит счастливчик?—улыбаясь спросил хозяин.

— Счастливчик? Он согласен на все. У меня, господа, лежит несколько бумажек, посмотрим, сумеете ли вы их отобрать.

— Вы так равнодушны к деньгам? — спросил Теодор.

Но тут вышла форменная ерунда,—телеграфист опять стал выигрывать, и это было прямо что-то роковое,—он выигрывал на самые смешные карты. Разумеется, один раз и он проиграл, но потом несколько раз под ряд начисто обыграл своих партнеров, а так как ставки все повышались, то в конце концов у него скопилась солидная сумма, хотя сам по себе гвоздь—глупейшая и мелкая игра.

— Вот видите, Борсен, совсем не плохо, что вы пришли сюда нынче вечером,— сказал Теодор.

Хозяин не мог задеть своего почетного гостя каким-нибудь прямым замечанием, но машинист сгладил неловкость, чокнувшись с Борсеном.

— О, проживи вы у нас на пароходе с неделю, мы бы отомстили вам! — сказал машинист и захохотал во все горло.

Борсен забрал большинство фишек, и кроме того перед ним лежала целая груда бумажек. Когда пришла очередь Теодора покупать фишки, он сказал без обиняков:

— А нельзя ли эти двадцать пять крон засчитать в долг по лавке?

— Конечно, — ответил Борсен.

Спора из-за этого не вышло. Может быть, со стороны Теодора было и не особенно красиво получать долг таким способом, но поведение телеграфиста в этот вечер было еще удивительнее: он был должен молодому купцу, но обращался с ним больше, чем свысока, он обращался с ним презрительно, не видел его. И кредитор не платил ему тем же, а мирился. Опять, должно быть, у этого мазурика и плута, Борсена, была при этом какая-нибудь задняя мысль, и он сумел бы привести длинное и глубокомысленное объяснение, но никто его ни о чем не спрашивал. Игра продолжалась. Теодор опять купил фишек и спросил:

— Скостить нам и эти двадцать пять?

— Да, — ответил Борсен.

— Я, впрочем, не помню, сколько именно вы должны, но если вы переплатите, мы это урегулируем завтра.

— Хорошо, — сказал Борсен.

Тогда машинист положил карты и сказал:

— Нет, нам не одолеть нынче счастливца, надо кончать. Давайте расчитываться!

Они оплатили свои фишки, допили стаканы, продолжая разговаривать. Телеграфист кочевряжился со своими кредитками, в конце концов он сунул их в карман, не пересчитав. Притворялся он перед другими и хотел пооригинальничать? Тогда ему надо было бы придумать что-нибудь получше,—все нищие притворяются равнодушными к деньгам, оттого-то они и нищие. Никого нет расточительнее бродяг. На полу лежала бумажка, машинист поднял ее, бросил на стол и сказал:

— Это, должно быть, тоже ваша.

— Спасибо,— сказал Борсен и сунул ее к остальным.

Машинист набросился, на этот раз уже без приглашения, на гармонику и заиграл какой-то марш, отчаянно гудя на басах. Это было нечто поразительное, он так растягивал меха, что лицо его искажалось, и пыхтел от напряжения. Потом резко оборвал и раскатился громким хохотом:

— Ну-ка, попробуйте сыграть по-моему! — сказал он.

Его попросили продолжать, и он опять заиграл.

И так уж это было, или нет, а звуки, верно, доносились и на берег, верно, их услышали поздние гуляки, на набережной появилось много народу, кое кто из молодежи забрался на пароход, — компания в салоне слышит, что над головами у нее что-то топочет и топочет. На палубе начались танцы.

Некоторое время всем им это очень нравилось, но Теодор вскоре встал и ушел домой. Выпивка, музыка и танцы опять настроили его на элегический лад и напомнили ему о том, что он влюблен.

Уходя с парохода, телеграфист Борсен услышал в закоулке, у большой хлебной пристани господина Хольменгро, голоса ссорившейся парочки: парень резко упрекал, что он много чего про нее наслушался, что в его отсутствие она вела себя, как подлая, неверная свинья, а девушка плакала и отрицала все. Говорили о деньгах, что у нее несколько сот крон, парень фыркнул на это: покорно благодарю, у него у самого скоплено жалованье за три месяца.

— Делай, как знаешь! — сказала тогда девушка.

— Ступай себе домой,— ответил парень и вышел из-за угла.

Это оказался Нильс из Вельта в желтом шелковом шарфе, развевавшемся у шеи. Он больше не обернулся и ушел. Девушка тоже вышла, Флорина, служанка адвоката Раша, щеки и рот у нее были завязаны большим шерстяным платком, она отодвигала его, когда говорила, а кончив, опять спускала. Что же это—дружок уходит и даже не обернется!

— Нильс! — окликнула она.

Он не ответил.

Тогда она крикнула:

— Я сейчас же пойду на пароход и буду танцовать, вот увидишь!

— Скатертью дорожка! — ответил он.

Она еще порядочно постояла, смотря вслед парню; телеграфист прошел мимо, но она его не заметила, она вся превратилась в два огромных глаза, светившихся из-под шерстяного платка. Потом прошла по набережной и поднялась на пароход.

Тихо было на узеньких тропинках между домами,— маленький городок улегся на покой; далеко в вышине звенели лебеди. Телеграфист пошел прочь от берега, смотря в спину Нильса из Вельта. Малый с характером этот жених. Молодец, даже не обернулся ни разочка. Молодец? Еще бы, двадцать с чем-нибудь лет и жалованье за три месяца в кармане. Но, пройдя за ним с четверть часа на почтенном расстоянии, Борсен вдруг подумал: „А что, если он все время слышит мои шаги и воображает, что это его душенька?“

— Хм,— громко кашлянул телеграфист.

Что же, идет парень дальше? Он круто оборачивается и для видимости проходит еще несколько шагов, потом останавливается. Сильный парень вдруг ослабел. Правда, он начинает обшаривать себя, словно ища чего-то, щупает в карманах,—чего это он ищет?

Ах, он просто притворяется, ему надо сделать вид, что он потерял что-то, чтоб иметь предлог вернуться. И вот он идет навстречу телеграфисту и смущенно улыбается, поровнявшись с ним, улыбается словно нищий:

— Я позабыл... виданное ли дело!..

Потом поспешно шагает обратно к пристани. Но на ходу все еще продолжает рыться в карманах, чтобы не уларить лицом в грязь.

А пароход тем временем отчаливает от пристани и торжественно заворачивает в море. Нильс из Вельта круто останавливается на минуту и угнетенно смотрит прямо перед собой. Потом бегом пускается к набережной, словно хочет догнать уходящее судно. Далеко в вышине попрежнему звенят лебеди.

Телеграфист Борсен бредет дальше, забирается далеко от берега, доходит до избушки Нильса-сапожника и минует ее, доходит до маленьких двориков, до жилых домов, до расчищенных под постройку мест. Кое где овцы уже выпущены на волю, хотя снег еще не сошел. Борсен поворачивает назад и заходит в избушку Нильса-сапожника.

— Я видел дымок над твоей крышей и решил, что ты еще не спишь,— сказал он.

Нильс-сапожник смахивает для гостя пыль и со скамьи, и со стула,— он сильно смущен. На столе лежит селедка и несколько картошек в большом листе бумаги.

— Да,— говорит Нильс-сапожник,— я варю кофе, только что вернулся из города и собрался сварить кофею, я ведь страсть какой любитель кофею. Да что же это, начальник телеграфа и вдруг пожаловал в такой дом, ведь здесь негде и присесть!— Он прибирает на столе, швыряет селедку и картошки на

кровать и растерянно бормочет: — Так вы видели дым из трубы? Я собрался варить кофе, я страсть до чего жаден на кофей. Я бы с удовольствием предложил вам сейчас чашечку, да боюсь, не больно он хорош.

— Отчего же, с удовольствием, — сказал Борсен.

Великое смущение: — Это всерьез? Ах, господи, да годится ли он? И пить-то его не с чем, как раз подошло, что ни крошки сахару, позабыл нынче в лавке. А хуже всего, что и кофе тоже остался там, пакетик с кофе, забыл на прилавке. Я стал ужас какой беспамятный, — говорил Нильс сапожник.

— Что это за портрет? — спросил Борсен, хотя отлично знал. И оказалось, это — сын, У. Нельсон, живущий в Америке, разодетый, сытый и причесанный, прежний Ульрик.

— А дама? — спрашивает Борсен.

— Ну, это, собственно, большой секрет, — отвечает Нильс-сапожник, — но, как я понимаю, это его будущая жена. Кто бы мог подумать, малютка Ульрик, который всюду таскался за мной и тачал сапоги. А рученки-то у него были не больше вот этого, когда он только что взялся за дело. А теперь-то! Какой важнецкий вышел парень! Ну, да оно и понятно!

Тогда Борсен вдруг притворился пьяным и грубым, нахлобучил шляпу и сказал:

— Убери эту дрянную чашку, разве это кофе, я такой гадости не пью. Что это я хотел сказать — вот, возьми эти бумажки и поезжай в Америку. Молчи, дай мне договорить: стало быть, бумажки. Поезжай в Америку и ты, говорю. Ты не можешь помолчать, пока я доскажу? Купи себе билет и поезжай, эти деньги твои. Я не желаю больше стоять и слушать твою ерунду. И уезжай непременно, да скорее, слышишь...

Борсен вышел, продолжая повторять те же слова, а Нильс-сапожник шел за ним, держа в руке деньги, и что-то возражал. Под конец телеграфист услышал уже чистейшую чепуху:

— С вами даже нет ничего, что я мог бы вам понести!

Старый, в конец отощавший сапожник и — нести что-нибудь для Борсена с раскачивающимися богатырскими плечами!

По дороге домой Борсен опять видит маленький пароходик, идущий теперь к берегу. Он выходил недалеко в море, совершил увеселительную прогулку с несколькими аборигенами; молодежь покаталась и потанцовала на палубе в холодную ночь.

Когда Борсен пришел на станцию, маленький Готфред передавал телеграмму. Маленький Готфред Бертельсен, сын Бертеля из Сагвика, передавал конец огромной телеграммы Дидриксену и Гюбрехту; их представитель, молодой господин Дидриксен, потребовал, чтобы станцию открыли из-за этой телеграммы,— дело шло о крупной сделке, о заказе самого Теодора из Буа. О, этот молодой Дидриксен—большой плут, ведь потребовать открыть телеграф—большая реклама, а стоит недорого, он пускал в ход этот приемчик с клиентами, которым хотел польстить и оказать почет.

Покончив с работой, маленький Готфред обернулся и сказал:

— Ходят слухи, что вам нынче страшно повезло.

Борсен вытаращил глаза.

— Теодор заходил сюда по дороге домой, он сказал, что вы выиграли огромные деньги.

— А-а, да,—сказал Борсен,—это правда. Должно быть, судьба.

— Я очень этому рад, — сказал маленький Готфред.

— Но не скажу, чтоб огромные, если вычесть расходы. А кое что очистилось, маленький выигрыш был. Вы не думете, что это судьба?

— Сколько же именно?

— Да пустяки. Вы весь вечер работали, бедняжка?

— Я очень рад этому выигрышу, за вас. Потому что инспектор может нагрянуть со дня на день. И на этот раз вам, знаете, не отвертеться.

— Да поймите же, чорт побери, что это сущие пустяки, если откинуть расходы! — нетерпеливо воскликнул Борсен.

— Расходы? Какие же расходы.

— А расчитаться разве не нужно было? А кроме того, одна—другая бумажка упадет на пол, одна фишка закатится сюда, другая туда, все это надо учесть.

— Вы ведь не умеете играть в карты.

Маленький Готфред потупился в раздумьи.

— Хорошо, но, во всяком случае, вы ведь можете пополнить кассу?—спросил он.

— Ну, да, ну, да. Но вы сейчас устали. А кроме того, это моя касса, а не ваша. Хуже всего то, что вы просидели здесь половину ночи, в то время как я развлекался.

В душе доброго маленького Готфреда зарождаются боязливые предчувствия, ему по прежним случаям известно беспечное отношение Борсена к деньгам, и он не может удержаться, чтобы не сказать:

— Хуже всего, если вы не сможете сразу пополнить кассу. Вы ведь знаете последствия.

— Последствия такие, что вы будете начальником станции вместо меня, братишка Готфред. А я, может быть, займу ваше место.

— Не шутите с этим! — ответил Готфред. — Вот ведомость. Покройте же недостачу наличности.

Борсен молча шагнул в угол, где стояла его виолончель.

— Вы не хотите? — спросил Готфред.

Тогда Борсен крикнул:

— Не хотите! Не хотите! Ну, слушайте: я не могу! Довольны вы? Ну, чего вы стоите и хнычете?

— Не можете?

— Нет. У меня ничего нет. Вот, ищите сами, карманы пусты, никаких денег нет.

— Значит, вы их кому-нибудь отдали?

— Да, натурально, значит я их кому-нибудь отдал. Чушь!

Готфред опять задумчиво уставился в пол.

— Бедняга вы! — сказал он.

Борсен обиделся:

— Я не понимаю — вы воображаете, что имеете право постоянно жалеть меня.

— Кто отобрал у вас деньги?

— Дьявол вас задави! — закричал Борсен. — Отобрал? Нильс-сапожник взял их взаймы. Ему надо ехать в Америку. К своему сыну. Нильс-сапожник. Тьфу, вы кажется сошли с ума!

Маленький Готфред сразу принял решение: поклявшись всеми святыми, что сейчас же пойдет и отберет часть денег, он надел шляпу и вышел из конторы. Борсен смотрел ему вслед, разинув рот, сделал несколько попыток окликнуть его, но слишком долго собирался и промолчал. Немного спустя он уселся играть на виолончели, пьяный и невменяемый.

IV

Почтовый пароход выгрузил на набережную огромный рояль; Мартин-работник и пятеро других рабочих волокут и поднимают тяжелый ящик на сани, чтоб увезти его по теряющейся в дали зимней дороге. Рояль доставлен для молодого Виллаца, хозяина Сегельфоса; сам он не приехал и не прислал никаких распоряжений. Куда везти,—на усадьбу Сегельфос или на кирпичный завод, где две горницы? Мартин-работник и пятеро рабочих долго обсуждали этот вопрос, послали гонца к фру Раш с запросом, и она ответила, что рояль, разумеется, нужно отвезти на усадьбу Сегельфос, в собственные апартаменты молодого барина Хольмсена в замке Сегельфос,—куда же иначе? Гонец поблагодарил за распоряжение и ушел. Но не прошел он нескольких шагов, как фру Раш крикнула ему, что нет, пожалуй, может быть лучше отвезти на кирпичный завод. Бог знает! И там тоже—где его поставить? Не в обеих же комнатах сразу,—нет, она не знает, не может ничего решить. Фру Раш совсем растерялась и смутилась.

Гонец вернулся на мост, и Мартин-работник, и пятеро рабочих снова принялись судить и рядить.

Господин Хольменгро подошел к ним и сказал:

— Поставьте ящик у меня на пристани до приезда молодого Виллаца.

Таким образом вопрос был разрешен. И один из рабочих предупредительно кивнул головой и сказал:—И крюк-то не такой большой.—Ну да,—ответил другой,—а снег сойдет, как ты тогда доставишь тяжелый ящик?

Мартин-работник скомандовал:

— Ну, ну, беритесь-ка, нечего тут стоять и рассуждать, когда барин сказал!

Но не всегда бывало, что у барина случался под рукой Мартин-работник, и тогда те же самые рабочие с величайшей бесцеремонностью обсуждали его распоряжения. Барину начинала надоедать его деятельность, его рабочие, его положение. Быть теперь королем Сегельфоса? Это, пожалуй, похуже, чем быть настоящим королем и давать изредка аудиенции какому-нибудь полярному путешественнику, а в остальное время сидеть и подписывать, что постановит большинство в стране. Господин Хольменгро радовался приезду молодого Виллаца; при первом слухе о нем, он весь радостно содрогнулся,—это было чудесно: воспоминание о прежних Хольмсенах и прекрасных временах, когда было так просто разгуливать с толстой золотой цепочкой на жилете. Наконец-то явился человек, стоящий внимания.

Потому что, кто же у него бывал? Никого. Ходатай по делам Раш? Он ходил обтрепанный, пока не нажил средств на покупку платья, а вместе с платьем приобрел средства на брюшко и двойной подбородок; с этого времени у него пропал интерес ко всему, за исключением наживы. Окружной врач Муус? Человек без всяких способностей и вдобавок очень холодный. Вызубрил свои книжки и верил в них. Он такой человек, что ни за что не поклонится первым; ну, что ж—господин Хольменгро кланялся первый; врач рассуждал о людях и мире, о жизни и смерти—а господин Хольменгро молчал. Но хуже всего была, пожалуй, внешность окружного врача, его дегенеративность, плоская голова с торчащими вкривь и вкось косицами волос, его близорукость, большие безобразные уши. Должно быть, в его роду заблудился

в свое время какой-нибудь уродец, пролежал в могиле все прошлые столетия, а теперь снова воскрес в его лице.

Когда они оба приходили к господину Хольменгро, при чем доктор всегда входил в дверь первым, потому что отстаивал свое старшинство, а адвокат Раш следом за ним, потому что не видел себе от этого никакого ущерба,—когда они оба оказывали господину Хольменгро учтивость, являясь к нему с визитом в воскресенье вечером, их всегда радушно принимали и обильно угощали; часто они засиживались до поздней ночи.

Сам господин Хольменгро словно оживал: „Очень любезно с вашей стороны, господа, вспомнить о моем существовании“ — говорил он. Экономка его, фру Иргенс, рожденная Геельмуйден, пользовалась случаем напечь и нажарить для парадного ужина. Подавалась телятина и жареная птица с божественными соусами, печенья, и сладкое варенье, и мармелады для доктора, чудеснейшие пирожные, желе. Если фрекен Марианна бывала дома после очередной своей поездки в Христианию или заграницу, она тоже присоединялась к компании и выпивала стаканчик. Она была такая юная и веселая, к тому же очень своеобразная, метиска из Мексики, индианка по чертам лица, со скользящей походкой, и добрая и злая, и то и другое вместе, подчас прямо волшебница. Доктор Муус сватался в прошлом году к этому чистому ребенку, и сначала дело шло, как по маслу. Он самый обыкновенный человек из плоти и крови,—сказал он,—и так как, по счастью, он может предложить ей известное положение и почтенное имя, то и намерен это сделать теперь же. Она посмотрела на него как-то по-особенному, и глаза у нее стали индейскими и блестящими.

— Вы полагаете, что нам следует пожениться?— спросила она.

Да, именно это он имеет в виду.

— Нам с вами?— переспросила она.

Он не видел в этом ничего невозможного. Правда, имеется некоторая разница в летах, но у него есть положение и имя,—это можно засчитать, как некоторую компенсацию; он намекнул даже на то, что наружность его нельзя назвать отталкивающей.

После этого оба порядочно помолчали.

— Так вы действительно хотите жениться на мне? — спросила она, проникнувшись серьезностью положения.

— Да, я это основательно обдумал,—ответил он.— К сожалению, я еще не уверен, как к этому отнесется вся моя семья, но, в конце концов, ведь это касается только меня одного, а сам я решил этот вопрос положительно!

Тогда она попросила отсрочки на несколько лет, чтобы им можно было хорошенько все взвесить,— лет пять, сказала она,— так, чтобы не помешала ни малейшая мелочь; в сущности, следовало бы восемь лет, сказала она. Но тут он покачал головой,— восемь лет, это уж чересчур долго.

— Нет, восемь лет,—проговорил он,— это, можно сказать, преувеличение.

— Но мне очень важно, чтобы вы дали время и себе, и мне хорошенько все взвесить. Дело немножко запутанное,— сказала фрекен Марианна.—В жилах моей матери текла индийская кровь, и я не знаю, совершенно ли у меня самой покончено с моими родичами в Мексике. Если мне придется извещать моих родичей о вашем предложении, так ведь племя это постоянно кочует, и на розыски наверное потребуется не меньше пяти лет.

На это доктор Муус засопел и заявил, что нет никакой надобности вмешивать в вопрос племя мексиканских индейцев.

— Ну, как же,—таинственно и меланхолично заявила фрекен Марианна,—у племени свои законы, не нарушайте их! Племя мстит,—для чего же у них имеются отравленные кинжалы? Если месть их не сможет настигнуть ее в Сегельфосе, то ведь ее брат Феликс в Мексике, он моряк, плавает вдоль побережья, его непременно убьют.

Подумав немножко, доктор сказал твердо:

— Да, между вашим племенем и моей семьей не может быть ничего общего. Прошу вас извинить меня!

Марианна наклонила голову.

— Но это не помешает нам остаться добрыми друзьями,—сказал доктор Муус.

— Надеюсь!—ответила фрекен и поспешно скользнула за дверь, чтоб оправиться от удара.

Помимо доктора и ходатая по делам изредка навещал господина Хольменгро ленсман из Ура. Это был приятный старичок, не причинявший никаких беспокойств; фрекен Марианна по нескольку часов просиживала с ним за разговорами, да и сам господин Хольменгро охотно приглашал его к себе, не ради каких-нибудь его особенных слов и дел, а ради его уютности и красивых седых волос.

— Приходите же опять поскорее!—говорила фрекен Марианна.

— Благодарствуйте,—отвечал ленсман, стоя с непокрытой головой в прихожей, и надевал шляпу только после того, как фрекен уйдет.

Несколько раз бывал священник; он знал токарное, плотничное и кузнечное мастерство; разумеется,

он не пытался выступать руководителем своей паствы в глубоких духовных вопросах, по примеру знаменитого сына Ларса Мануэльсена, Л. Лассена, во времена его капелланства. Теперешний же священник попал не на свою полочку. Он мог делать что угодно руками, умел плести свадебные корзинки, даже сам смастерил себе сани. В этом случае он проявил себя настоящим изобретателем: сделал весь коробок из старых мешков, которые пропитал клеем и придал им нужную форму. Когда форма застыла, он прошелся по ней лопаточкой, а когда все как следует засохло, соскоблил неровности пемзой, чтоб везде было гладко и красиво. В заключение он три раза покрыл коробок густой лаковой краской, и работа была кончена. Получились легкие и чудесные, точно стеклянные, сани. За это художественное произведение его избрали председателем поселковой общины.

Фамилия священника была Ландмарк; он прожил в приходе уже четыре года и был первым священником со времени выделения Сегельфоса в самостоятельный приход. Жена его была родом из маленького южного городка,—все пасторские жены родом из маленьких южных городков и деревень, они дочери таможенных чиновников, капитанов или сборщиков податей в маленьких городишках и все выходят замуж за приезжих учителей местных школ. Так бывает с ними всеми, так же было и с фру Ландмарк. Она была дочерью полициймейстера, из бедной многодетной семьи, вышла замуж за учителя и сама стала матерью; когда же детей народилось порядочно, учителю пришлось поискать места пастора на севере, хотя он и не умел говорить проповеди. Такова участь всех богословов, такова же была и участь пастора Ландмарка. Теперь он занимал прочное положение

духовного пастыря, хотя ничего не понимал в этом деле,—глупая и скучная профессия для человека, способного действовать руками. Он устроил в пасторской усадьбе кузницу и столярную мастерскую и проводил счастливейшие часы свои среди древесных стружек и кузнечной копоти. Дело шло не плохо, могло бы быть хуже,—пастор Ландмарк мирился с жизнью. Но пасторша, его супруга, рожденная Пост, никогда и не воображала себе подобной жизни и подобной нищеты с должностным лицом,—ведь это выходило немногим лучше, как если б она была женой простого мастерового. Случалось, что муж ее делал какому-нибудь соседу колесо к таратайке или оттачивал заступ, и ему предлагали за это плату, а один раз он смастерил даже детский гробик. Конечно, хорошо помогать людям, нуждающимся в помощи, но где же, при таком образе действий, будет граница, и как удержать на расстоянии назойливых людей? Фру говорила, что она рождена вовсе не для того, чтоб якшаться со всеми соседками, которые лезут к ней в кухню со всякими просьбами, и она совершенно не желает их там видеть,—нет, ступай себе домой, Олина, ступайте домой, Маттеа и Лизбета! Все это происходило из за пристрастия ее мужа к ремеслам, это был крест всей семьи, и она, опять-таки резонно, говорила, что, во всяком случае, слишком дорогое удовольствие строить кузницу и мастерскую в пастырской усадьбе, откуда все равно уедешь, как только кончатся годы обязательного пребывания в Норландии. Разве возьмешь с собой дом или кузницу? Славу богу, четыре года уже прошло, еще через четыре можно будет и перебраться отсюда куда-нибудь на юг,—пусть в самое глухое местечко, но на юг,—а мастерскую, значит, оставлять здесь! Дорого стоящая причуда,—несколько

сот крон, которые не принесут пользы никому, кроме нового священника в Сегельфосе.

За эти четыре года пастор с женой были у господина Хольменгро всего два раза—с первым визитом и потом еще один раз. И этот второй визит сошел не совсем благополучно,—пастора господин Хольменгро увел с собой на мельницу смотреть машины и новое оборудование, а пасторша осталась вдвоем с фру Иргенс, рожденной Геельмюйден. Нет, вышло совсем неблагополучно,—обе дамы знали себе цену, и ни одна не находила причины уступать другой. Вот, например, цветы: фру Ландмарк привыкла совсем к другим цветам в своем родном доме на юге; но она все-таки не высказала это прямо, а только намекнула, что у них дома одна аралия росла прямо на воздухе. Фру Иргенс вскинула голову. Опять же окна: фру Ландмарк каждое утро заставляла служанок протирать окна у себя в пасторском доме, но это уж в самом стекле,—здесь на севере ужасно трудно достать порядочные оконные стекла. Фру Иргенс заметила, что она все-таки видала чистые окна и в Норландии, но тут пасторша неосторожно спросила:—Где?

— На мой взгляд, например, и эти довольно чисты,— ответила фру Иргенс.

Тогда фру Ландмарк улыбнулась и сказала:

— Ну, так вы не видали, какие окна у нас на юге, фру!

За этим последовало оскорбленное молчание.

— Но вы не истолкуйте моих слов превратно,— сказала тогда фру Ландмарк,—это не ваша вина, это от самого стекла!

— Нет уж, если что нехорошо в этих стеклах, так в этом виновата я,—ответила фру Иргенс.—Стекло очень хорошее, господин Хольменгро такой человек, что у него в окнах зеркальные стекла.

Пасторша недоверчиво спросила:

— Разве это зеркальные стекла? Ведь не потому же они зеркальные, что большие и цельные?

— Нет, но потому что они зеркальные,— ответила фру Иргенс.

Спор легко мог бы разгореться, потому что у фру Иргенс, рожденной Геельмюйден, выступил легкий румянец на щеках, но фру Ландмарк решила, в качестве пасторской жены, смириться и уступить. То-есть уступить-то она не уступила, она заговорила о другом — о служанках, серебре и генеральной стирке, но не позабыла про окна. Неужели она могла допустить, чтоб какая-то норландская дама ее морочила? Она остановилась у дальнего окна в комнате и сказала:

— Послушайте, милейшая фру, разве на зеркальном стекле бывают такие царапины?

Фру Иргенс подошла.

— Эти царапины — знаете, что это такое? — сказала она. — Это имена, написанные брильянтовыми кольцами.

Тогда фру Ландмарк посмотрела на фру Иргенс, посмотрела пристально и долго. Неужели эти выдумки будут становиться все грубее и грубее, а она должна принимать их за чистую монету?

— Брильянтовыми кольцами? — проговорила фру Ландмарк. — Но ведь это же редкие и дорогие вещи! Вполне ли вы отдаете себе отчет в своих словах, фру?

Фру Иргенс серьезно оскорбилась и попросила заметить, что она носит фамилию Иргенс. На что фру Ландмарк ответила, что она рожденная Пост, однако из-за этого не считает нужным вплетать в свой разговор брильянты ради пущей важности.

— Но боже мой! Ведь это же писали иностранные капитаны!— воскликнула фру Иргенс.— Когда они

привозили сюда хлебные грузы, они это и написали, снимали с пальца кольцо и писали.—Вы, кажется, хотите выставить меня лгуньей, фру Ландмарк!—При этих словах у фру Иргенс выступили на глазах слезы, а щеки побледнели.

— Любезнейшая фру,— воскликнула пасторша,— я готова сделать все, чтоб успокоить вас, фру, это мое искреннее желание, и я не стану вам противоречить, раз вы этого не выносите. Но извините меня, я не слыхала здесь, на севере, о брильянтовых кольцах; у нас, на юге, это—дело другое. Но раз вы заявляете, что это писали иностранные капитаны, то это уже не так невероятно. Нет, дорогая фру Иргенс, я вовсе не хочу выставлять вас лгуньей.

— Господин Хольменгро даже рассердился, когда увидел эти царапины,— продолжала фру Иргенс, не желая дать заговорить себе зубы.—И он нарочно попросил фрекен Марианну не царапать больше своими брильянтами; это совсем некрасиво,—сказал он,—а фрекен Марианна ответила, что она и не думала царапать, и засмеялась. У фрекен Марианны три или четыре драгоценных брильянтовых кольца, которыми она могла бы отлично поцарапать!

— Вот как,—ответила фру Ландмарк только для того, чтоб не противоречить фру Иргенс.

Но фру Иргенс все равно опять обиделась, потому что вопросительно повторила:

— Вот как? Я ведь не говорю, что они есть у меня, потому что у меня их нет. Хотя и я не совсем уж нищая,— Иргенс подарил мне страшно дорогую парюру из богемских гранат; там и браслеты, и кольца, и серьги, и ожерелье, и диадема для волос,— помнится, он говорил, она стоила несколько сот крон.

— Не сомневаюсь,—ответила пасторша, опять проявляя своеобразную уступчивость. — У нас на юге богемские гранаты мало в ходу, но, по нашим скудным сведениям, они стоят, пожалуй, тысячу крон,—так зачем же говорить несколько сот, фру Иргенс? Впрочем, некоторые люди находят гораздо шикарнее говорить шестьдесят минут, а не час. Я, лично, никогда этого не понимала!

Вернувшиеся с мельницы мужчины разъединили дам. Но на обратном пути домой пасторша заявила, что впредь ноги ее не будет в доме господина Хольменгро. Это ее долг перед самой собой.

И пока она держала слово.

И вот оставался только телеграфист Борсен, но он никуда не ходил в гости, и господин Хольменгро встречался с ним только на дорогах да на телеграфе. Между ними бывали только краткие, вежливые разговоры—ничего больше, никакой фамильярности. Но когда господин Хольменгро прожил в Сегельфосе десять лет и праздновал нечто в роде юбилея, начальник телеграфа вывесил на станции флаг,—что он хотел этим выразить? Он никогда не вывешивал флага помимо регламента. Вечером он получил приглашение пожаловать к помещику, но поблагодарил и отказался, сославшись на экстренную работу. Маленький Готфред, его коллега по телеграфу, говорил, что у Борсена нет приличного костюма.

В конечном счете, жизнь господина Хольменгро в Сегельфосе сделалась чрезвычайно однообразной и неуютной,—не с кем видаться, не с кем поговорить. Самое производство тоже не радовало, рабочие роптали, а мельница иногда работала чуть не в убыток. Два раза ему пришлось увеличивать цены, и в последний раз „Сегельфосская газета“ ополчилась на

него, доказывая, что он высасывает кровь из населения.

Да, помещику частенько приходилось очень невесело! Иной раз срывалась и какая-нибудь спекуляция,—урожай в Индии выдавался лучше, чем ожидали, и оказывалось, что он закупил хлеб по слишком дорогой цене; когда это узнавалось, „Сегельфосская газета“ писала, что помещик понес крупный убыток, но что это заслуженное возмездие,—не следует спекулировать на бедствиях Индии. Долой капитал! Положение создалось прямо тягостное,—помимо того, что помещик нес потери, ему приходилось еще давать объяснения, хвастать: слава богу, он еще стоит на ногах, он сводит концы с концами, хе, хе! А чтобы прекратить слухи, он снизошел до того, что к юбилею пожертвовал пять тысяч крон в кассу взаимопомощи своих рабочих. Тогда „Сегельфосская газета“ написала: „Наконец-то маленький возврат из богатств частного человека, накопленных потом рабочих. Услышьте истину, рабочие!“

А потом эти пять тысяч крон — в какую жалкую комедию они превратились! Рабочие основали на них банк, рабочий банк, „Сегельфосскую ссудо-сберегательную кассу“, и адвокат Раш, а с ним еще два человека попали в директора. Они выдавали ссуды несколько недель, ссуды выдавались всем, все стали закладывать свои дома, имущество, скотину и брали ссуды. Если получал Иенс, надо было получить и Якобу; это превратилось в своего рода эпидемию, один ручался за другого. Теодор-лавочник много торговал в те дни на наличные, продавал материи на платье, часовые цепочки и тонкие сыры. В конце концов, в „Сегельфосской ссудо-сберегательной кассе“ уже не осталось никаких денег, директора кое-как наскребли себе

жалованье. Они переглянулись. Что же дальше? Они подошли к концу.

Тут наступил черед адвоката Раша:

— Если у меня будут развязаны руки, я спасу банк,— сказал он.

Ему развязали руки, он сделался единоличным директором с двойным окладом.

А тут подошли сроки, и адвокат хорошо заработал,—он созывал комиссии, писал постановления и производил аукционы. Теодор-лавочник купил несколько голов рогатого скота и отправил их на юг с пароходом, а ходатай Раш перевел на себя несколько изб, за которые жителям впоследствии пришлось платить аренду. О, это был настоящий переворот, землетрясение, господи помилуй,— никто, верно, не видал таких крупных последствий от доброхотного дара в пять тысяч крон!

А банк устоял. Это было чудо, но в черный день банк оказался на высоте положения. Как же это вышло? Никто не сомневался, что спасением были обязаны ходатаю Рашу. Все пропало бы, если бы этот железный юрист не действовал с таким умом и молниеносной быстротой. Он разослал тридцать судебных повесток на один и тот же день и покорил Сегельфос, посеял в местечке панику; люди не успели опомниться даже настолько, чтоб смошенничать и выдать обязательства на все свои потроха какому-нибудь родственнику или свойственнику и надуть банк. Люди сдались со стоном, как дети, как убойный скот. Адвокат Раш хорошо заработал, а сами рабочие? Большинство было довольно. Семейные рабочие, имевшие и собственный дом, и скотину, те пострадали,—они не только брали ссуды сами, но ручались и за других, за поденных рабочих, огромное большинство,— для

таких семейных это явилось тяжелым ударом, но большинство заявляло, что кому же и нести удар, как не этому „имущему классу“ среди рабочего сословия,—они пошли по стопам капиталистов, имеют сбережения, им и отвечать! По этому поводу собиралось несколько сходок, выступал рабочий Аслак, выступал поденщик Конрад. „Сегельфосская газета“ рекомендовала помещику посетить митинг и послушать ораторов.

Господин Хольменгро расхаживал в толстой фуфайке и запачканных мукой сапогах и на митинг не пошел; но от благодеяния своего он имел мало удовольствия. Нет, на митинг он не пошел, но этим дело не кончилось! Они осмелились послать за ним с митинга, и ему пришлось отвечать посланному, что он занят и не может прийти. Казалось, что это были переговоры между равными.

Разве это была жизнь для чудодея, для короля Тобиаса, из страны сказки и золота? До катастрофы, до краха никогда не доходило, но положение оставалось тяжелым. У него не было никакого крупного противника, который мог бы сразить его, но огромное множество мелкоты терзало и мучило его. Лучше было бы опять стать сказкой о миллионере с Кордильер.

Да, нечего таить, люди начали относиться с подозрением к богатству господина Хольменгро, а если он не богат, стало быть, он — ничто. Скажите на милость, чего это ради богатый человек станет заниматься мельничным делом в Сегельфосе и даже не потолстеет и не нарядится в шубу? Вот, ходатай Раш, этот здорово разбогател, и по нем это видно. Господину Хольменгро следовало бы придумать что-нибудь новенькое и не прибедниваться. Разве он не мо-

жет вернуть чудесные времена, когда он вынырнул из сказки в непомерном блеске восходящего солнца? О господи, что за времена! Он должен как-нибудь использовать эту легенду, может быть, он это и обдумывает, и верно для опыта он съездил в город и вернулся оттуда масоном.

„Хоть бы это помогло!" — быть может, думал он.—„Хоть бы мне удалось вернуть себе уважение!"—, верно, думает он.

Сегодня он доволен и сегодня полон надежды. Если приедет молодой Виллац, у него в первый раз за много лет появится человек, с которым можно иметь общение; он полон радостного ожидания, у него такое чувство, как на другой день после удачи.

Господин Хольменгро идет в лавку. Он редко там бывает, никогда не бывает, и маленький Теодор откидывает перед важным барином прилавок. И хорошо, что он это делает,—ведь это господин Хольменгро заложил основание всей лавки и помог старику Перу стать П. Иенсеном. Помещик — само добродушие по отношению к хозяевам лавки и не требует с них аренды за землю. Он в дальнем, дальнем родстве с матерью Теодора и ничего не имеет против того, что Теодор превратился в толкового парня, который занимается мелочной торговлей и этим живет. Но сам он ничего здесь не покупает, а выписывает все из городов.

— Будьте добры пожаловать сюда, — говорит Теодор.

Господин Хольменгро улыбается. Приглашение за прилавок, это — прием, выработанный торговцем для оказания почета покупателю; это, может, и хорошо для жителей Сегельфоса, но для короля — дело другое!

— Отец твой все лежит? — спрашивает помещик. — Тогда поговори с ним об этом сам: я вижу, вы опять моете рыбу с яхты и раскладываете ее на горах. Это шестой год.

Теодор смущается и говорит:

— Разве это горы не Виллаца?

— Ты хочешь сказать: горы господина Хольмсена? Да. Это было бы неважно, будь эти горы мои. Мне кажется, вам следует заплатить ему аренду за все эти годы.

Теодор толковый парень и отвечает:

— Виллац Хольмсен был здесь после того, как мы начали сушить рыбу на его горах, но он никогда не поминал про аренду.

— Правильно! — кивает король. — Но именно по этой причине я и думаю, что вы должны заплатить ему.

— Я потолкую с отцом.

— Правильно. Скажи отцу, что я хочу, чтоб вы ему заплатили аренду за горы.

Теодор некоторое время колебался, но все же решил сказать правду. Может быть, ему хочется, по той или иной причине, произвести как можно больше впечатления на помещика, на короля. Он говорит:

— Да, впрочем, и рыба, и яхта — мои, они не принадлежат нашей фирме.

И, может быть, господин Хольменгро это уже знает, и ему хотелось немножко одернуть молодого парня в его величии. Это возможно. Потому что он ласков и отечески благожелателен ко всем обитателям лавки.

— Так рыба твоя, Теодор? — спрашивает он. — Ну, тогда такой деловой человек, как ты, и сам должен понимать, что за гору надо заплатить аренду. Больше нам не о чем разговаривать.

Но Теодор хочет, должно быть, произвести еще большее впечатление, он говорит:

— Пекарня, что перешла к нам, стоит, насколько мне известно, на вашей земле.

— Это все равно.

— Мы заплатим вам аренду.

— А торговля и вообще дела идут хорошо? — спрашивает господин Хольменгро.

— Жаловаться нельзя.

Господин Хольменгро кивает головой и уходит.

Приятно было опять немножко проявить себя, иметь что сказать, сделать указания: за последние годы это случалось не часто. Должно быть, весна начала оживлять его,—каждый год в марте он начинал чувствовать в себе какую-то перемену, шагал крупнее, когда ходил по дорогам, и говорил более определенно. Весна играла с ним неприятные штуки, налагала на него крест: молодость. Он заболевал молодостью. Это имело глупые и досадные последствия.

Дорогой он встречает возчика, тот здоровается и говорит, что он отец Марсилии.

— А-а, — отвечает господин Хольменгро.

— Отец Марсилии, которая опять у вас служит, — говорит возчик.

— А-а. Да, да!

— Мальченка ее совсем большой парнишка и ходит на лыжах.

— Вот как! Отлично.

— Только лыж у него нету.

Господин Хольменгро достает бумажник и вынимает из него кредитку.

— Вот, на, купи ему лыжи. Да куда же ему теперь лыжи, на весну глядя?

— Что до этого, то я так и говорил ему всю зиму, но он плачет и просит лыжи. А к тому же у нас в горах снег до самого Иванова дня.

— Ладно, купи ему лыжи. Марсилия славная девушка, пусть у сынишки ее будут лыжи.

— Я так и думал! — говорит возчик. — Ежели я скажу вам, вы не захотите, чтоб ребенок плакал. Покорнейше благодарю за деньги. Не подвезти ли вас, барин? — кричит возчик вслед господину Хольменгро.

— Подвезти меня?

— Я бы повернул и довез вас до дому. Со всем удовольствием, если вы не погнушаетесь сесть на дровни.

И возчик поворачивает лошадь.

— Поезжай своей дорогой! — крикнул господин Хольменгро и зашагал прочь от него.

Разумеется, можно попасть в глупые истории, и это неизбежно. Какое же против этого средство? Вот, какой-то человек предлагает ему подвезти его на дровнях, словно он кто-нибудь из сегельфосской знати, словно он ходатай Раш или милашка Теодор из Буа. Нет, надо что-нибудь сделать! Какой там — почет, когда нет самого простого уважения.

Ну, а у этого дошлого человека, отца Марсилии и деда сынишки Марсилии, верно, было свое на уме, когда он предложил подвезти помещика,—захотел посидеть в санях рядом с помещиком и показаться так всему Сегельфосу.

Вдруг он слышит, что впереди кто-то кричит; поднимает голову и видит человека, размахивающего руками. Это Конрад, поденщик, он бежит с мельницы.

Господин Хольменгро невольно думает, что случилось что-то серьезное, он даже не дожидается, пока подойдет поближе, и спрашивает:

— Что случилось?

— Ничего, — отвечает Конрад. — Я просто кричал вон тому человеку с лошадью, чтобы он подождал и подсадил меня.

Господин Хольменгро как будто не понимает.

— Куда же ты собрался? — спрашивает он.

— Да никуда, просто надо поскорее в лавочку. У нас там вышел весь табак.

Лицо господина Хольменгро передернулось, словно его ударили хлыстом. Одно мгновение, потом все прошло.

Вероятно, в эту минуту господин Хольменгро пожелал вернуть свою молодость, когда он был сильным, здоровым матросом. Плохо быть стариком,—господин Хольменгро был беспомощен. Он настолько овладел собой, что мог сказать:

— К вечеру все двести мешков должны быть насыпаны. Ты понял?

Возможно, что Конрад и в самом деле понял, но это не произвело на него особого впечатления, он не обратил никакого внимания. Вынул носовой платок, и стал чистить нос и равнодушно прошел мимо барина.

Господин Хольменгро, должно быть, испугался, что погорячился и что это будет иметь последствия,— он был старый человек, он сказал кротким тоном:

— Но не-зачем начинать раньше, чем вы пообедаете. Ты обедал?

— Обедал ли? — усмехаясь отвечает Конрад. — Как же, много раз.

— Я хочу сказать—сегодня. Сегодня обедал?

— Вы бы так сразу и говорили.

Господин Хольменгро восклицает:

— О господи, это превосходит все границы!— Ты ни одного дня не останешься больше на мельнице!

Но Конрада один раз уж увольняли, это не бог знает, как страшно. Господь наделил его хорошей головой, и он знал, что сила на его стороне и на стороне его товарищей. Он повернулся и сказал:

— Вот что я вам скажу, Тобиас: старому человеку не годится так горячиться. Нас двадцать человек против одного, и среди нас нет рабов.

— А как ты думаешь, сколько нас? — спросил господин Хольменгро, выходя из себя. — Я вам покажу — я вас проучу...

— Ну-у, это ты насчет фармазонов! — крикнул Конрад. — Так ведь этому никто не верит.

И Конрад пошел. Подсел на воз к человеку и поехал в лавку за табаком.

Господин Хольменгро возвращается домой и говорит своей экономке фру Иргенс:

— Я нынче вечером уезжаю на юг на пароходе. Пожалуйста, уложите мне чемодан. Только самое необходимое, штуки две сорочек, я вернусь с первым северным.

Фру Иргенс привыкла к тому, что он изредка уезжал, по его словам, на заседание в ложу; она спрашивает, поедет ли с ним фрекен Марианна, и господин Хольменгро отвечает, что нет, она не поедет. Он едет по очень важным делам и должен быть один. — А дом тем временем останется под вашим надзором, фру Иргенс.

— Под моим надзором! — уныло говорит фру Иргенс. — Я и без того вне себя,—ключ ведь так и не находится. Я целыми ночами о нем думаю.

— Ключ?

— Ключ от кладовой, о котором я вам говорила. Мы ищем, ищем, но так и не находим.

— Ну, это уже не такая беда,—рассеянно говорит господин Хольменгро.

Но нет, это большая беда. Фру Иргенс не может успокоиться. Этот маленький ключик невозможно найти, он провалился сквозь землю, чорт припрятал его осенью, когда кололи скотину, тогда столько народу перебывало в кладовой. Искали в доме и на улице, щупали друг у друга карманы, всех спрашивали; теперь уж и снег на дворе стаял, а ключ так и не обнаружился. Да и ключ-то был не какой-нибудь большой,—настоящий ключ от кладовой с замысловатой бородкой,—а совсем дрянненький, простой никкелевый ключик, плоский, как бумага, и величиной-то всего с полвершка,—ключ для висячего замка, для американского замка. Его можно было носить на часовой цепочке.

— И теперь вы не можете попасть в кладовую?—равнодушно спрашивает господин Хольменгро.

— Ну, как же!—отвечает Фру Иргенс, невольно улыбаясь такой наивности.—Разумеется, мы бывали в кладовой всю зиму, и входили, и выходили. Только нам приходится попадать туда через подвал. Ключ от подвала у нас, слава богу, остался.

— Ну, так это не большая беда,—повторяет господин Хольменгро, думая о другом.

Но нет, это большая беда. Фру Иргенс боится, что кто-нибудь найдет ключ от кладовой, запрется в ней и украдет все, что там есть. А в кладовой мясо, и свинина, и рыба, и сыр, и масло, и варенье, и крендели, и сухари, да чего только там нет! Она попросила господина Хольменгро купить теперь в городе новый замок, и господин Хольменгро обещал.

— И уж теперь я буду носить ключ и днем, и ночью на себе!—сказала Фру Иргенс.

Насчет экономки господину Хольменгро повезло,—она служила ему верой и правдой и хлопотала о его

благе все годы, что он жил в Сегельфосе; другой вопрос, может ли он сейчас пригласить молодого Виллаца в богатый и аристократический дом. Вот вопрос. Гардины подобраны плохо, местами отказались от надежды подобрать их выше, они так и застыли в непоколебимой кривизне. В столовой порядочно серебра и граненого хрусталя, на буфете новомодные вазы, фарфор. Резные немецкие часы со шнурами и маятником, не желали ходить без дополнительной тяжести на гирях, и вот Фру Иргенс привязала к ним зеленым вышивальным шелком камень. Вид получился не особенно красивый и благородный. Кабинет был бы очень уютный, если сделать в нем кое какие умелые перестановки. Как раз сейчас у него несколько заброшенный вид,—эта милая Марианна имеет дурную привычку уносить к себе в комнату целую кучу книг и там читать, забывая ставить книги на место; сейчас, с опустошенным книжным шкафом, кабинет весьма неказист.

Господин Хольменгро позвал дочь вниз и, стуча кулаком по столу, стал выговаривать ей за книги, и за камень на часах, и за кривые шторы. А Марианна смеется, потому что отец всегда такой ласковый и шутник, потом хватает его за волосы и говорит, что нет никакого смысла носить такие длинные волосы и что он должен непременно остричься в городе.

— Хорошо. А, впрочем, я с тобой в ссоре,—говорит вдруг отец и опять хмурится.—Камень на часах! И неужели у тебя или у фру Иргенс нет глазомера? Неужели ты не видишь, что шторы совсем перекосились? И вот что я тебе скажу: ступай и принеси книги!

— А я тебе скажу вот что,—ответила Марианна,—что я—„твои дети“ и, если б ты был хорошим

отцом, ты пошел бы со мной и помог мне перетаскать книги.

— Вот я тебе помогу!—язвительно отозвался он.—Ах ты чудовище! Индеец ты, а не Марианна!

Но, разумеется, пошел и возился, и шутил с ней, хотя и был старик. Так они и жили. Иногда он пытался выдержать серьезность и строгость, притворялся, будто не слышит ее слов. Но всегда кончалось тем, что она вертела им по-своему.

У господина Хольменгро была только она, только одна Марианна. Сын Феликс еще мальчиком уехал обратно в Мексику и был теперь мексиканцем и моряком, плавал на всяких кораблях. Должно быть, жилось ему, как в свое время отцу; наверное, порядком хватил бурь. Но раз дома была одна Марианна, то она—„его дети“, говорила она.

Марианна была далеко не красавица, с желтым цветом лица и с заросшим черными волосами лбом. У носа была хищная складка, он точно принюхивался, был большой и некрасивый. Но много было и хорошего в Марианне, и хорошего, и дурного, как во всех людях, но в Марианне иногда было что-то коварное, а иногда что-то беззаветно мягкое и милое. Несмотря на свою молодость, она уже давно сложилась и так много унаследовала от своей матери-индианки—высокий, гибкий стан, скользящую походку—что была очаровательна. Взять хоть бы ее светло-карие глаза,—особенной мягкости в них тоже не было, но они были продолговатые и с ярким блеском. А большие золотые полумесяцы, которые она носила вместо серег—они были ужасны, но ведь и Марианна была не обыкновенная сегельфосская барышня в пальто и шляпке. Так как же отцу на нее не радоваться? Сам он от природы был игрок, всесветный

бродяга, и только судьба сделала из него делового человека. Он не мог научить свою дочь хозяйству, но мог быть для нее веселым другом и загадкой.

Вечером Марианна проводила отца на набережную и на пароход. На набережной стояло много народу, некоторые кланялись, некоторые нет, но все вытягивали шею и с любопытством смотрели на них.

Сойдя на берег, Марианна не стала при всех шутить с отцом, а кивнула ему на прощание и пошла.

— Вот тут две кроны, кто их потерял?—громко сказала она, проходя, и указала рукой.

Теодор-лавочник подбежал и поднял с земли монету, вытянул руку и шутливо крикнул:

— Признавайтесь, чьи!

Никто не отозвался. Все пошарили в карманах, но никто не объявился хозяином монеты. Ларс Мануэльсон забормотал и усердно стал рыться в карманах, как будто монета и в самом деле могла быть его.

Теодор сказал:

— Хозяин не объявляется, две кроны ваши, фрекен Хольменгро.

— Нет,—ответила Марианна, не останавливаясь.

— Да ведь это же вы нашли их!—тщетно кричал ей вслед Теодор.

Если это Теодор-лавочник сам подбросил монету, чтоб завязать разговор, то фокус оказался неудачным. Он даже чуть не попал в неприятность из-за этих денег, когда сунул их в карман,—Ларс Мануэльсен как раз убедился, что признал монету: у него были две кроны, а теперь,—вот видишь,—в кошельке нет ни одной монеты в две кроны.

Но Теодор-лавочник был не такой человек, чтоб зря раздавать деньги,—он был большой любитель звонкого металла.

— Пускай пока побудут у меня,— сказал он.

— Разве это твои две кроны?— спросил Ларс Мануэльсен.

Теодор как будто соображал, как будто пришел в замешательство. Что такое, уж не думают ли, что он во что бы ни стало хотел заговорить с Марианной?

— Это не мои две кроны,—твердо проговорил он.—Но я их спрячу,—сказал он.

А Ларс Мануэльсен пробормотал обиженно:

— Ну, я не стану спорить с тобой из-за двух крон. Мне они не нужны.

V

С веселым духом начала сорока таскать ветки в гнездо.

— А господь дал сороке такой веселый нрав затем, чтоб мы на нее смотрели и тоже были довольны,— постоянно говорила старая Катрина, мать маленькой Паулины и маленького Готфреда.

Когда настал март и миновали самые жестокие морозы, старая Катрина поглядела на окно, соскребла с него лед и сказала:

— Слава тебе, господи, скоро и этой зиме конец, вон уж сорока начала таскать ветки.

Но, впрочем, сорока таскала не только ветки,—она таскала все блестящее, яркое и мохнатое, все, что ей попадалось на глаза. Любопытство и жадность ее были так велики, что она льстилась на самые необыкновенные вещи. Ну, на что ей очки Ларса Мануэльсена? Для чтения собрания проповедей, как самому Ларсу Мануэльсену, они ей не нужны,

а видеть лучше, чем она видит, ей тоже не к чему. Ларс Мануэльсен потерял очки, идя домой из гостиницы, и он отлично знал, где обронил, сейчас же вернулся и поискал, но очки пропали.

— Это сорока!—сказал Ларс Мануэльсен.

И вот опять прилетела сорока, летела она от большого дома господина Хольменгро и держала в клюве что-то блестящее—неизвестно что, только не ветку и не соломинку. Спускаясь к земле, она стала похожа на кружащийся кусочек картона. Но противная сорока все-таки беленькая с черным и хорошенькая, писаная красотка; черные перышки у нее с зеленым металлическим блеском. Даже сидя на земле и повиливая корпусом, она великолепна и вносит большое оживление в пейзаж. Сорока очень чутка, наверно она видит спиной, при малейшей опасности она снимается с места, но, очутившись в безопасности, частенько присаживается похохотать,—такой уж у нее веселый нрав. Попадется ей кошка или собака—она задразнит их до смерти и сама натешится вдосталь. Она селится поблизости от человеческого жилья не ради удовольствия, а из расчета, чтоб иметь защиту против своих врагов. Такова сорока.

Но часто врагами ее являются и сами люди.

— Ты не разберешь, что такое у нее в клюве?—говорит жена Ларса Мануэльсена.

— Болтай про сороку!—отвечает Ларс Мануэльсен.—Она тащит все, что видит; она утащила мои очки. Но пусть только построит свое гнездо, да положит в гнездо яйца, да выведет птенцов, уж я поговорю с ней!

— Не смей трогать гнездо!—отвечает жена.

Каждую весну повторялся тот же спор,—Ларс Мануэльсен хотел разорить сорочье гнездо, старое

сорочье гнездо на березе перед его избой, а жена не позволяла. До сих пор победа оставалась за женою. А у нее были основательные причины: сорока мстительна, у сороки помощники и на земле, и под землей; лопари пользуются сорокой вместо гонца; сорока полна и добра, и зла.

Ларс Мануэльсен не слушал всех этих глупостей.

— Ну да, как же!—сказал он, сердито махая рукой на сороку. В ту же секунду сорока снялась и взлетела на березу; она сидит с минуту, потом проскальзывает в гнездо, словно дух. Когда она опять показалась из гнезда, в клюве у нее уже не было ничего блестящего, и вот она начинает смотреть на Ларса Мануэльсена и хохотать над ним. Она словно была полна веселого яда. Она даже перепрыгнула на другую ветку, чтоб лучше высмеять Ларса Мануэльсена, перепрыгнула даже на третью ветку, перегнула головку на бок и кричала ему что-то вниз. Это было невыносимо, сорока зашла слишком далеко, — не владей Ларс Мануэльсен своим рассудком, он бросил бы в нее топором.

— Не смей грозить сороке, говорю тебе!—предостерегает жена.

— Я скажу тебе только единственное одно,— отвечает Ларс Мануэльсен с весом,—Ларс Мануэльсен начал очень многое говорить с весом с тех пор, как стал отцом знаменитого человека, получил парик и зарабатывал деньги у коммивояжеров в гостинице. А кроме того, Ларс Мануэльсен был владельцем собственного участка, собственного скотного дворика, со стойлами на двух коров, и мог теперь принять своего знаменитого сына, когда тот приедет, а бог знает, не думает ли сын, что сорочье гнездо—самая обыкновенная вещь на крестьянском дворе! И потому Ларс

Мануэльсен отвечает с весом:—Где, коли так, мои очки?—Жена не знала.—Ну, так спроси сороку!—говорит Ларс Мануэльсен.—А, может, ты еще что-нибудь хочешь узнать?—спрашивает он.—Видала ли ты, чтоб на порядочных дворах водились сорочьи гнезда, да еще с такими фокусами?—Нет, пожалуй, жена не видала.—Ну, так, значит, нечего тебе больше и говорить!—заявил Ларс Мануэльсен.

Не одна сорока готовилась к весне,—готовился и ходатай по делам Раш. Все остатки снега на своей земле он велел посыпать песком, чтобы ускорить таяние. Ходатай Раш в несколько лет преобразил свой участок и превратил его в сад и парк. Прежде это была жиденькая лужайка с парой низкорослых сосенок; теперь сосенок не было, а лужайка была засажена кустами, и деревьями, и всякими растениями на украшение дома, на радость людям и всему Сегельфосу. Ходатай Раш наделал великих дел с тех пор, как получил в свои руки средства. На что ему сосны и коровы? Скотница, это—лишняя прислуга. Он мог покупать молоко в Сегельфосе, как все другие; конечно, возделывать Норвегию—дело почтенное, но оно не стоило хлопот. Тут же он видел большие и осязательные результаты своей деятельности,—он насадил сибирской акации и американской сосны, вырыл в лесу кусты можжевельника, папоротников и вербы и перенес в свой парк, и они хорошо принялись там, особенно же земля оказалась подходящей для акации, которая разрослась в целый лес. Окружной врач Муус, приезжая в гости, каждый раз обходил парк, очень одобрял его и говорил, что он замечателен.

— Если вы позайметесь так еще несколько лет, у вас в конце концов запоют соловьи в ваших

рощах!—говорил он. Конечно, окружной врач Муус говорил это больше в шутку, потому что он был образованный господин и говорил замечательно хорошо, когда хотел; ходатай же Раш только кивал на это головой,—он-де такой человек, для которого ничего нет невозможного, вполне осуществимы и соловьи. Он оповестил, чтоб ему набрали раковин, чешуек и редких камешков, чтоб выложить ими клумбы с астрами и маками, точь в точь как на барских дачах на юге. Хмель и дикий виноград каждый год взбирались по южной стене его швейцарской виллы почти до самого скворешника; с фронтонов и с конька на крыше зияли раскрытые пасти драконов в натуральную величину, с зубами и высунутым языком. Даже лужайка посреди сада и та имела украшение: маленький цементный бассейн, вмещавший две бочки воды, и от него шла труба, из которой вода била струей в воздух. Провести сюда воду из реки стоило двести крон, но расходов здесь не жалели. Пониже, в саду, стоял флагшток с посеребренным шаром.

Ходатаю Рашу нечего было желать большего великолепия для себя и для своей семьи на этом свете. Оставалось одно: освятить этот сад и этот парк, возникший из лужка с двумя сосенками. Каждый год он собирался устроить этот праздник, но все откладывал и откладывал, пока не подрастут „боскеты“, и вот в этом году собирался опять. Разве жизнь не была к нему ласкова? Он мог принять ее дары или пренебречь ими,—он их принял. Жизнь подарила ему счастье без всяких условий, без закладной, как сказал бы он сам; он считал себя обязанным удостоверить получение, выдать расписку,—праздник положительно необходимо было устроить в этом году.

Ну, да и огромная же была разница между молодым юристом, приехавшим сюда несколько лет тому назад, без жены и без денег, и обосновавшимся здесь при помощи господина Хольменгро, и теперешним всесильным адвокатом Рашем с деньгами, брюшком и авторитетом. Было время, когда он вывешивал все свои пальто и шляпы в прихожей конторы, чтоб люди, приходившие к нему, думали, что у него несколько клиентов. И вот они сидели несколько минут в приемной, ожидая своей очереди и слушали разговор в кабинете; потом хозяин отворял выходную дверь в прихожую, провожая клиентов, и приветливо говорил: „До свиданья, до свиданья! Да, да, мы это уладим, будьте спокойны!“ А затем входил в приемную и говорил еще приветливее: „Здравствуйте, здравствуйте. Извините, что вам пришлось подождать, я был занят“.

Теперь адвокат Раш действительно был занят, он был завален делами, состоял директором банка, а кроме того тайком работал в „Сегельфосской газете“. Да и не так-то просто было попасть к нему в кабинет,—нужно было докладывать о себе: конторщик стучит в дверь и спрашивает, может ли господин адвокат принять. – Сейчас,—отвечает адвокат,—подождите минутку,—отвечает он. Кто это? Ларс Мануэльсен? Попросите Мануэльсена подождать одну секунду.

Адвокат ничего не делал в эту секунду, хмурил брови и думал. Потом отворил дверь и сказал:

— Здравствуйте, здравствуйте, Мануэльсен. Пожалуйста! Вы давно ждете?

— Нет.

Вид у Ларса Мануэльсена такой, что сразу чувствуется—он знает себе цену, оттого ему и не приходится долго ждать. Это ему не нужно. И адвокат с ним соответственно и обращается.

— Садитесь, Мануэльсен. Имеете ли вы какие-нибудь известия от сына?

— О, нет, давно уже.

— Он так занят в столице, все произносит проповеди и пишет?

— Должно быть, так.

— Его научные исследования возбуждают большое внимание. Я читал, что его переводят на шведский язык.

— Вот как, на шведский язык?

— На шведский язык. Да, он великий человек. Он несомненно будет епископом.

— Вы так думаете?

— Без сомнения.

— Он ничего не посылает домой,—говорит отец великого человека.

— Неужели? Это меня немножко удивляет. Должно быть, он позабывает.

— Мог бы выбрать время и вспомнить.

— То-есть он все откладывает и откладывает, не справляется с работой. Я знаю это по себе.

— Что до этого касается, так не очень уж много времени заняло бы написать перевод в пять или десять крон.

— А выбрать-то это время, Мануэльсен! Впрочем, это меня немножко удивляет. Он не прислал вам и собрания своих проповедей?

— Нет, как же! Но только я потерял свои очки и не могу сейчас прочитать их. Прямо чудеса,—должно быть, это сорока их утащила.

— Сорока? Ха-ха-ха!

— Тут не над чем смеяться,—обиженно говорит Ларс Мануэльсен,—я знаю, что это сорока. А вот что я хотел вас спросить: правильно ли, что Теодор

из Буа взял себе две кроны; он поднял их на набережной и положил себе в карман.

Ларс Мануэльсен рассказывает всю историю, заявляя, что две кроны принадлежат ему. Адвокат обещает поговорить с Теодором, с молодым Иенсеном.

— Впрочем, по-моему, такому человеку, как вы, Мануэльсен, не стоит с этим возиться,—говорит адвокат.—Что такое две кроны!

— Заработки нынче гораздо меньше, чем в прежние весны,—отвечает Ларс Мануэльсен.—Постояльцев в гостинице мало. Последний приезжий торговец жил на собственном пароходе и не сходил на берег. От него никакого заработка не было.

— Я слыхал об этом приезжем, — говорит адвокат.

— Фамилия его Дидриксен, а на пароходе у него были и игра, и танцы, и попойка. Нам всем было прямо тошно смотреть на это.

— Должно быть, он молодой и веселый человек,— говорит адвокат и в задумчивости тянется за стопкой бумаг на столе.

— Еще бы! Ночью он прекратил танцы и отправился в море с двумя девушками. Одна была ваша Флорина.

— Флорина? Ну, молодость и глупость! Вот как, Флорина.

— Я больше ничего не скажу, а рты не замажешь!—говорит Ларс Мануэльсен. А потом смотрит твердо на адвоката и произносит ему следующие слова:—Только я думаю, что это там-то Флорина и подцепила свою зубную боль.

Адвокат Раш не шевельнулся незаметно на стуле и не вскинул пары быстрых глаз на Ларса Мануэль-

сена. Но глаза его закрылись, словно от чего-то страшно громкого, оглушительного. На что намекал человек в парике? Что он знает?

— Да,—сказал адвокат Раш.—А разве Флорина жалуется на зубную боль?

— И на рвоту,—сказал Ларс Мануэльсен.

— И на рвоту тоже? Да, нехорошо, когда весной разгорячишься от танцев, а потом простынешь.

— А теперь Нильс из Вельта с ней разошелся.

— Вот как? Да, уж одно идет за другим!

— Так что вы это знаете,—сказал Ларс Мануэльсен.

Тут уж адвокат Раш не мог не улыбнуться,— что он, заложен и продан, что ли? Что такое воображает этот старый дурак?

— В таком доме, как наш,—ответил он,—прислугой ведает хозяйка. Это не мой департамент.

Тогда Ларс Мануэльсен поднялся и тоже улыбнулся на эти слова этакой кривой улыбочкой, которую адвокат отлично понял,—он даже немножко смутился.

— А что касается до тех двух крон, так вы можете получить их от меня, Мануэльсен,—сказал он, протягивая деньги.—Настолько я уверен, что молодой Иенсен вам их возвратит.

— Спасибо,—сказал Ларс Мануэльсен.—И не напечатаете ли вы в газете про сына моего Лассена просто для того, чтоб люди знали?

— Этого я не могу,—ответил адвокат.—„Сегельфосскую газету“ редактирую не я.

Иной раз адвокат ничего не имел против того, чтоб его считали настоящим хозяином газеты, а иной раз ему это не нравилось. Вот стоит старый плут Ларс Мануэльсен и ведет себя так нескромно,

так навязчиво, словно считает, что заработал плату за какую-то услугу,—да за что же? А когда получил две кроны, сказал спасибо и взял. Извините, адвокат Раш не такой человек, что его можно было сослать на остров Святой Елены!

Но Ларс Мануэльсен с годами приобрел чертовскую самоуверенность, он не отступал ни перед кем.

— А за одно уж,—продолжал он,—помяните и про то, кто такие родители Лассена—здесь, на севере.

Адвокат только покачал головой и занялся папкой с документами.

Ларс Мануэльсен ушел.

Через несколько дней он явился снова.

— Я занят. Попросите Ларса подождать,—сказал адвокат своему конторщику.

Ларс Мануэльсен порядочно подождал в приемной; когда его наконец впустили, адвокат поднял голову и сказал:

— Говорите покороче, Ларс, мне сегодня очень некогда.

— Гм. В газете ничего не было написано,—сказал Ларс Мануэльсен.

Адвокат потянулся и поднял со стула свое тяжелое тело.

— Мне надоела эта болтовня про газету,—сказал он, и лицо его покраснело.—Идите в редакцию сами, редактора зовут Копперуд, а меня зовут Раш.

— Я не стану с вами спорить, мне это не нужно,—ответил Ларс Мануэльсен и вышел из комнаты.

Адвокат постоял, нахмурив брови, подумал, прошелся по комнате, остановился, посмотрел на стену, еще подумал. И вдруг крикнул в приемную:

— Мануэльсен ушел? Ушел Мануэльсен?

— Да. Побежать за ним?

— Да. Попросите его вернуться!

Адвокат стоит в конторе и слышит, как конторщик зовет на улице и как Ларс Мануэльсен ворчливо отвечает: — Мне это не нужно!

Значит, кости брошены? Старый плут хочет воевать? Бедняга, воевать с адвокатом Рашем! Но день адвокату испорчен, — разве он может воевать с каким-то жалким плутом. Не лучше ли проявить снисходительность? Но день все равно был испорчен,— так он встревожился.

— И сегодня тоже не поступило платежа от ленсмана? — спросил он своего конторщика.—Он набрал на аукционах несколько сот крон и не посылает денег,—что это значит?

Конторщик качает головой.

— Доброму ленсману из Ура следует немножко поостеречься!

За обедом адвокат тоже был неразговорчив и неласков,—у него целый мешок дел, говорит он, огромная папка с документами. Он сейчас же пойдет опять в контору—пришли туда Флорину с кофе!

— Послушай, зачем ты замотала себе рот этим отвратительным платком?—говорит адвокат, оставшись наедине с горничной Флориной в конторе.

— Зубы болят,—отвечает Флорина.

— Чего же и ждать, как не зубной боли, если ты пляшешь до поту, а потом отправляешься кататься по морю в такие морозные ночи, какие сейчас стоят.

— А вам это известно?—спрашивает Флорина.— Значит, вам известно и то, почему я так поступила.

Адвокат кратко отвечает „нет“ и не желает распространяться на эту тему.

Странную и непонятную речь заводит тогда горничная Флорина,—намеки, тихие слова: „Бог мне сви-

детель! Что со мной будет?" Адвокат отвечает то запальчиво, то со смехом.

— Ха-ха,—говорит он,—брось Нильса из Вельта, у тебя, должно быть, на каждый палец по любовнику! У тебя уж есть новый? Как это его зовут—Дидриксен?

— А, вы и это знаете?—говорит Флорина.—Значит, вы знаете также, почему я так сделала.

— Нет,—опять отвечает адвокат.—Но во всяком случае сними этот платок здесь. Слыханное ли дело,—молодая, красивая девушка, сберегательная книжка и все такое! Не бросай сберегательную книжку!

Флорина говорит:

— Лучше бы ее у меня не было!

— Чепуха. Нильс из Вельта рад будет взять и тебя, и книжку.

Но когда адвокат берется за папку с документами, намекая, что Флорина может итти, она заливается слезами. Горничная Флорина была не промах, она развивалась вместе с местечком Сегельфос, она знала пути и выходы.

— Тс, реви потише!—остановил адвокат.

Горничная Флорина, видимо, хотела затянуть разговор,—это так облегчало,—она была упряма и подавлена, перешла на своего рода профессиональный девичий язык и стала утверждать, что у мужчины, „сорвавшего ее цветок", нет сердца.

— Цветок?—отозвался адвокат Раш и слегка подскочил от раздражения.—Чорт бы меня побрал—цветок!

— Вот сберегательная книжка!—сказала Флорина и положила ее на стол.—Я не хочу ее брать!

Целую минуту смотрел ходатай Раш на девушку. Вдруг он кратко усмехнулся и сказал:

— Я сейчас немножко прибавлю, сегодняшним числом припишу приличную сумму. Вот, покажи это теперь Нильсу из Вельта!

Адвокат вписал в книжку и вернул ее горничной Флорине с чем-то в роде поклона. Она взяла и, то ли из смущения, то ли из любопытства, раскрыла и прочитала написанное. Потом опять обмотала платком рот, сунула книжку за пазуху и вышла.

Кончено. Улажено. Адвокат записал расход в банковские книги и снова задумался. Ну, да, все в порядке. Но все-таки правильнее проявить дружелюбие и снисходительность по отношению к Ларсу Мануэльсену. Старый пролаза не выносит грубого обращения, это надо намотать себе на ус.

Адвокат стоит в дверях и диктует конторщику: „Господину ленсману в Ура. Нижеподписавшийся просит прислать причитающиеся сегельфосской ссудосберегательной кассе и уплаченные суммы—в течение—8—восьми—дней. С почтением".

День испорчен. Адвокат Раш берет шляпу и палку и отправляется погулять. От сарая доносится грохот и стук молотков; он идет туда,—это плотники работают в сарае, в танцовальном зале Пера из Буа; сарай расширяют, делают огромную пристройку, устраивается сцена, сколачивают скамьи. Что тут затевается?

— Здесь будет театр,—отвечают рабочие.

Вот так получил нечистый спички! Театр—вот что он получил!

Адвокат стоит с минутку и смотрит. Вот подходит в развалку телеграфист Борсен,—должно быть, он имеет какое-то отношение к постройке, распоряжается, указывает. Адвокат ждет, чтоб телеграфист поклонился,—ничего подобного! Телеграфист

просто измеряет метром одну из стен и отдает еще какое-то приказание. Разве пристало превращать адвоката Раша в воздух и ничто? Этот телеграфист всегда был бесстыжим, не кланялся, а пьянствовал, играл на виолончели и обманывал девушек, негодяй!

Ходатай Раш отправляется в Буа, прилавок откидывается перед ним, и он заходит, топая своими тяжелыми ногами,—топает через всю лавку и входит в контору. Это маленькая каютка Теодора, с конторкой, денежным шкапом и винтовым табуретом; Теодор пишет.

Адвокат излагает дело о двух кронах. Это было маленькое дело, но господин Раш, видимо, считал его не мельче многих других своих дел.

Зачем ему лишаться двух крон из-за Ларса Мануэльсена? Все его состояние построено из таких мелких монет в две кроны.

Услышав, в чем дело, Теодор на мгновение лишается дара речи, лицо его растерянно от изумления. Но так как голова у него толковая, он соображает, что слишком долго противиться тут не приходится.

— Пожалуйста!—говорит он.—Я и позабыл про эти две кроны. Да, я нашел их на набережной.

— Спасибо!—ответил адвокат.—Я сразу сказал, что вы их отдадите, если вам напомнить. Ну, а как вообще дела, Иенсен?

— Ничего, хорошо!

Но и Теодору из Буа тоже не очень интересно швыряться деньгами, он не так воспитан, и еще меньше заложено это в нем от рождения.

— Но только вы не думайте, что эти две кроны—Ларса Мануэльсена,—сказал он.

Адвокат выпутался без убытка и потому ответил только:

— Не понимаю, что вам за охота вспоминать о каких-то грошах, Иенсен? Ведь вы ворочаете такими крупными суммами.

— Я и не вспоминаю, я только говорю.

— Ну, я так и думал. Кстати, что это,—вы строите театр?

Теодор качает головой:

— Уж и не говорите—да, я строю театр!

Но адвокат ничего не понимает и спрашивает, что это значит.

— Да вот, театр, парадный зал,—отвечает Теодор.—Эти артисты пишут мне, как самому известному в местечке человеку, и спрашивают, нельзя ли им приехать и сыграть представление.

Ходатай Раш страшно оскорблен этими словами.

— Разве вы самый известный человек в местечке?—сказал он.—Я этого не знал.

Но, может быть, маленький Теодор из Буа только обмолвился, вероятно он хотел сказать, что он человек, лучше всех знающий местечко; перед образованным человеком он, конечно, должен стушеваться. Он и стушевался, когда адвокат сказал:

— Не понимаю, как вам могли писать по такого рода делу! Ведь вы же не имеете о нем понятия.

— Я попросил начальника телеграфа Борсена взять на себя наблюдение,—смиренно ответил Теодор.

— Да, это самый настоящий человек!—фыркнул адвокат.—Никогда не слыхал ничего подобного!

— Он из хорошей семьи. Много бывал в театрах.

— Вот как! Я никогда не слыхал о семействе Борсен.

— Это известная и богатая купеческая семья.

— Да,—сказал адвокат,—так пусть она и будет купеческой семьей. Ну, да, впрочем, мне это все

равно. А вы заручились „Сегельфосской газетой“ для вашего предприятия?

Теодор не понял.

— А артисты обращались в „Сегельфосскую газету“ по поводу своих представлений?

— Не знаю.

— Ну, мне это все равно,—сказал адвокат.

Он ушел, но оскорбленный до глубины души. Скажите, пожалуйста, самый известный человек в Сегельфосе, стало быть, Теодор-лавочник! Святая простота!—говорится по-латыни. И по театральным делам пишут не Рашу и не окружному врачу Муусу, а пишут Теодору-лавочнику?

Между тем досада разобрала и маленького Теодора, он побежал за адвокатом и показал ему письмо актеров,—вот, пожалуйста! И там действительно было написано, что господин Теодор Иенсен—самый известный человек в Сегельфосе. Он только это передал.

— Может быть, вы хотите взять на себя постройку?—сердито спросил Теодор.

— Я? Чего это ради? Я не желаю брать на себя никакой постройки.

— Я подумал, раз вы так в это вмешиваетесь.

Нет, это было уж чересчур,—не вздумала ли лавочная мышь показать зубы?

— Ну, ты, берегись, карапуз!—сказал адвокат.

— Берегитесь сами!—ответил Теодор. И вдруг превратился в сына Пера из Буа, сердитого и твердого, раздраженного потерей двух крон и чужим превосходством.

Господи помилуй, неужели это Теодор вздумал бороться с Рашем? Адвокат пошел дальше с таким видом, как будто Буа и все его обитатели, и все

покупатели, да и весь Сегельфос—только песчинка в его владениях,—такая была у него поступь. Но как бы тяжело он ни ступал, ноги его не чувствовали под собой твердой почвы. Словно все люди сегодня о нем что-то знали.

А Теодор кричал ему вслед что-то о двух кронах. Так, стало быть, маленький Теодор знает про него только этот пустяк и ничего больше. Адвокат снова почувствовал твердую почву под ногами. Но маленький Теодор знал и еще что-то, — он стоял, маленький, злобный и мстительный, и кричал вдогонку адвокату. Не мог же он кричать про Нильса из Вельта и про сберегательную книжку горничной Флорины, не намекая на что-то?

Маленький Теодор поплелся обратно в Буа точь в точь как собака, выбегавшая без всякого стыда полаять на прохожего. Он сейчас же начал разглагольствовать перед своими покупателями, что он сделал то-то и то-то для города, для Сегельфоса, устроил новый сигнальный холм и сигнализирует новым с иголочки флагом, сейчас строит театр для приезжающих артистов, а потом залучит постоянного фотографа в местечко,—он уже написал одному. А что делал ходатай Раш? Далее он намеревается прибить большую вывеску в Буа,—с названием нашей фирмы,— сказал Теодор, коммивояжер Дидриксен предоставит ему вывеску с золотом и в несколько красок. Это, конечно, может показаться и не таким большим делом, но, во всяком случае, благодаря этому Сегельфос станет похожим на другие города.

— А что делает Раш? Да, вы видели новые первомайские цветы, выписанные для нынешнего года?— спросил Теодор.—Вот посмотрите, десять эре, доход поступает в пользу общества. Я взял на себя прода-

жу, чтоб все мы могли купить себе первомайский цветок, приколоть его на грудь и быть похожими на людей в других городах.

И так как он все еще был в задоре, он крикнул на всю лавку приказчику Корнелиусу и другому подручному:

— Эй, ребята, очистите место в кладовой! Нынче вечером прибудут наши весенние товары.

Юлий, хозяин гостиницы, частенько приходивший в Буа поболтать, тоже был здесь. Он, верно, чуял заработок, а он был не из тех, что брезговали приложить руку к чему бы то ни было. Юлий брезглив? Он безбожник и грубиян, но не баловень, не развратник. Отец его деморализован и не может больше работать из-за парика; над матерью посмеиваются за то, что она зимой носит муфту, но, помимо этого, она работает и трудится, как и раньше, хотя она и мать Л. Лассена. Юлий же кидается на заработок, где только его видит, да вдобавок у него отменнейшие кулаки. Он спросил:

— Так вы получите сегодня много товаров?

Теодор ответил:

— Да, наверно, придет тюков сто для нашей фирмы.

— Вам понадобятся люди?

— Я уж подговорил людей,—кратко ответил Теодор.

Юлий не знал, что Теодор потерял сегодня две кроны из-за его отца, выбросил две кроны здорóво живешь,—Юлий этого не знал. Он думал только о заработке, который от него ускользал.

— Сотня тюков? Я этому не верю,—сказал он.

Двое покупателей, уже стоявших некоторое время у бывшей винной стойки, поддержали его и, усмехаясь, сказали:

— Ну да, сотня тюков! Хвастаешь, небось?

— Ну, скажем, что это ящики и что их десять,— продолжал Юлий.

— Я с тобой не считаюсь,—сердито ответил Теодор.

Стоит тут этот Юлий и проявляет неуважительность к нему в присутствии стольких людей! С другой же стороны, с ним ничего нельзя поделать, его не вышвырнешь за дверь, а язык у него бедовый.

— В десять ящиков может много поместиться,— сказал он.

— Да,—отозвались пьяные покупатели,—я был бы рад получить десять ящиков. Остальные девяносто пусть бы забрал Теодор!—И громко захохотали.

— Я вас не понимаю!—сказал Теодор.—Я получаю целый ящик одних только гребней.—С этими словами Теодор ушел к себе в контору, чтоб больше не слышать.

Юлий спросил:

— Гребни, какие это? Частые гребни, расчески?

Приказчик громко захохотал:

— Эх ты, Юлий! Нет, это гребенки втыкать в волосы, в шиньон. Самая последняя мода, в Лондоне не увидишь ни одной женщины без такого гребня. Но они не для старух, а только для молоденьких, и подбирают их в цвет волосам, желтые или коричневые гребни. У нас хороший выбор.

— А почем они стоят?—спросили от винной стойки.

— Это выяснится из фактуры. Мы их еще не расценивали.

Но когда наступил вечер и пароход с юга ошвартовался у набережной, он простоял лишь обычное время и нагрузил и выгрузил самые обычные товары,

после чего ушел. Сотня тюков для Буа не прибыла. Порядочная толпа народа собралась на набережной, преимущественно молодежь, поджидавшая весенних товаров; вся эта компания болтала и смеялась, чтоб скрыть свое разочарование; Теодор расхаживал в башмаках с бантами и посматривал, как ни в чем не бывало, — может, он даже и не ждал своих весенних товаров в этот вечер, а только хотел оповестить о них. Это было в характере тщеславного парня.

— Где же сотня тюков?—спросил Юлий.—И где десять ящиков с гребнями?—добавил он дерзко.

Но кое что в этот вечер все же случилось: вернулся господин Хольменгро. Где он был, и что пережил? Он был молчалив и полон таинственности, не улыбался и вымолвил лишь несколько слов. С ним произошла перемена, это было понятно всякому, даже платье на нем было новое и дорогое, на шелковой подкладке. Но замечательнее всего был взгляд господина Хольменгро. Уж не стал ли он косить? Похоже было, что он долго постился.

Когда он сошел с мостков, перед ним очутились адвокат Раш с женой. Ну, адвокат Раш, должно быть, хотел показать людям, что ходит гулять с женою, как только улучит минутку от важных дел, и вот он притопал с ней на набережную, и это было не глупо, потому что народу там было много. Он пожелал господину Хольменгро доброго вечера, но господин Хольменгро не ответил ему тем же, а только снял шляпу, не сгибая пальцев, — и на среднем пальце у него был замечательный золотой перстень.

— С приездом! — сказал адвокат.

На это господин Хольменгро ничего не ответил, а прошел мимо, скосив глаза, точно рядом с адвокатом находился какой-нибудь необыкновенный предмет.

— Ну, тут что то очень и очень неладно! — сказал адвокат жене. И заговорил громко, чтоб придать себе весу и показать, что он много знает.

Окружающие слушали. Жена просто сердечно спросила:

— Что неладно?

— Ты видела перстень у него на руке?

— Перстень?

Юлий возвысил голос,—этот Юлий был развязный малый, ему нипочем было задать великим и сильным мира сего вопрос-другой! Он сказал:

— Я видел перстень. Что это за перстень?

Адвокат страшно напыжился и посмотрел на Юлия так, словно никак не мог решиться ответить ему. Потом наклонился к жене и спросил:

— А ты не видела, как он косит глазами? Он, несомненно, много дней не ел.

К чему все эти вопросы, куда клонил адвокат? Он говорил не из суеверия, еще меньше в ироническом смысле; так что же, он говорил, чтоб оскорбить господина Хольменгро и выставить его напоказ? Адвокат Раш не выставлял напоказ никого, кроме себя самого. Он говорил, чтоб блистать, из важности, чтоб припугнуть Ларса Мануэльсена, этого старого мошенника, чтоб импонировать Теодору-лавочнику, стоявшему несколько поодаль и в свою очередь делавшему вид, будто он вовсе и не замечает адвоката.

— А вы не можете мне сказать, какого сорта этот перстень? — спросил Юлий.

Адвокат наконец ответил:

— Не спрашивай об этом, Юлий, потому что это выше твоего понимания; а перстень этот—настоящий масонский.

Адвокат в сущности предпочел бы уже удалиться от толпы, но жена неосторожно сказала:

— Масонский перстень? Неужели это так страшно?

Адвокат торжественно вразумил ее:

— Я так от всех слышал, Христина. В доме моих родителей висит на стене портрет деда моей матери. Он держит правую руку вот так, на среднем пальце у него перстень, масонский перстень. Так вот, я кое что об этом знаю.

— Но на что же годится такой перстень?—спросил Юлий. Ох, этот чортов Юлий, нет того, чтоб помолчать!

Адвокат не желал разговаривать на площади,— ни малейшего желания,— он решительно повернулся к жене и сказал:

— Господин Хольменгро стоит теперь на такой высоте, до какой вообще может достигнуть смертный!

После чего супруги проследовали дальше.

И вот все начали раздумывать о слышанном и рассуждать о кольце, смотрели вслед господину Хольменгро, кивали головой. Да, это несомненно подлинное франмасонство. Вон он идет, погруженный в страшное раздумье, глаза у него перекосились, бог знает, видит ли он теперь ими простые земные вещи. Адвокат сказал, что здесь что-то очень и очень неладное. Ларс Мануэльсен вдруг проговорил:

— Я пошлю письмо моему сыну Лассену и спрошу.

Кто-то выразил сомнение в том, что Лассену это известно:

— Я слыхал, что про фармазонов никто ничего не знает.

Тогда Ларс Мануэльсен улыбнулся,— это была единственная улыбка во всем этом серьезном сборище, и ответил:

— Чего не знает Лассен, о том тебе и не снилось.

Все были сильно потрясены. Казалось, будто они соприкоснулись с вечностью, с загадкой, с ложной присягой, заклятием кровью.

VI

Сороки свили гнезда на занятых ими вершинах берез, положили яйца и вывели птенцов, семейная жизнь шла полным ходом, во всех гнездах родители исполняли свой долг.

Ларс Мануэльсен пошел к Бертелю из Сагвика; сам Бертель был на мельнице, старая же Катрина была дома и шила мешки для помола. Ларс Мануэльсен пришел попросить лестницу.

— Возьми, пожалуй, лестницу, — ответила Катрина, — только на что она тебе?

— Хочу взлезть на крышу и прочистить дымоход, — ответил Ларс Мануэльсен.

Когда он принес лестницу, жена ушла в гостиницу, так что он был дома один. Лестница была тяжелая, он вытер платком лицо и парик. Прямо перед ним из большого гнезда вылетела сорока, немного спустя показалась другая и полетела низко над землей; Ларс Мануэльсен приставил лестницу к березе и добрался до гнезда.

Он хотел поискать свои очки, заглянул в гнездо и увидел только птенцов. Противны были эти голые существа, перья у них еще не отросли, но неестественно длинные клювы свои они разевали шире, чем взрослые. Они то пищали, то шипели, Ларс Мануэльсен не мог взять их в руки и выбросить, но он всерьез решил покончить с этим, снять все гнездо

и сбросить вниз. Оно сидело очень прочно в развилине сука, и Ларсу Мануэльсену стоило большого труда оторвать его; наконец он оторвал от него кусок, примерно с половину, и швырнул на землю. Он глянул вниз, — пара сорок сидела как раз под деревом. Очков своих он не нашел, птенцы таращили глаза и шипели, как дьяволята; Ларс Мануэльсен с сердцем рванул остатки гнезда и швырнул на землю вместе с птенцами и всем, что в нем было. Вон оно лежит.

Пара сорок сидела и смотрела.

Он слез с лестницы и стал исследовать гнездо: комочки, кости, осколки стекла, кусочек блестящего никкеля,—что это такое? Очков нигде не было, но зато оказался моток чистой шерсти и вполне пригодный медный гребешок; Ларс Мануэльсен выбрал, что можно было. И опять попался на глаза кусочек никкеля, Ларс Мануэльсен осмотрел его пристальнее и подумал: „А ей-ей, это малюсенький ключик, который потеряла Фру Иргенс у Хольменгро! Ведь всю зиму она ходила и спрашивала у всех про ключик от кладовой, а он вот где!“ Ларс Мануэльсен бережно спрятал ключик в карман и еще раз обшарил гнездо, — нет, больше ничего не нашлось. В заключение своего предприятия он растоптал по одному птенцов и истребил сорочье потомство. Родители сидели и смотрели.

Когда Ларс Мануэльсен отнес лестницу обратно в Сагвик и поблагодарил старую Катрину за одолжение, она сказала:

— Не стоит благодарности. Ну, что же, прочистил дымоход?

— Да, — ответил Ларс Мануэльсен.

Он вернулся домой и закинул сорочье гнездо подальше, а после этого отправился в гостиницу. Это

был другой его дом, — жена его стряпала на кухне при гостинице, а сам он носил туда багаж приезжих. Юлий до некоторой степени содержал мать за то, что она на него работала; отец жил „чаевыми".

Юлий был не плохой делец. Он читал неважно и писал только отметками и значками для собственного употребления, но у него были большие способности и чудовищная память; счета гостиницы в любую минуту вставали совершенно ясно в его голове. А разве не чертовское искусство завести гостиницу с пустыми руками? Разумеется, вначале ему пришлось занять денег в Сегельфосской ссудо-сберегательной кассе в ту пору, когда все занимали; он употребил их на постройку дома, на бревна и оборудование, а не на причуды и щегольство. Повидимому, счастье улыбалось ему; правда, молоденькая Полина из усадьбы Сегельфос, та, что так хорошо подходила к гостинице, отказала ему; глупая девченка, должно быть, его не любила; но в остальном Юлию очень везло. От того, что первый дом его сгорел, едва он его как следует отстроил, он ничего не потерял, наоборот, даже на этом заработал, сделал хорошее дело. Юлий выстроил новый дом и нажил вдобавок на инвентарь, раньше было две кровати, теперь стало шесть. Это было сущее счастье, прямо свинская удача.

А с осени стали появляться первые постояльцы. Первым явился один с почтового парохода, он пожаловал в Буа с шубой под мышкой и с образцами в ручном саквояже. За ним другой, этот был еще больше похож на комми-вояжера, у него было по саквояжу в обеих руках, и Юлий помог ему снести их. А вскоре появились и настоящие коммерсанты с окованными железом сундуками, эти не могли

раскладываться в Буа, им нужна была в гостинице большая зала. С этого времени Юлий сделался настоящим содержателем гостиницы, он приставил своего отца носильщиком, а себя возвел в администраторы. В мертвые же летние и зимние месяцы Юлий был всем, чем угодно, высматривал себе кусок насущного хлеба, как ворон, даже работал на сушке рыбы у Теодора из Буа, когда не было другого заработка.

Итак, Юлию и всем детям Ларса Мануэльсена жилось хорошо. У Даверданы был собственный дом и верный доход; изредка и она приходила помогать в гостиницу, когда постояльцев набиралось много. Трое других жили тоже самостоятельно, сестра была замужем в Тронгейме, одного брата пастор Лассен пристроил в управление маяками, а другого, который вышел незадачливым, он отправил в Америку. В общем, надо сказать, брат Лассен сделал для семьи, что мог, сам же он был важным человеком, могущим кое что сделать! Но он делал не больше того, что мог себе позволить. Например, Юлий задумал соорудить дешевым манером у себя на гостинице вывеску, приказчик Корнелиус из Буа брался написать ее на железной полосе, и Юлий написал брату, прося его разрешения написать на вывеске „Гостиница Лассена“. Это не прошло, нет, как и можно было ожидать, — пастор Лассен ни в коем случае не желал, чтобы его имя фигурировало на гостиничной вывеске. „Напиши: „Гостиница Ларсена“,—ответил он,— а я остановлюсь у тебя, когда поеду на север“. Дальше он спрашивал, ведет ли господин Хольменгро свое большое мельничное дело, и все так же ли он богат, и наконец писал, что мельком встретил раза два в Христиании Марианну и что она стала очаровательна,—поклонись ей от меня!

— Ларс дурака валяет! — сказал Юлий и захохотал без зазрения совести.

Вошедший отец вразумил его, что Лассен не такой человек, чтоб над ним смеяться.

— А мне плевать на него,— сказал Юлий. — Что там еще в письме?

Давердана, призванная для прочтения письма, закончила так:

„Не забудь, брат Юлий, следующее: постояльцы в гостиницах часто возят с собой книги и бросают их по прочтении; будь добр, сохраняй такие книги, если тебе попадутся, и пришли мне, а я включу их в свою библиотеку и спасу от уничтожения".

— Ох, господи, Ларс и — книги! — пробормотала мать, качая головой.

— Очень-то мне нужно! — язвительно сказал Юлий. — Он не говорит, сколько мне за это заплатит.

— Постыдился бы ты, нехристь!—воскликнул Ларс Мануэльсен. — Там в зале валяются две книжки, я схожу за ними.

— Я уважаю Ларса не больше своего сапога,—заявил Юлий.

Ларс Мануэльсен вернулся с книгами и сказал:

— Если ты не хочешь, то я буду прятать их для Лассена.

Давердана прочла заглавия: „Поджог в Тетервике" и „По горячим следам" и сказала:

— Можно мне взять их?

— Выйдут две славные книжки, если их переплести, — сказал Юлий, дразня отца. — Я не отдам их и за две кроны, так и напиши Ларсу.

Вдруг смех сбежал с его лица,—он увидел в окно ленсмана.

Юлий не во всех делах вел себя так честно, как следовало бы, и не любил, когда ленсман заходил в гостиницу. Он был дерзок со всеми, но еще в детстве лицо у него менялось и вытягивалось как раз тогда, когда надо было проявить мужество. А тут — ленсман, в фуражке с золотым кантом и с сумкой через плечо.

— Здравствуйте! — сказал ленсман.

Более мирного человека нельзя было найти. Приходил ли он, когда надо было описывать имущество Ларса Мануэльсена, или когда Ларс Мануэльсен привлекался к суду за кражу овец с дальнего поля,— всегда говорил он, приходя, „здравствуйте“ и, уходя— „мир вам“. К Юлию он приходил по поводу весьма злостной мены часов с Аслаком на мельнице; Аслак требовал возврата часов и наказания, но ленсман ограничился только тем, что заставил вернуть часы и примирил противников. Вот каков был ленсман из Ура.

Он садится, говорит с хозяевами о том, о сем и только после этого переходит к своему делу:

— Тут у меня счетик с аукциона, Юлий. Не знаю только, ко времени ли он тебе?

Юлий плохой человек, он не выносит кротости. Так как речь идет только о незначительном просроченном долге по аукциону, он становится груб и заносчив:

— Вам не стоило из-за этого беспокоиться, — отвечает он, — я и сам пришел бы в контору и заплатил.

— У меня здесь были кстати дела.

— Но сегодня мне это некстати,—говорит Юлий.— Я приду как-нибудь на днях.

— Дело в том, что банк требует к сроку,—возражает ленсман. — Адвокат опять прислал мне напоминание.

Юлий становится еще резче:

— Сколько там? Есть о чем толковать! А впрочем, я желаю знать, заплатили ли другие?

— Нет, — говорит ленсман. — Большинство отвечает, как ты, что придут попозже.

— Попробую зайти нынче вечером, — заявляет Юлий, — займу у кого-нибудь эти гроши.

Когда ленсман уходит, Юлий пыжится и фанфаронит:

— Ну, уж этот — плевать мне на него! У лоцманов тоже золотой кант на фуражке.

— Зачем ты обещал принести деньги нынче вечечером, — говорит мать. — Откуда ты их достанешь?

Юлий не удостаивает ее ответом. Вместо этого он развивает явившуюся у него идею:

— Я куплю шесть маленьких сливочников, чтоб у каждого постояльца был свой. Когда ставишь один большой, то первый, кто садится за стол, выливает сразу весь сливочник, а следующему остается только постучать по столу — давай еще! Нет, благодарю покорно!

— Да, это верно! — соглашается мать.

— Этого больше не будет! — говорит Юлий. — Книги—куда девались книги, Давердана?

Отец отложил книги в сторону, Юлий разыскивает их и не выпускает больше из рук. И тут Юлий настолько уже оправился, что опять начинает поддразнивать отца:

— Когда я их переплету, Ларс может их купить.

— Скотина ты! — говорит Ларс Мануэльсен.

— Хе-хе-хе — „поклонись ей от меня"! Пусть и не воображает! Не понимаю, по моему, так он просто глуп.

— Кто глуп?

— Да Ларс же. Да, так оно и есть. А ты как думаешь, отец?

— А ты просто болтун и ругатель!

— Хе-хе-хе. Может, ты сам сходишь передать ей поклон. Скажите пожалуйста, Ларс сидит и думает о книжках, которые постояльцы бросают у печки! Разве это не замечательно?

Давердана вмешивается:

— Наверное, ты отдашь книги Полине?

— Полине? А хоть бы и так?

— И не затевай лучше. Она не хочет тебя знать.

Это попало в цель, Юлий разозлился:

— И чорт с ней, с Полиной! Все бабы—дрянь, что ты воображаешь, очень они мне нужны? Но уж ты-то, Давердана, книг не получишь.

— Я и не нуждаюсь.

— Никогда в жизни не получишь,—сказал Юлий.

— Да-да, ты стал теперь такой важный. Но все-таки, без меня тебе не обойтись.

— Ни на что ты мне не нужна. Зачем это ты можешь мне понадобиться? Я выпишу себе экономку из города, и она все будет делать. Как думаешь, мать? Тогда ты можешь уйти домой.

Мать заплакала:

— Ну, что ж, господь до сих пор милостиво питал меня своими крохами, авось он позаботится обо мне и дальше.

— Да, — говорит и Ларс Мануэльсен, — господь поможет нам, старикам-родителям, и дальше, как помогал до сих пор.

— А Ларс-то! — издевается Юлий. — Великий Лассен! — издевается он.

Ларс Мануэльсен возмущенно встает и отвечает веско:

— Ноги моей больше не будет в этом доме, так ты и знай! Сын мой Лассен святой человек, а ты — мне стыдно за тебя перед богом и людьми. Хорошо, если бы ты мог так же верно расчитывать попасть в царство небесное, как он!

— А что он послал тебе? — спрашивает Юлий.— Вы оба сидели бы в богадельне, не будь меня.

Мать плачет, Ларс Мануэльсен стоит, держась за дверную ручку. Все это была одна из мелких ссор, оканчивающихся миром. Давердана обиделась на заявление о новой экономке:

— Вот как, ты выпишешь экономку из города?

— А хоть бы и так?

— И шесть сливочников, — ты все больше и больше зазнаешься!

— Шесть сливочников, — подтверждает Юлий.— Куплю нынче же вечером.

— Да ведь ты же не мог заплатить ленсману.

— Не суй свое рыло! — крикнул Юлий. — Я не мог заплатить ленсману? Если б он вынул счет из сумки, я заплатил бы, не сходя с места.

Давердана засмеялась, засмеялись и старики. Юлий выхватил бумажник и стал вытаскивать кредитки, — денег было много, он отсчитывал их громко и хвастливо, клал каждую бумажку со стуком на стол, а когда дошел до последней, хватил по ней изо всей силы кулаком.

— Не мог я заплатить ленсману? Как по вашему?

Он обвел глазами всех, все лишились языка. Этакий чорт, этот Юлий, нагреб-таки денег, носит

Их на груди, он богат. Давердана притворилась, будто денег не много, вовсе не так много, она покосилась на них и сказала:

— Воображаешь, есть чем хвастаться? Я однажды видела целых три тысячи.

Но у отца настроение изменилось:

— Не смей так обращаться с Юлием, Давердана, чтоб этого больше не было! На Юлия нельзя пожаловаться, я это всегда говорил, и мать твоя тоже. А если у тебя так много денег, Юлий, ты не должен допускать старика-отца умирать с голоду, это на твоей душе грех.

— Умирать с голоду? Напиши Ларсу! — ответил Юлий.

— Ты не обеднеешь от кроны или двух.

— Ни одного эре. Напиши Ларсу!

— Оставь ему его бумажки! — вскричала Давердана и с сердцем встала. — От них добра не будет! — И, уходя, крикнула Юлию. — Не трудись больше посылать за мной!

Но, разумеется, прошло немного дней, и Юлий послал за Даверданой, и Давердана пришла. В сущности, между ними не было разлада, вся семья по своему была дружна, Юлий же только твердо вел свою линию. То же делали и остальные. Действовал ли Юлий когда-либо умнее? У него был долг в лавку и долг ленсману, неужели же ему было уплатить долги и остаться не при чем, разориться? Ха-ха, у Юлия на этот счет были свои мнения и соображения: налоги — важно было платить их как можно меньше. В этом отношении сочувствие всей семьи было на его стороне, она сама всю жизнь к этому стремилась. Налог—что это такое?—Никогда не выматывалось более зрящих денег из крови и пота

бедняков! — говорил Юлий. — Налоги шли на богатых, на господ, а с тех пор, как Сегельфос превратился в самостоятельный приход, налоги сыпались без конца. Юлий стоял за то, чтоб извести с корнем всех господ, и первый готов был стрелять в них.

Ларс Мануэльсен соглашался с сыном, в данный момент он не расположен был противоречить,—как раз наступали мертвые месяцы без „чаевых“, и тогда хорошо было иметь приют в кухне гостиницы Ларсена. Тут уж слово Юлия являлось законом, и отец с сыном были закадычными друзьями.

И дошлый же парень этот Юлий! Другие щеголяли бы своими средствами, Юлий же, хоть и выступал в роли жениха, прятал свои средства в кармане и имел повсюду долги исключительно из тонкого расчета. Ведь вот, следовало бы ему завести флаг для гостиницы,—на пристани был флаг, в Буа был флаг, в „Сегельфосской газете“ был флаг,—но разве Юлий имел на это средства?

Он был трусливый и неважный парень, но удивительно ловкий и занятный плут.

А как же ленсман из Ура, так и не получивший денег? Он сам был в этом виноват, он перестал понимать Сегельфос, — здесь надо было рвать когтями, а он этого не разобрал. Человека, в роде ходатая Раша, не так-то легко было понять: аукционные деньги на сегодняшнее число — прекрасно; а если их нет? Ведь ленсман с женой несколько лет тому назад были даже на свадьбе у адвоката Раша, кажется можно отнестись по-человечески, по-приятельски? Как время изменило местечко и людей! Соседи ссорились из-за места причала лодки; рабочие на мельнице жаловались ленсману друг на друга из-за драк и удара ножом на танцовальной вечеринке; парня,

стрелявшего куропаток где-то далеко в горах, привлекали к суду за охоту в запрещенное время. Ничто не осталось таким, как было. А теперь опасность грозила и самому ленсману. Он побывал у адвоката Раша, не мог как следует отчитаться, в чем нужно было, и адвокат пригрозил ему. На что это похоже?

К сожалению, ленсман из Ура получил большинство следуемых банку аукционных сумм и сам их истратил. Так-то обстояло дело, он был конченый человек. У него имелось еще много крупных взысканий, оставшихся от прежних времен, но так как он не обладал когтями, то ничего и не получал; произведенный им в течение нескольких дней обход своего округа так же, как и вторичная посылка счетов, не дали почти никаких результатов, кроме разочарования. Перспективы были мрачны. У него был полуторагодовалый бычок, жаль было с ним расставаться сейчас, глядя на лето, но господин Хольменгро отзывчивый человек и, может быть, купит его. Две-три сотни крон будут хорошей подмогой. Кроме того, у ленсмана была великолепная лошадь, он мог обойтись другой, подешевле.

— У вас сегодня такой обиженный и кислый вид, ленсман, — шутливо говорит ему фрекен Марианна.— Что я вам сделала?

— Ничего, кроме хорошего, сегодня, как и всегда,— отвечает ленсман.

— Положительно, таким ядовитым и злым я вас никогда не видала,—продолжает шутить Марианна.— Хотя я и не давала вам отставки, — прибавляет она.

На это ленсман ничего не отвечает, а только смеется и качает головой на ее веселые выдумки.

Затем они говорят о разных вещах, и Марианна попрежнему расположена к шуткам.

— А вот скоро, наверное, приедет молодой Виллац, я и расскажу ему, чтобы он не очень на вас полагался, — говорит в свою очередь ленсман.

— Только посмейте! — грозит Марианна. — Вы хотите отнять у меня единственного жениха, на какого я могу расчитывать.

— Что же, выйдет у вас в этом году что-нибудь?— спрашивает ленсман.

— Не знаю, — отвечает она. — А впрочем, у вас в голове только свадьбы, ленсман, чтоб вам можно было прийти и ужасно напиться и кутить всю ночь. Ха-ха-ха, этакие вы с папой кутилы!

— Можно поговорить с вашим отцом?

— Это чтоб насплетничать о том, что я вам сказала? Впрочем, папа еще кислее вас; должно быть, с кем-то обручился, когда ездил в город,—он вернулся с кольцом.

— Я слыхал об этом.

— Забавное кольцо, в нем даже нет камня. Я предупредила папу, что не променяю его ни на одно из моих.

— Фрекен Марианна, как вы думаете, могу я поговорить с фру Иргенс по маленькому делу?

Она быстро взглядывает на него и спрашивает:

— Что такое?

— Дело в том... — отвечает он, — да нет, ничего. Я просто хотел бы продать бычка.

Она думает о том, что он сказал, видит, что старик улыбается, но верит его улыбке только наполовину. О, Марианна вовсе не маленькая, ничего не понимающая девочка.

— Вас это выручит? — спрашивает она.

Он молчит и удивленно смотрит на нее. Когда она повторяет вопрос, он отвечает.

— Выручит ли? Да, спасибо.

— Потому что нам как раз нужен бычок, — говорит она. — Сегодня опять был разговор о том, что, может быть, придется поискать мяса в местечке. Приезжает молодой Виллац, а он всегда кого-нибудь с собой привозит, и когда они приходят обедать, то ужасно много едят. Да и вы тоже придете, ленсман, и попробуете бычка, — ведь я вас знаю!

— Ха-ха, мне смешно, что вы сказали: выручит ли меня? Ему полтора года. Я мог бы продержать его до осени, но раз вам так нужно

— Я сейчас позову фру Иргенс.,

Господин Хольменгро не показывался, его не было дома почти ни для кого, он заперся наверху, в своей спальне. Ежедневно, как раньше, он совершал прогулку в свою контору на пристани, где хлопотал смотритель пристани, оттуда шел на мельницу и наблюдал за работой. Ему встречались вереницы возов с мешками муки, он не разговаривал с возчиками. Нет, он усвоил себе новую манеру — положительно, прекрасную манеру: он ни слова не говорил рабочим, а обращался со всеми своими речами к Бертелю из Сагвика, который был старшим мельником, и к Оле Иогану, которого он поставил старостой над рабочими, прибавив ему жалованья. Конечно, господин Хольменгро и с ними не очень церемонился, а отдавал приказания в кратких словах: — Большую партию на север надо погрузить на почтовый пароход нынче вечером, не забудьте! — Мы и так подгоняем, — отвечает Бертель. — Так смотри же, чтоб дело сошло гладко, Оле Иоган, у тебя ведь есть люди! — И Оле Иоган, выросший вместе с возросшей ответственностью и прибавкой жалованья, работал за десятерых. Разумеется, он был неимоверно глуп, но зато—сила,

рабочая скотина, в заляпанной одежде, добродушный, с могучими руками. Он работал на мельнице с первого дня и знал все, как свои пять пальцев; сделавшись начальником, он еще крепче сросся с мельницей и даже по воскресеньям ходил туда и смотрел на нее с таким чувством, словно отчасти был совладельцем. «Мы»,—говорил он про мельницу. «Мы подваливаем муку» — говорил он про жернова. Да, Оле Иоган наверное уж устроит так, что все сойдет гладко.

По уходе с мельницы господин Хольменгро отправлялся прямо домой. Это была новая манера. Он словно следовал полученному от кого-то совету, чувствовалась какая-то преднамеренность, пожалуй утомлявшая и его самого. Дорогое платье на шелковой подкладке мешало ему свободно двигаться,—чистое наказание,—а одинокие часы в спальне были ужасно мучительны. Что он мог предпринять? Стояла весна, земля опять становилась юной, все живое снова безумствовало, даже старый помещик снова чувствовал на себе это чудо. Раньше он помаленьку пошаливал и в своем собственном доме, и в чужих домах, смотря по тому, где было удобнее, и таким образом имел немало неожиданных похождений, изрядное количество краденого счастья, чистейшие находки. Теперь это все миновало, новая манера связывала его.

Не подлежало ни малейшему сомнению, что господин Хольменгро пробует какой-то новый метод. Чтоб поднять среди рабочих уважение к своей особе, он решил больше с ними не смешиваться, показываться пореже, нарядно одеваться и держаться на расстоянии. Кроме того, он не снимал с пальца загадочного кольца,—авось поможет и оно. Он понимал своих рабочих, он сам по рождению принадлежал к их среде, происходил из народных низов, и отлично знал тот

мир, из которого вышел. Раньше, встречаясь на дороге с одним из своих рабочих, он сейчас же думал с тайным страхом: „Поклонится он или нет?“. Теперь положение улучшилось, рабочие брались за шапки. Это уж было кое-что, кольцо и новая манера подействовали, важно было вести себя умненько. А как ему отвечать на поклоны? Может быть, и в этом отношении он следовал чьему-то совету: он будет кланяться не очень низко, почти совсем не будет кланяться, почти даже и не кивать, а только ощупает человека глазами, пройдет мимо с таким видом, как будто ему есть о чем подумать. По вечерам ему можно и побродить, ему незачем бояться дневного света. Некоторые предпочитают избегать дневного света, но господин Хольменгро был не из их числа. Во всяком случае, он был не прочь побродить и у себя в доме, и в чужих домах.

Внизу обозы с мукой весь день тянулись к набережной, а поздним вечером засвистел и причалил почтовый пароход. Господин Хольменгро и тут не вмешался и даже не посмотрел туда, ничего подобного. Обошлось, впрочем, и без него, смотритель пристани действовал умопомрачительно с мешками муки, он взялся командовать сам, хотя у него и имелся для таких случаев помощник. А почему смотритель пристани действовал так необычно? Этого он никому не говорил, но при отправке последних трех северных пароходов на набережную приходила фру Раш и присутствовала при погрузке, и три раза смотритель самолично давал все распоряжения. Сегодня фру Раш опять пришла, и стоило посмотреть, как долговязый смотритель носился взад-вперед по набережной, во весь голос отдавая приказания относительно мешков. Ну, что ж, у него был хороший, звучный голос, много

лет тому назад он основал в Сегельфосе певческий кружок и был сам лучшим певцом.

А фру Раш — она-то зачем приходила на набережную так поздно вечером? Она приходила встречать молодого Виллаца, на случай его приезда, вот какое у нее было дело. Кроме нее никто его не встречал, никто из Хольмсенов уже не пользовался почетом в Сегельфосе, нынче все были одинаково велики и одинаково малы. Правда, был господин Хольменгро, но больше никого, да и господин Хольменгро был уже не тот, что прежде. Когда фру Раш стояла на набережной в ожидании последнего Хольмсена, она казалась словно крошечным островом, затерянным в море, словно и не существовала для других людей. У людей было о чем подумать, кроме нее и ее дела. А тут как раз вышел последний номер „Сегельфосской газеты", в нем была широковещательная статья о пасторе Л. Лассене, и статью приписывали адвокату Рашу, потому что она была замечательно составлена; о ней-то в данный момент и разговаривали в народе. Пастор Л. Лассен, светоч Сегельфоса, начал проникать и к соседке нашей, Швеции, известность его простирается на все страны, он несомненно будет епископом. А здесь, в Сегельфосе, живут его престарелые, почтенные родители и следят по газетам за своим знаменитым сыном. Замечательно составлено, никому, кроме адвоката Раша, так не сделать, — в представлении очень многих он был несомненно единственным. А в заключении говорилось, что господину Теодору Иенсену из Буа не мешало бы иметь конкурента в его торговле.

Золотую мысль посеял этими словами адвокат Раш.

А жена его, фру Раш, стыдно сказать, стояла и прислушивалась к голосу смотрителя пристани,

а сама глядела на пароход, выискивая молодого Виллаца, и маленькая головка ее была полна только этим. И вот молодой Виллац сошел, наконец, на берег, так-таки и сошел действительно, молодой. в сером костюме и на вид совсем обыкновенный, Ну, разумеется, он был богатый и изящный господин, всегда придававший значение своей наружности, и потому лакированные башмаки его были с острыми носками, а жемчужина в галстуке с лиловатым отливом, а не белая, из тех, что делаются из эмали; чемоданы его тоже были прямо-таки желтые сокровища, иначе нельзя сказать; но ходил он, как все прочие люди, и сказал фру Раш „здравствуйте!“ — снял перчатку и поклонился.

Это был не торжественный въезд, он не возбудил никакого особого внимания, как было бы при встрече его покойного отца после долгого отсутствия. Молодой Виллац — ну, что ж, счастливчик, под мышкой палка с золотым набалдашником, палка-то еще наследственная драгоценность; ну а дальше? И все-таки он был человек известный в стране. Натянув опять хорошенько перчатку, он сказал стоявшему поодаль Юлию: — Здравствуй, Юлий! — И Юлию это было отнюдь не неприятно:—С приездом! — ответил Юлий и поклонился перчатке. Но молодой Виллац сейчас же обернулся опять к фру Раш, и заговорил с ней, и стал подшучивать.

— Наконец-то вы приехали, — сказала она, — мы ждали вас с каждым пароходом.

— Спасибо, — дорогая фру Христина, — ответил он, — поистине, вы единственная верная душа на свете.

— Будь не так поздно, — сказала она, — мы пошли бы сначала к нам, и вы выпили бы хоть чашку чаю; отчего вы приехали так поздно?

— Поздно? — спросил он с очаровательной шутливостью. — Я прихожу к вам, Христина, в этот поздний час, я прихожу к моей старой возлюбленной и шепчу: впусти меня! Такие вещи нельзя ведь делать перед завтраком. Пойдемте, я пойду к вам!

— А ваши вещи? — говорит она.

— За ними присмотрит начальник пристани.

— Да, но у нас... — Раш наверное лег спать.

— Тем лучше, мы пойдем в кухню.

Значит, никак от него не отделаться.

Но тут появился Мартин-работник с лошадью и тележкой для багажа. И те двое пошли: фру Раш, простодушная и простоволосая дама в шали, и Виллац Хольмсен из поместья Сегельфос, музыкант и холостяк, человек, приехавший на пароходе навестить свое родное поместье. Торжественного въезда не было.

Народ стоял на набережной и разговаривал, муку грузили по пятнадцати мешков за раз, но смотритель пристани уж выдохся, голос его замолк, потому что фру Раш ушла. Ларс Мануэльсен ходил взад-вперед и говорил о своем сыне, о статье в „Сегельфосской газете“, каждое слово в ней — сущая правда, все наверное помнят, кто такой Лассен и кто родители Лассена.

— Это приехал Виллац, — говорит Юлий, — я с ним здоровался.

— Да, это Виллац, — отвечают люди. — Он похож на отца, он не носит бороды, но выше ростом.

— Он приблизительно моего роста, — говорит Юлий.

— Лассен много толще любого из вас, — говорит Ларс Мануэльсен, — вы все против него — все равно, что ничего.

Ларс Мануэльсен расхаживал взад-вперед, полный единственной мыслью: „Виллац Хольмсен приехал нынче вечером, но много есть комми-вояжеров, у которых в кармане побольше денег, чем у него. Что, я лгу? Музыкантишка, щелкопер и пустозвон. Другое дело Лассен. Вот здесь он играл ребенком, люди звали его — Ларс, эти дороги носили его, на эти острова и шхеры смотрели его глаза. Еще цела изба, в которой он жил ребенком, его отец и мать и до сих пор ютятся в ней. Ах, и чудно же думать, чего достиг Лассен!“

Пароход ушел, наступила ночь. На набережной стояло десять ящиков, адресованных Перу из Буа, но Теодор не показывался. Наверное, это пришли весенние товары, но Теодор не являлся, потому что ящиков было десять, а не сто.

Юлий встретил приказчика Корнелиуса и сказал:

— Гребни-то пришли, десять ящиков.

— Скотина! — с досадой ответил Корнелиус.

Но в этот поздний ночной час господин Хольменгро вышел-таки из дома. Конечно, у него, как и у всех, была потребность света и солнца, и вечером, когда все были на набережной, а дороги опустели, он удрал. Бог весть, откуда он возвращался, но шел он по направлению к дому. Солнце светило.

VII

Стояла великолепная погода, весенние работы благополучно кончились, поля и луга зеленели, — самая хорошая погода для роста, теплая и с дождем. Большие лужайки в Сегельфосе и сад со старыми деревьями, окружающие леса и барские постройки, ды-

шали изобилием и пышностью. Чего могли еще пожелать люди!

Молодой Виллац никого не привез с собой, но он и один заменял целое общество, и трудно поверить, насколько оживленнее стало в большом поместье с приездом владельца. Взять хотя бы обед, — что готовить на обед? В Сегельсфосе всегда было пропасть прислуги, и сейчас ее было не меньше, кормили ее до отвала, полагались и кровати для спанья, и большие горницы, где можно было разойтись во всю; и что же, люди точно сошли с ума и только и думали теперь о том, что будет господин Хольмсен кушать и пить! Он кушал и пил, что подадут, и никогда не говорил по этому поводу ни слова, не вмешивался в это: времена теперь не такие, чтоб пировать, — говорил он. В детстве у него была на конюшне верховая лошадь, и маленький Готфред с телеграфа убирал и чистил ее; теперь у него уже не было верховой лошади, да он и не хотел ее иметь. „Надо поскорее становиться взрослым“, говорил он. Вот как дьявольски он стал рассудителен! Когда же Мартин-работник услыхал о затруднениях в доме насчет кушанья и предложил в запрещенное время настрелять дичи к столу господина Хольмсена, он получил ошеломляющий ответ: „Стреляй, стреляй! А я сейчас же донесу на тебя, понял!“

Так что нельзя сказать, чтоб хозяин имения Сегельфос очень уж чванился. Но тем лучше. Не успел он приехать домой, как все его полюбили, он жил потихоньку и не вмешивался во всякую мелочь, но умел и сказать так, что не поздоровится. Сила у него была поразительная, косцы опомниться не могли, когда однажды возились с огромной гранитной глыбой, и он неожиданно помог им.

— Благодарим за подмогу! — сказал Мартин-работник, как бы извиняясь. Он обратил внимание на руки молодого Виллаца,—предплечья у него были длинные, а суставы железные.

Молодой Виллац отправился с визитом к господину Хольменгро и был принят с большой сердечностью. Он не видел господина Хольменгро несколько лет и в первую минуту поразился уже начавшей сказываться в нем старостью,—глаза его посветлели, и голова поникла. Старик выразил неподдельную радость, все его добродушное, заурядное лицо оживилось, он приветствовал гостя самым любезным образом. Неужели он так обрадовался? Он усадил гостя в удобное кресло и позвонил. Ну, конечно же, он был рад! Ведь молодой человек пришел к нему первому, знаменитый музыкант, как о нем писали газеты, молодой Виллац, сын лейтенанта, пришел к нему первому! Он пошел не к адвокату Рашу, или к пастору Ландмарку, а пошел сначала к королю, как и следовало.

— Я позволил себе распорядиться, чтобы ваш рояль поставили на моей пристани до вашего приезда, — сказал он.

— Благодарю вас, это вышло великолепно, — ответил Виллац.

— И теперь вам остается только сказать, где вы хотите его поставить, и я сейчас же отряжу полсотни своих рабочих, чтобы его осторожно перенесли туда. Я полагаю — на кирпичный завод?

— Благодарю вас тысячу раз, — ответил Виллац.— Все здесь изменилось, но ваша любезность осталась та же, — сказал он. И молодой Виллац, конечно, не подумал, что эта „полсотня рабочих“ была про-

стым хвастовством,—у господина Хольменгро давно уже не было полсотни рабочих.

Вошла фру Иргенс, господин Хольменгро стал было напоминать гостю, кто такая фру Иргенс, но это оказалось излишним, привет гостя был полон галантности и свидетельствовал о том, что он отлично помнит фру Иргенс. И она была очень довольна, что надела некоторые вещицы из своей гранатовой парюры. Она принесла вина и печенья, того самого знаменитого печенья, что таяло во рту.

— Я хотел пойти встретить вас на набережной,— сказал господин Хольменгро, — и Марианна тоже собиралась, мы даже послали человека последить, когда покажется пароход, но он пришел слишком поздно.

— Это было бы чересчур!

— Нет, это было бы не чересчур, — серьезным тоном возразил господин Хольменгро.

— Фрекен Марианна дома?

— Она не наверху, фру Иргенс?

— Я сейчас посмотрю.

— Не беспокойте фрекен! — крикнул ей вдогонку молодой Виллац. — Мы с фрекен ведь не такие далекие знакомые, мы часто встречались за эти годы.

— Марианна писала. Вы были так любезны, что ходили с ней в театры и концерты.

— А Феликс в Мексике?

— Да, Феликс в Мексике. Он моряк, два раза побывал в Европе, один раз был в Киле. Но домой не приезжал. Теперь он сам командует судном.

— Это хорошо. Я не очень разбираюсь в таких делах, но, повидимому, это хорошая карьера? При его молодости?

— О, да. Очень хорошая.

— А вот наш брат не делает никакой карьеры,— сказал молодой Виллац.

— Вы достигли славы, — ответил господин Хольменгро. — Не даром же про вас пишут в газетах.

Молодой Виллац устало улыбается и говорит:

— Это ничего не значит. Годы уходят за годами, а я все при старом. Кстати, господин Хольменгро, я совсем чист перед вами? У вас нет ко мне никаких претензий?

— Нет, у меня нет к вам никаких претензий... к сожалению, — отвечает господин Хольменгро и улыбается.

— Слава богу! — говорит молодой Виллац и тоже улыбается.

— Между прочим, вам совершенно не нужно было мне платить, — замечает господин Хольменгро, весь благожелательство. И, бог знает, не начало ли уже на него действовать выпитое вино, потому что он прибавил: — Во всяком случае, до тех пор, пока у меня не начались бы серьезные стеснения в деньгах.

Молодой Виллац ответил:

— Тогда мне пришлось бы, конечно, ждать очень долго. Нет, лучше было это урегулировать. А теперь вот в чем дело, господин Хольменгро, я ничего не понимаю в лесном деле. Могу я опять произвести порубку в своем лесу?

Господин Хольменгро с минуту думает и отвечает как специалист:

— Я полагаю, что вы можете вырубить определенные возрастные группы. Лес стоял нетронутым еще со времен вашего отца.

— Было бы очень недурно, если б это оказалось возможным.

— Я с удовольствием готов осмотреть ваш лес и скажу вам, что вы можете вырубить осенью.

— А сейчас нельзя?

— Сейчас? Нет. Осенью и зимой.

— Так, — сказал молодой Виллац. — Да, это неожиданное препятствие. Ведь может случиться, что я не останусь здесь на осень и зиму.

— Для дела это ничего не значит. Лес стоит на месте, его рубят, продают и сдают. Но даже и насчет последнего вопроса, относительно которого нет никакой спешки — насчет денег, так и их можно получить сейчас же, если угодно. Так обстоит дело с торговлей лесом. Если б кто-нибудь из соседних лесовладельцев обратился ко мне за деньгами, я дал бы ему, сколько бы он ни запросил. До такой степени выгодно сейчас лесное дело.

Молодой Виллац взглянул на господина Хольменгро и проник в его хитрость. Господин Хольменгро прибавил:

— Впрочем, деньги он мог бы получить, где угодно, например, в здешнем банке. Я основал в Сегельфосе маленький банк и поставил во главе его адвоката Раша; денег в нем теперь порядочно. Всем этим я хочу сказать только то, что вам нет надобности лично находиться на месте, если вы занимаетесь рубкой леса. Но, в таком случае, к осени мы опять лишимся вас, Виллац?

— Не знаю. Да, наверное, я уеду. Я работаю над одной вещью, но не знаю, удастся ли мне ее кончить и здесь. Я никак не могу ее кончить.

— Вы простите, что я называю вас — Виллац.

— Я вам за это очень благодарен.

— Я знал вашего отца и вашу мать, знал вас самого маленьким и молодым человеком, когда вы вернулись из Англии.

— Вы мне подарили тогда верховую лошадь.

— Я? Ах да, гнедую кобылку, — вы еще помните? Да, с тех пор вы пережили совсем другие впечатления. Вы хотите здесь работать? Не забывайте нас, навещайте нас. Мы живем не так роскошно, как у вас в Сегельфосе, но мы будем очень рады вас видеть.

Мужчины чокнулись и опять выпили. Не было никакого сомнения в том, что господин Хольменгро растроган. Старик долго молчал и теперь испытывал потребность выговориться. Он был изысканно любезен, маленькая бравада относительно полусотни рабочих и учрежденного им банка заставила его быть затем гораздо скромнее, и он больше не хвастался. Бедный король в своем дорогом платье, бедный фантазер, у него был весьма поношенный, пришибленный вид, и молодой Виллац невольно вспомнил торжественный въезд его в Сегельфос много лет тому назад, когда господина Хольменгро окружала золотистая дымка поклонения. Что произошло с тех пор? Ничего, ни он сам, ни другие не могли бы указать ни на что определенное. Но сказка кончилась.

— Вчера утром ко мне пришел человек и хотел заплатить мне какие-то деньги, — сказал молодой Виллац. — Иенсен, Теодор Иенсен, Теодор из Буа, он стал совсем взрослым. Пришел сегодня рано утром.

Господин Хольменгро изобразил на своем лице удивление.

— Он сушил рыбу на моих горах и желал мне за это заплатить. Сказал, будто должен мне за шесть лет.

— Вот как! О, да этот милейший Теодор совсем не так глуп, — сказал господин Хольменгро.

— Я спросил его, испортил он как-нибудь мои горы, не изрыл ли их? Оказывается, нет. Ну, в таком случае, по моему, мне за них ничего и не причитается.

— Разумеется, — согласился господин Хольменгро. — Но вообще здесь принято платить аренду за горы, и Теодор об этом вспомнил.

— Он желал также купить землю. Сказал, что у него нет ни пяди земли, лавка его, пекарня и еще что-то стоят на вашей земле, сарай его отец выстроил на моей, а у него нет ни пяди, так нельзя ли купить сколько-нибудь? Я сказал, что подумаю. Но видите ли, господин Хольменгро, мне не хочется продавать землю.

— Пусть он больше не приходит надоедать вам с такими вещами, этот Теодор. Я скажу ему.

— Нет, ничего. Он, впрочем, показался мне славным и дельным человеком. Он рассказал, что адвокат Раш хочет насадить здесь конкурентов в его торговле, но тогда всем будет не из-за чего работать. Поэтому он задумал купить земли и берег, чтоб не допустить конкуренции.

Господин Хольменгро снисходительно улыбнулся.

— На это у него не хватит силенки, — сказал он. — Тут милейший Теодор слишком уж занесся. Но ход его мыслей верен. Здесь не будет приличного заработка даже и для двоих.

Вошла Марианна — Марианна вошла. Мужчины встали, и молодой Виллац шагнул к ней навстречу; можно было предположить кое-что побольше обыкновенной встречи, но ничего не вышло. Молодые люди были коротко знакомы, говорили друг другу „ты“, как в детстве, болтали спокойно и по-приятельски; смуглая тоненькая девушка была в белом платье, и

Виллац сказал, что она — гвоздика в серебряном графинчике. Все посмеялись над этим сравнением. — В серебряном водочном графинчике, — сказала Марианна.

— Ты приехал один? — спросила она. — Разве ты без компании?

— Должен тебе сказать, — ответил он, — что я один стою целой армии. Но, впрочем, немного попозже приедет Антон Кольдевин.

— Мы купили быка, которого вы должны съесть.

— Господин Хольменгро, ваша дочь всегда приспосабливает меня к какой-нибудь каторжной работе. Обыкновенно моя обязанность барабанить для нее на рояли.

Господин Хольменгро только усмехнулся им обоим, усмехнулся детям.

Она заговорила о мелких домашних происшествиях:

— Можешь поверить, здесь все идет, как полагается, десять цыплят у одной наседки, и только одиннадцатое яйцо оказалось испорченным. — Она все больше и больше переходила на местное наречие и не обращала внимания на выбор выражений. Был ли это ее жаргон, или особый прием? Она сказала отцу: — Наконец-то я сейчас дала курам корм, который должна была дать еще вчера! — Потом обернулась к Виллацу и спросила: — Не хочешь ли фруктов?

— По моему, и так хорошо.

— Да, но немножко фруктов? Тогда фру Иргенс принесет их в серебряной вазе, это для нее великая минута. Да, папа, сегодня она опять плакала из-за ключа. Надо тебе знать, Виллац, что у фру Иргенс пропал маленький ключик от кладовой, и она мучается из-за него до смерти.

Фрекен Марианна позвонила и приказала подать фруктов.

— А ведь у нас здесь будет театр, — сказал Виллац. — Этот же самый молодой Теодор рассказал мне, что он строит театр. Он извинялся, что строит его на моей земле.

— Да, уж этот Теодор! — сказал господин Хольменгро. — Совершенно верно, он расширяет сарай и перестраивает его под какое-то увеселительное заведение. И сарай стоит на вашей земле.

— Он стал настоящим мужчиной, этот Теодор; я помню его, когда он был вот такой маленький и ничего собой не представлял.

— В некоторых отношениях он толковый парень. И ему, повидимому, везет.

— Кстати: почему он не может купить земли и таким образом вытеснить конкуренцию? Ведь земля здесь недорога.

— О, да. Конечно, это зависит от того, сколько вы за нее возьмете, но вообще-то это дорогая земля, ценная земля. Цены на земельные участки в Сегельфосе стали теперь совсем не те, что прежде.

— Этим я обязан вам, господин Хольменгро. Но, впрочем, я не собираюсь продавать землю.

Появились фрукты, виноград и яблоки, в серебряной вазе. Марианна сказала лукаво:

— Фру Иргенс, папа говорит, чтобы вы не беспокоились о ключе.

— Нет, нет, — уклончиво отозвалась фру Иргенс.

— Ну, да, потому что это же — всего-на-всего ключ.

Но это было уж чересчур, и фру Иргенс ответила:

— Ваш папа все время говорит, чтобы я не беспокоилась, но я все равно не могу не огорчаться.

А самое главное, я никак не могу сообразить и придумать, куда бы он мог деваться!

Все засмеялись, невольно улыбнулась и сама фру Иргенс, а господин Хольменгро стал утешать ее, говоря, что здесь нет воров.

— Не шутите с этим! — предостерегающе проговорила она. — К тому же вы чересчур добры. Есть люди, которых я не потерпела бы в людской, если б только могла прогнать их.

— Кого же именно?

— Прежде всего Конрада.

Господин Хольменгро неприятно взволновался. Конрад — это поденщик, тот самый молодчик, которого нельзя расчитать без того, чтоб мельничные рабочие сейчас же не вступились за него и не устроили стачку. Господин Хольменгро сказал:

— Да ведь это было уж давно.

— Похоже, что опять начинается то же.

Господин Хольменгро заставил себя сделать веселое лицо, но он был явно встревожен. Некоторое время он сидел задумавшись, потом попросил извинить его на минутку и вышел из комнаты следом за фру Иргенс.

Молодые люди остались одни.

Молодой Виллац хотел было сказать что-то, полагая, что может продолжать, как и раньше, безразличную болтовню, но ошибся, — Марианна спросила сразу, и лицо ее побледнело:

— Почему ты ничего не писал мне? Значит ли это, что ты негодяй?

Возможно, что он и ожидал кое-чего в этом роде, но во всяком случае не сразу нашел подходящий ответ и изумленно взглянул на нее.

— Не горячись, — сказал он, вставая. — Я держался твоего последнего слова.

— Какого слова? Что я не хочу?

— Да, что ты не хочешь.

— Ах, так! — сказала она. — Но ты сам виноват, что я так сказала, ты меня замучил.

— А ты виновата, что я тебя мучил, ты играла со мной.

— Нет, ты лжешь! — прошипела она, и индейское лицо ее запылало яростью.

Молодой Виллац улыбнулся и сказал:

— Очень трудно подделывать чувства. Ты не взбешена ни на иоту!

Марианна овладела собой. Ну, нет, она-то была как нельзя более искренной, но он охладил ее своими словами.

— Нет, я взбешена, — сказала она, — страшно взбешена! Я этого не заслужила. Что из того, что я это сказала? Молчи, пожалуйста! Я даже не помню, как его звали, а ты сам помнишь? Что это был за человек?

— Ты подразумеваешь: последний?

— Разве их много? О, боже мой, перестань! Ты невыносим, я никогда не играла, никогда не играла. Да и ты не из таких, чтобы тобой стоило вертеть.

— В этом, пожалуй, есть доля истины, — ответил он.

Но, конечно, он этого не думал. Молодой Виллац чувствовал, очевидно, свою силу и был оскорблен. Он представлял собою плохую подделку под англичанина, она же была резка и несдержанна.

— Ты ревнивее всякой женщины, — сказала она. — Я сижу на иголках, когда бываю с тобой. Я спрашиваю, что это был за человек?

Молодой Виллац повел плечом. Однако он начал понимать, что, пожалуй, обидел ее, может быть, раньше он не считал этого таким серьезным, ему захотелось сгладить, он опять сел и сказал:

— Не стоит больше об этом говорить.

— Говорить! Что я сделала, скажи мне?

— Сделала? Ах, не будем же преувеличивать. Ты делаешь многое. Собираешь целый кружок мужчин тем, что болтаешь с ними и смотришь на них. Что же, по твоему, ты могла бы сделать еще? Я должен был поймать тебя на чем-нибудь более явном?

— Я разговариваю и смотрю. Разве я виновата, что я такая?

— Ну, да, конечно, ты не виновата, — ответил он гораздо мягче. — Но если ты знаешь, что так всемогуща, тебе незачем ежеминутно совершать чудеса.

— Попробую перестать, — сказала она и улыбнулась, как будто раскаиваясь.

— Потому что ты портишь мне многое.

— Я попробую перестать, Виллац.

— Да, попробуй! — сказал он.

В общем, любовная ссора и больше ничего, обычная и сладкая размолвка, окончившаяся миром, как и раньше. Они несомненно привыкли к борьбе, примирение наступало быстро. В конце концов, Марианна заявила, что она сама ревнива:

— Это несчастье,—сказала она,—когда ты сидишь и играешь для всех этих женщин, и они не отрывают от тебя глаз и пылают к тебе. Да, да, я видела! Но тут уж и я должна что нибудь выкинуть!

Нерасчетливая и ясная речь. Они взяли рюмки, и, когда пили, молодой Виллац не поднял глаз, фрекен же Марианна следила за ним и метнула на него взглядом из-за края рюмки, словно молнией из-под

почти закрытых век. В волосах ее торчал маленький серебряный гребень, совсем не модный, да и гребень-то был всего с двумя зубцами и совсем крошечный, развилка на ножке, змеиный язычек.

Виллац ушел, обещав вскоре прийти. Он отправился на телеграфную станцию повидаться с начальником телеграфа. Маленький Готфред тоже жил там, Готфред был славный и милый парень, телеграфист на станции, но Борсен интересовал Виллаца больше. Он немножко поседел и весь был какой-то потертый, как всегда, но, нечего сказать, мужчина очень видный, и плечи у него остались те же. Виолончель стояла в углу. Борсен как раз собирался уходить, но снял шляпу и придвинул Виллацу стул.

— Не взыщите за то, что простой деревянный стул, — сказал он. Повидимому, он ничего не имел против визита, был вежлив, разговорчив, обходителен: деревянные стулья не так уж плохи, а эти не хуже других деревянных стульев. Они трещат, но прочны, эти рассохлись вот уже несколько лет на моей памяти, и на них страшно садиться; но они как будто не становятся хуже, и совсем негодными к употреблению они никогда не делаются. Они занятные. — Я следил за вашей карьерой с величайшим интересом, господин Хольмсен. Я не очень разбираюсь в вашем искусстве, но много читал про вас.

— Вы сами занимаетесь искусством. Я хорошо помню, как прелестно вы играли на виолончели.

Борсен бросил взгляд на свой инструмент, но сейчас же отвернулся.

— Вы намерены основаться здесь на лето?

— Да. И вы должны прийти ко мне, мы поиграем. Я теперь играю немножко лучше, чем раньше.

— Спасибо, с удовольствием.

— И вы тоже, Готфред.

Готфред был скромен и поблагодарил только почтительным поклоном. Он все время не садился.

— Позвольте мне взглянуть на вашу виолончель,— сказал Виллац. Он подошел, постучал по ней и искренно похвалил: — Да ведь это же чудесный инструмент!

— Она для меня все равно, что маленький человечек, — сказал Борсен и заговорил о своей виолончели с любовью и нежностью.

— Телеграфист и виолончель! — сказал он, иронизируя над собой. — Но и это тоже ничего. Сидим мы здесь вдвоем и коротаем время. А наш милый Готфред верит в нас, слушает и восхищается нами. Так мы и сидим здесь и чувствуем себя великими. Большая Медведица поет для туманности Ориона.—Поля и луга у вас в нынешнем году в чудесном состоянии, господин Хольмсен.

Только тут Виллац заметил, что Борсен стал как-то странно говорить. Он ответил, что да, урожай обещает быть хорошим.

— Но следовало бы вашему отцу верхом на своем коне дополнить ландшафт.

— Да.

Борсен сидел и играл рассеянно ножом, — это был кинжал с фокусом, лезвие его при ударе уходило внутрь и пряталось в рукоятке. Заметив, что это нервирует Виллаца, он положил нож на стол.

— Да, а ваша матушка, — сказал он. — Она великолепно ездила верхом. Вообще, вот было времечко! В первые годы, что я сюда приехал — это было время! А вы уже виделись с пастором Ландмарком?

— Нет еще.

— Я вспомнил про него. Он немножко не такой, как все здешние люди, и навлекает на себя осужде-

ние общины. А по моему интересно, что он столярничает. Механик и пастор, хорошенькая смесь. А впрочем, разве мы знаем, для чего нас смешивают? Аристократы умерли. Не более чем сто лет тому назад на них еще смотрели снизу вверх, теперь их не видать, они невидимы в наших краях, сострадательным людям приходится их выискивать. Не знаю, может быть миру от этого хорошо, меня это не касается; а может быть, Спартака опять придется усмирять. Это не невозможно. Усмирять еще раз. Миру, может быть, станет от этого лучше. Но пастор Ландмарк во всяком случае курьезная смесь и обязан жизнью какому-нибудь вулканическому извержению.

Молодой Виллац поднялся, собираясь уходить:

— Ну, так я вас жду к себе. Я живу большей частью на кирпичном заводе.

Борсен пошел за ним и, выходя, надел шляпу.

— Пойду к своим рабочим, — сказал он, улыбаясь. — Теодор Иенсен строит театр, а я его архитектор. — Он попрощался и твердой поступью, в раскачку, зашагал по тропинке к сараю.

Когда молодой Виллац проходил мимо Буа, Теодор вынырнул из-за угла, видимо желая поговорить с ним. Сегодня это было уже во второй раз, и Виллац хотел пройти мимо. Он с изумлением прочитал новую вывеску на лавке: „П. Иенсен, мануфактура и колониальные товары“. Буквы были золотые.

— Не смею вас просить зайти в нашу лавочку,— сказал Теодор. — Чтоб у вас составилось впечатление о нашем деле. — Виллац чуть сдвинул брови и посмотрел на часы.

— В другой раз, — сказал он.

— Я хочу сказать, тогда вы сами убедились бы, насколько нам необходимо расшириться, а у нас нет

земли, негде построиться. Если бы вы были так добры заглянуть хотя бы только с лестницы.

— Не знаю, зачем мне это делать, — недовольно проговорил Виллац, но уступил и пошел за ним.

А Теодор не дремал, пользовался случаем. Один вид молодого господина Хольмсена рядом с ним,— возвратившийся помещик рядом с ним, — стоил дорогого, и никогда это не было так кстати, как именно теперь. Пришли новые товары, о, дорогие, прекрасные товары, а места для них не было, они лежали кучами повсюду, и лавка была полна народа. Как же Теодору не думать о том, чтоб расширить помещение?

— Будьте любезны взглянуть, например, сюда, — говорил Теодор, указывая. — Мануфактурное отделение, где находятся ткани и дамские наряды,— ни одного вершка свободного!

Люди повернулись к двери и смотрели на них; не мог же Виллац стоять и коситься внутрь в дверную щель, пришлось ему войти, и Теодор расчистил ему дорогу, откинул перед ним доску прилавка, но нет, спасибо! — Виллац остановился у двери.

Конечно, лавка сегодня была чересчур мала, весенние товары заполонили весь дом, он был набит народом, и деньги звенели у всех в руках. Женщины рылись в новых тканях и готовых блузках, женщины и девушки, одинаково увлеченные нездоровым возбуждением от всей этой роскоши, кисеи и так называемых швейцарских шелков. Это была оргия, праздник служанок. Молодец Теодор, он знал свое дело и приобщал Сегельфос к миру! .Что это за вещи в десяти картонных коробках, на полке? Гребни для волос, гребни вкалывать в прическу, украшения из целлулоида по доступным ценам. А вот

сумочки с позолоченными цепочками вместо ручек, и желтые туфли из имитации кожи, с большими бронзовыми пряжками, наперекос охватывающими подъем. Воротнички? Как же, целый ассортимент и всевозможных цветов: Мария Стюарт и Сэтерсдален. Конфирмант покупает письменный прибор, на нем много серебра, подставку для перьев поддерживают ангелочки; на чернильнице пластинка достаточной величины, чтоб выгравировать фамилию владельца.

Мужчины по старой привычке толпятся у бывшей винной стойки. Вино и пиво теперь запрещены, но не запрещено покупать керосин и одеколон для питья, равным образом не запрещалось встретить у винной стойки закадычного дружка и налить ему стопочку из горлышка бутылки, спрятанной в кармане. Но, разумеется, не сравнять с тем, что было в старину, не было даже места, чтоб как следует расположиться, такое множество набралось баб!

Торговля гребнями идет во всю. Был один гребень с красной бусинкой, один единственный гребень бусинкой, он попал с другими, замешался в них случайно, приказчик Корнелиус выделяет его в особую категорию.

— Зачем это?

— Сколько он стоит?

— Он останется за мной.

Хотя молодой Теодор находится в знатном обществе, он своего не упускает и кричит:

— Этот гребень с красным камнем не продается!

Молодой Виллац поворачивает голову. Кто эта рыженькая? Он узнает Давердану, в ранней его юности она служила на усадьбе, она самая, с чудесными меднокрасными волосами. Она увлечена своими покупками:

— А мне нельзя купить этот гребень? — говорит она.

— На что он тебе? — спрашивает Корнелиус. — Ведь это желтый гребень, он тебе не годится.

— Да, но он с красным камнем!

Корнелиус откладывает гребень в сторону.

Значит, Теодор собирается его кому-нибудь подарить? — спрашивает Давердана напрямки.

Теодор слышит и передумывает. Может быть, ему хочется показать, что он крупный коммерсант и одним гребнем больше или меньше—для него ничего не значит, а может быть он боится языка Даверданы, который подчас мог становиться таким же необузданным, как и язык Юлия.

— Ну, ну, продай ей гребень!

Так Давердана и купила гребень с красной бусинкой.

— Наша фирма делает все, чтоб удовлетворить покупателей, — говорил Теодор, обращаясь к Виллацу. — Мы находим, что в конце концов это самый правильный способ. И потому я очень прошу вас подумать на досуге о моей просьбе. Из того, что вы видите, ясно, что адвокат Раш по одной только злобе хочет насадить здесь конкурентов и разорить нашу цветущую торговлю.

Теодор продолжал говорить. Несколько молодых девушек рассматривали желтое манто из швейцарского шелка, с черными бантами и золотыми кистями,— чудо, мечта! Оно было тонкое и воздушное, словно неземное, пальто из папиросной бумаги, и все-таки предназначалось для ношения на улице. Одна девушка, повязанная шерстяным платком от зубной боли, соблазнилась сокровищем, но остальные отговаривали ее,—манто такое дорогое, да и, по правде

сказать, слишком уж благородное, — что ты выдумываешь, Флорина! Но у Флорины, очевидно, было свое на уме, а что касается до цены, так она не стала скрывать, что у нее хватит средств не только на это, но и на кое-что подороже. Она отняла платок ото рта и спросила:

— Для чего это пальто?

Приказчик Корнелиус поднял ее насмех. Для чего употребляется пальто? Понятно, это не ночная кофта, желтое шелковое пальто носят летом, когда зимнее пальто становится слишком теплым, а это пальто самого модного фасона, какие нынче носят дамы.

— Она не об этом спрашивает, — вмешался Теодор со всей хозяйской вескостью. — Я полагаю, ты интересуешься, когда тебе можно надевать это пальто, Флорина? Это пальто ты можешь надевать во всякое время, за исключением причастия, когда полагается быть в черном. Можно надевать его куда угодно. Это прекрасная вещь, и в здешних местах такое пальто будет у тебя одной. — Зайдите же, пожалуйста, за прилавок, господин Хольмсен!

Наконец-то мужчины у стойки заметили Виллаца, один за другим стали подходить и здороваться, пожимая ему руку; Виллацу пришлось остаться, и хорошо, что он был в перчатках. Заговорили об его отце: замечательный человек, на свой манер, немножко горяч, но отходчивый, настоящий барин. Они частенько бывали у лейтенанта, и он отвечал им и кивал головой. Он ездил верхом, и лошадь у него была гнедая со светлой гривой. А его мать, барыня, та пела в церкви, такого пения после нее не доводилось слышать. Нечего сказать, имение Сегельфос было такое место, куда всегда можно было обра-

титься за помощью. А теперь, вот, бог прибрал их обоих!..

— Если бы нам получить полоску земли от лавки до сарая, мы были бы спасены, — говорил Теодор.

— А теперь они лежат в могилках,— продолжали мужчины.— Да, так-то вот оно с нами грешными! А вы сами как, хорошо ли вам живется?

Виллац кивнул мужчинам и ушел. Он не сказал почти ни одного слова. Он пошел на кирпичный завод, в две комнатки, которые должны были приютить его на время усердной работы, большой работы,— о, он вовсе не намеревался отличаться перед самим собой безделием с утра до вечера, он решил серьезно трудиться. Рояль уже привезли, сундуки с платьем разобрала Полина, записные книжки остались с прошлого раза, когда он приезжал домой, все было в порядке. На стенах висели ружья и револьверы, удочки и ножи, редкие музыкальные инструменты, флейты, окарины, раковины с дырками, ракушки для игры. Он выложил из сундуков остальное, и между прочим щеточки для ногтей, три дюжины шелковых носков и прочие предметы, какие не стыдно надеть. Несколько вещиц из оникса пошли на стол, флакон из желтого льдистого хрусталя, не подходивший к ним, пришлось отставить на этажерку. Он привез также рисовальные принадлежности, кисти и тюбики с красками, а почему бы и нет? Его мать тоже занималась живописью, так уж полагалось. В конце концов, великолепно придумано, что всякая вещь должна находиться на своем месте; он займет эти две комнаты, две отцовских комнаты, и будет играть, компонировать и работать, как сумасшедший. И если не выйдет здесь, так, значит, не выйдет нигде!

VIII

Что-то приключилось со старухой Катриной из Сагвика. В один прекрасный день она замечает, что пара чужих сорок, прилетев к ее старым березам, начинает над ними кружиться, переговаривается между собой, выбирает одну березу и принимается поспешно вить на ней гнездо. А время было уж позднее, все прочие сороки давным давно уж построили гнезда и вывели птенцов, — что бы это значило? Катрина знала, что сороки Ларса Мануэльсена остались безприютными, и все их птенцы перебиты, — стало быть, она никак не могла отказать в приюте на одной из своих берез паре бездомных сорок, независимо от того, к какой национальности принадлежала эта пара. Она поговорила об этом с Бертелем, но Бертель отнесся без всякого восхищения к тому, чтоб принимать чужих сорок, тем более, что у них и раньше было гнездо, на этом же месте. Однако, когда новые сороки с невероятной быстротой сели на яйца, вывели птенцов и расположились здесь прочно, он немножко смягчился.

Да, у них в Сагвике и раньше было сорочье гнездо. Здесь сорок никто не тревожил, и одна и та же пара ежегодно возвращалась в гнездо, выбрасывала сгнившие ветки, выстилала гнездо новыми и устраивалась на оседлое житье. Пока дети были дома, пока маленький Готфред и маленькая Полина жили дома, вокруг избы целыми днями раздавалось сорочье стрекотание и царило веселое оживление, а осенью, когда кололи скотину, забавно было смотреть, как сороки прыгали по земле, путаясь в какой нибудь длинной кишке.

Но это было в давно прошедшие времена.

— Но приютить у себя сорок Ларса Мануэльсена — это дело совсем иное,—сказал Бертель, — и я очень подумываю, не пойти ли мне и не прикончить ли их нынче же ночью, — добавил он.

Катрина, по обыкновению шившая мешки на мельницу, с ужасом взглянула на Бертеля. Должно быть, она редко видала его таким мрачным, потому что ей вдруг стало жутко.

— А куда девалось мыло? — спросил Бертель все так же мрачно.

Катрине пришлось признаться, что она забыла сегодня мыло на речке, а когда пошла за ним, оно пропало.

— Гм! — буркнул Бертель, чуть не скрипя зубами. — Сороки утащили! Нечего сказать, славных сорок ты заполучила во двор, и я сейчас же разыщу нож.

— Господи, что ты городишь! — воскликнула Катрина.

— Горожу? Придешь домой с работы, хочешь помыться, так нет же, — сороки утащили мыло! — Бертель грозно наступает на свою старую жену и говорит:—Скажи пожалуйста, зачем это сороке понадобилось мыло? Ест она его, что ли? Или кладет под голову, вместо подушки?

И так как Бертель был не аппетитный красавчик, а бородатый и лохматый мужчина, то слова эти в его устах звучали необычайно серьезно. Но жена, должно быть, догадалась, в чем дело, она опять взглянула на него, и когда Бертель поспешил от нее отвернуться, она вдруг совсем уверилась. Тогда она расхохоталась, хохотала так, что слезы выступили на глазах, и все повторяла: подушка, подушка!

Бертель громко отхаркнулся, вышел из горницы и довольно долго не возвращался.

Ох, господи, какой забавник и шутник стал Бертель с годами, и все оттого, что он имел постоянную работу, зарабатывал, сколько требовалось, и жизнь для него посветлела. А самое главное—оттого, что дети вышли удачные, такие, как и следовало быть.

Вот зашла домой Полина, поболтать часок, окончив работу в поместьи. Она рассказала, что нынче вечером в сарае танцы, но сарай теперь уж не сарай, а театр и место для увеселений, и там-то и происходят танцы. Теодор-лавочник решил ознаменовать окончание нового дома веселием, даже поднял на доме флаг и махал флагом целый день. Разумеется, мать рассказала историю с мылом, и теперь Бертель сам над ней посмеялся.

Когда Полина через час возвращалась в имение, ей повстречались девушки и парни, шедшие на танцы, среди них была Флорина, в желтом шелковом манто, и с нею Нильс из Вельта; а Марсилию, которая опять служила у господина Хольменгро, провожал поденщик Конрад.

— А ты не пойдешь танцовать, Полина? — спросили они.

— Нет, ответила Полина.

— Ну, понятно, ты ведь теперь стала важная, — захохотали те. — Думаешь, верно, что Виллац и часа без тебя не проживет? — прибавили они.

Ничего подобного, Виллац сам просил ее пойти, когда узнал про танцы, но фру Раш сказала, что это он, конечно, пошутил, потому что как же можно ходить на какие-то плясы, когда служишь экономкой в имении Сегельфос, и имеешь такого брата, как

Готфред, который занимает ответственное место на телеграфе.

— Другое дело, если ты пойдешь, когда там будет театр, — сказала фру Раш. — Ведь у нас тут будет театр, и туда тебе можно пойти, потому что пойдет и Раш, и я, и доктор Муус, и кто-нибудь из пасторской усадьбы, а может быть, пойдет и сам господин Виллац.

Фру Раш еще наставляла свою бывшую ученицу по многим вопросам, и молоденькой Полине это шло на пользу.

Всю ночь народ бродил взад-вперед по большой дороге. Виллац из своей спальни видел, как они ходили, парни и девушки, влюбленные и соперники, все шли на танцы или возвращались с танцев. По временам он слышал крики, бесцеремонные возгласы в пространство, и Виллац не помнил, чтобы ему приходилось слышать крики на дороге при жизни отца и матери. Утром Мартин-работник рассказал про драку между парнями, рабочими с мельницы, один из них пустил в ход камень. Девушку звали Палестина. Послали за ленсманом, и он приехал; ленсман из Ура, запутавшийся в долгах старик, у которого и без того было о чем подумать, приехал, установил мир, заставил парней помириться, а так как ему не хотелось беспокоить людей среди ночи и просить ночлега, он до утра пробыл на ногах. Потом пошел к адвокату.

Он принес все деньги, сколько удалось наскрести, должен же адвокат внять голосу рассудка и не требовать невозможного, ведь ленсман был на его свадьбе. Он снял фуражку с золотым кантом и остался стоять. И адвокат Раш стал сговорчивее при виде столь большого смирения, адвокат Раш не

был бесчеловечным, когда чувствовал, что в нем признают начальство.

— Я приму этот платеж, — сказал он, — но на остальное вы должны будете заплатить проценты.

— Хорошо, — сказал ленсман.

— Но вместе с тем, должен вам сказать, что банк—не я, и банк дает вам отсрочку на один месяц.

— Благодарю вас.

Толстый адвокат Раш выпирал из кресла, а ленсман стоял. Но адвокат Раш ценил смирение, когда встречал его, поэтому он встал и сказал:

— Пойдемте, закусим немножко, ленсман, вам надо подкрепиться.

Мужчины пошли завтракать. Подкрепившись же и выпив кофе, ленсман осмелел, спокойно беседовал с фру и был вежливо разговорчив.

— Когда я был на вашей свадьбе... — сказал он.

Что это, он позабыл про свое смирение? Адвокат Раш сказал:

— Кстати: а что, если окружной казначей нагрянет к вам с ревизией, ленсман, что тогда? Вы подумали об этом?

А ленсман вряд ли думал о чем ином все последнее время, но все-таки вздрогнул от грубого вопроса; и фру тоже, она даже налила ленсману еще чашку кофе.

— Окружной казначей уж бывал у меня раньше,— сказал он.

— И находил кассу в порядке? А, в таком случае остается надеяться, что и на этот раз у него не найдется никаких замечаний, — сказал адвокат, задетый за живое. — Как уже сказано, банк может ждать месяц, не дольше.

Но старый ленсман из Ура был действительно немножко легкомысленный господин, в этом адвокат Раш был прав. Он прекрасно мог бы держать свою кассу в порядке, если б лучше понимал, в чем его назначение, и был живодером. Много дворов и домов из тех, мимо которых он проходил утром, возвращаясь домой, он хорошо знал; там жили его должники, он был уверен, что они могли бы привести ему овцу или козу в счет долга, если б захотели, но они никогда не хотели. Вот какой пошел теперь народ! Люди всегда бывали ему должны, но раньше они не могли платить, а теперь не хотели. Вот уже много лет, как господин Хольменгро и мельница ввели в округ работу и наличные деньги, но деньги были ужасно верткие, они уходили на разные товары, исчезали за прилавком у Пера из Буа. Молодежь тратила вдвое больше против прежнего на платье, наряды и папиросы и старалась быть современной в самых скверных смыслах, развитие же характера ни на шаг не подвигалось вперед. А что до того, чтоб выколотить больше из своей должности? Господи, ленсман отлично мог бы драть шкуры и зарабатывать деньги. Он мог бы то и дело штрафовать Теодора лавочника за незаконную торговлю вином и забирать себе половину добычи.

Ленсман заходит в избу к Нильсу-сапожнику, Нильс-сапожник был дома, делать ему было нечего, и он проводил время или на табуретке, или на кровати. Время заразило, должно быть, и старого сапожника. Весной на него свалились с неба большие деньги, и если бы не явился Готфред-телеграфист и не отобрал у него часть этих денег, Нильс-сапожник сидел бы теперь в Америке и кушал бы мясо по три раза в день. Так же, как обернулось дело, из

поездки в Америку ничего не вышло, и Нильс-сапожник только стал покупать себе еды побольше и повкуснее, чтоб поддержать свои старые кости. Бедняге это было очень нужно. Но на беду соблазн захватил и его, ему требовалось все больше вкусной еды, одно тянуло за собой другое, в конце концов и он стал пить кофе гораздо крепче, чем раньше, и тоже полюбил заграничный сыр из Буа. Дошло до настоящего помешательства, сапожник совсем завертелся, он не понимал, как это он мог жить раньше без консервов. Ведь можно было получить свежие мясные фрикадельки в разгаре лета, и блестящие жестянки с рыбой. Нильс-сапожник мог бы и сам отплыть на несколько сот метров в бухту и наловить рыбы, трески, камбалы, морских окуней; но — чего ради? В Буа можно купить рыбные консервы, лакомые кусочки, приобретшие тонкий вкус оттого, что полежали, потомились в масле. Нильс-сапожник прожил две человеческих жизни: одну в нужде и лишениях, другую — в полной удовлетворенности, теперь время настигло его своими новыми благами и превратило его в нечто совсем неподобное. Дошло до того, что он уже не жарил кофе сам, а покупал жареный кофе в пакетиках, а какого чорта ему сидеть и молоть себе кофе, когда можно купить молотый кофе в серебряной бумажке с множеством печатей! Вот до чего дошло, он занесся прямо в облака. Нильс-сапожник храбро тратил свои деньги.

— Я хотел позвать тебя поработать у нас,—сказал ленсман, — мы скоро останемся совсем босые.

— В Буа есть сейчас всякая обувь, — ответил Нильс, — и она гораздо лучше.

— Ну, я старинного склада и больше верю в твои башмаки, — сказал ленсман.

— Я стал плохо видеть, — ответил Нильс.

— То, что надо сделать у меня, ты разглядишь.

— Нет.

Ленсман с изумлением посмотрел на Нильса-сапожника и не узнал его. По своему обыкновению, он стал действовать осторожно, говорил ласково, убедительно, но сапожник уклонялся. В конце концов он сказал:

— А кроме того, я сижу в кассе и продаю билеты в театр.

На том и расстались. Нильс-сапожник уперся. Получив это поручение, эту должность от Теодора из Буа, он решил, что занят на вечные времена и не смеет расточать свои силы ни на что другое. Нынче ночью он сидел в будке и продавал билеты на танцы, и дело шло чудесно, люди приходили к нему, как ко всякому купцу, он отпускал билеты и принимал деньги, а утром, когда он сдавал выручку, Теодор бросил на стол две кроны и сказал:

— Пожалуйста, — это тебе за работу! И приходи опять, когда у нас будет настоящий театр! — сказал Теодор.

С этими словами Теодор пошел по своим делам, потому что был очень занят.

Оказалось, что с театром пропасть хлопот. Объявление уже было напечатано два раза в „Сегельфосской газете“ и завтра должно было появиться еще раз, печатные плакаты были прибиты в лавке, флаг на здании театра развевался днем и ночью, напечатали красные, зеленые и белые билеты. Теодор агитировал во всю.

— Будут играть „Ядовитую змею в пещере“, замечательная пьеса, сочинения не то Бьернсена, не то кого-то другого, но во всяком случае тоже очень заме-

чательного писателя. А ядовитая змея—не думайте, что это и правда ядовитая змея; ядовитая змея это такой же человек, как мы с тобой. Я построил театр для того, чтоб мы увидели эту пьесу, все должны купить билеты, нельзя же нам быть хуже других городов.

Но недоставало заметочки в газете. Объявление было, а заметки — нет. Теодор пошел к редактору и спросил, что это значит? И разве его фирма не дает постоянные объявления в газету? Редактор был приперт к стене.

— Заметка, да, конечно, она будет. — Но ее не было. Теодор опять пошел в газету. — Заметка, — да, да, но адвокат еще не успел написать ее.

— Разве ее должен писать адвокат?

— Да. И он хотел дождаться приезда актеров.

Больше ничего не добился Теодор, он столкнулся с высшей силой. Он мог выбранить редактора, мог отнять у газеты на веки вечные объявления о своей фирме, все напрасно; оказалось, что „Сегельфосская газета", принадлежит адвокату Рашу. Чорт бы побрал почтенного адвоката!

Теодор закусил губы, а он был молод, зубы у него были все целы, так что куснул он крепко. Он отнюдь не растерялся, в сметливой голове его моментально блеснула идея: он знал кое-что про девушку, повязанную шерстяным платком, и девушка не прятала имевшуюся у нее сберегательную книжку, только вот — откуда она у нее? Но торопиться некуда, подождем, пусть адвокат Раш напишет свою заметку или не напишет, это дело его!

В конце концов, у Теодора вовсе и не так много стояло на карте, он сдал свое помещение и получит за него плату, он кредитор, пользующийся всеми

правами и преимуществами. Да и ради дальнейших представлений лучше жить с газетой в ладу.

Приехали актеры, Теодор помахал флагом, труппа поселилась в гостинице Ларсена, семь человек, стариков и молодежи: примадонна, антрепренер, кассир. Юлий решил показать знатной компании, что она попала к порядочным людям, в знаменитый дом. Он вставил портрет своего брата Л. Лассена в рамку и повесил в зале. Вышло так удачно, что этот портрет как раз появился в издании Лютеровского Общества, и пастор сейчас же послал один экземпляр домой, своим дорогим родственникам, с собственноручной надписью. И вот он висел теперь за стеклом и в рамке, пастор был в сюртуке и воротничке, актеры увидели его, а Ларс Мануэльсен, принесший их вещи, сейчас же выпалил:

— Это мой сын! — сказал он.

— Иисусе! — воскликнул один из актеров. Остальные, услышав это восклицание, переглянулись и укусили себя за пальцы, а дамы забрали в рот носовые платки. Они вели себя очень странно.

— Вы ведь слыхали про Лассена? — спросил Ларс Мануэльсен.

— Да, — как же, натурально, кто же не слыхал про Лассена? Лассен!

Актеры пошли гулять. И людям на земле, и птичкам в небе удивительно было смотреть на их походку, их платье и манеры. У мужчин шляпы были на шнурочке, они шли и напевали от сытых желудков и веселого настроения, начальник был в полосатом красно-зеленом галстуке, бросавшем на него сияние светскости и барства. Один из них запел про

„его волосатую лапу
и сизый от водки нос".

Неслыханная жизнерадостность и больше ничего, пышность, барство и радость. Ошеломленный Сегельфос таращил глаза на блестящее общество.

Но примадонна была не красивее прочих двух дам, отнюдь нет,—красивее всех была высокая темноволосая девушка с низким голосом, она выступала с гордостью королевы и немножко приподняв платье, а на юбке внизу была шелковая отделка для того, чтоб шуршало на ходу. По афише ее звали фрекен Сибилла Энгель, наверное ее артистический псевдоним. Она была красивее всех. Но зато примадонна имела перевес в другом, в отношении искусства, а это главное. На ней была огромная шляпа, и звали ее фру Лидия, и только. Но, впрочем, примадонна тоже была высокая и с красивой фигурой.

Прежде всего они пожелали отправиться в Буа. Это там живет господин Теодор Иенсен? Благодарствуйте. Они вошли в лавку с целой охапкой благодарностей. Так как их было очень много, Теодор не мог впустить всех за прилавок, а только снял шляпу и был необыкновенно вежлив. Они не могли достаточно выразить ему свою благодарность,—ну, а как складываются дела, все ли в порядке? Вот как, не было заметки? А газета выйдет сегодня вечером? Господи, значит им надо поспешить к адвокату, к проклятому адвокату, его зовут Раш, так кажется? Примадонна и антрепренер отправились вместе. Тем временем остальная труппа пошла в театр, сопровождаемая Теодором.

— Вы вывесили флаг? Почему это вы вывесили флаг? — спросили они.

— Для вас, в честь события, — ответил Теодор.

— Ах, сумеем ли мы когда-нибудь как следует отблагодарить вас! — сказали они.

Теодор-лавочник совсем не растерялся, он был толковый малый и произвел хорошее впечатление. Может быть, банты на его туфлях сделали свое, но еще больше сделала большая золотая булавка в его галстуке. — Наша фирма, — говорил он. — Это моя яхта и моя рыба — вон там, видите, — говорил он.

— Ах, боже мой, опять у меня подвернулась нога! — воскликнула фрекен Сибилла Энгель и схватила за руку Теодора.—Позвольте мне взять вас под руку,— попросила она.

Теодор, конечно, никогда не водил под руку дам и не знал, как за это взяться, но госпожа Сибилла сделала гримаску и сейчас же все наладила.

— Здесь очень плохая дорога, — сказал он, извиняясь, — но скоро будет лучше.

— Это виновата не дорога, — сказала Сибилла.

Остальные ее не жалели, а улыбались слегка, словно фрекен Сибилла подвертывала себе ногу и хваталась за чью-нибудь руку всякий раз, когда это бывало кстати.

Они вошли в коридор. Нильс-сапожник сидел в будке. Должно быть, проверял, все ли в исправности.

— Это билетер,— сказал Теодор. — Только представление не сегодня, Нильс.

— Знаю. Я пришел просто так.

— Билеты у тебя в шкапу? Смотри, чтоб кто-нибудь сюда не забрался ,— сказал Теодор важно и заботливо. — Ты понял, Нильс: красные по полторы кроны, зеленые — по одной, а белые — по семьдесят пять эре. И смотри, не отрывай по два за раз.

Вошли в залу.

— Великолепно! — сказали актеры. — Сцена достаточно высока, скамейки, стены, положительно все, как нужно. Вам это устраивали сведущие люди, господин Иенсен! А за сценой две комнаты, — боже мой, господин Иенсен, вы очаровательный человек, я буду любить вас до самой смерти, — две комнаты, нам почти везде приходится довольствоваться занавеской, а вы не знаете, что значат для меня две комнаты! Лампы, рефлекторы, не понимаю, откуда вы все это достали! Да, если мы не сыграем здесь, то не можем играть нигде!

Все были того же мнения, и Теодор возгордился. Да, он уж постарался и обдумал все наилучшим образом. Единственно, вот здесь, с боков, как это называется...

— Кулисы?

— Кулисы. Этого я не нашел. У нас их маловато, кулис-то. Но мы достанем. И вообще, декораций. Очень удачно, что ваша пьеса вся происходит в одной комнате.

— Вы знаете пьесу?

Теодор улыбнулся:

— Немножко знаю. Ядовитая змея не змея, а человек.

— Да, но пьеса не вся происходит в одной комнате, — говорит один из актеров; его звали Макс. Должно быть, его раздражало, что фрекен Сибилла так долго нуждается в поддержке чужой руки.

Теодор поправляется:

— Я не знаю пьесы. Это Борсен мне сказал. А может быть, он сказал, что кое что происходит и вне комнаты, на дороге. У нас имеется такой вот фон. Вот этот!

— Этот-то, да он великолепен и отлично подходит. А кто это — Борсен?

— Начальник телеграфа.

— У нас есть с собой кое-какие декорации,— сказал тот же актер Макс. — Справимся здесь, как и в других местах. — Натурально, он ревновал.

На обратном пути встретили антрепренера и примадонну. Они переговорили с адвокатом Рашем, и он обещал напомнить редактору про заметку в газете. Редактирует „Сегельфосскую газету“ вовсе не сам адвокат, но он попросит редактора.

Актеры вернулись все вместе в театр, к подмосткам, к своему миру, чтоб показать все великолепие двоим, еще не видевшим его. Теодор тоже пошел с ними. Он услышал те же похвалы и ответил: — Я старался сделать как можно лучше. — Но двое, ходивших к адвокату, вдруг спросили про Борсена: не следут ли им пойти поблагодарить и Борсена, поблагодарить начальника станции.

— Отчего же, — ответил Теодор. Борсена? Да, он был очень полезен, Теодор не всегда располагал временем, чтоб присутствовать на работах.

И ехидный же адвокат!

Пошли домой, но Теодор уже не пыжился. Остальные это заметили, о, заметили очень хорошо, они проводили господина Теодора до самого дома, зашли даже в лавку, чтоб задобрить его, и фрекен Сибилла все висела на его руке и держалась за нее очень крепко. А в лавке стоял сам начальник станции и покупал на несколько скиллингов табаку — сам Борсен стоял в лавке.

Вот как полна жизнь случайностей и роковых событий.

Он стоял у прилавка, выуживая из жилетного кармана мелочь, и собирался расплачиваться, когда Теодор сказал.

— Артисты хотят поблагодарить вас, Борсен.

Борсен медленно повернул свои плечи и увидел всю компанию, семеро незнакомых жизнерадостных людей в шляпах на шнурке и шелестящих шелковых нарядах. Антрепренер выступил вперед и заговорил, за ним подошли две дамы поважнее, и наконец мужчины, все говорили, улыбались, жали ему руки. Теодор ушел к себе в контору. И вдруг самая незаметная из актрис, та, что еще не вымолвила ни слова, говорит:

— Но где же мы возьмем рояль?

Гробовое молчание. Про рояль забыли.

— Ты права, Клара! — сказал антрепренер. А Борсену он пояснил: — Это фрекен Клара, пианистка.

Борсен взглянул на нее, на ее молодое, оживленное лицо и длинные музыкальные руки с голубыми жилками.

— Слишком мало было времени, — сказал Борсен. — Но господин Теодор непременно достанет рояль к будущему вашему приезду. За это можно поручиться.

По лицу фрекен Клары промелькнула тень. Она была сумасбродная особа и не соображала того, что она самое незначительное лицо в труппе. Борсен заговорил с ней о музыке и узнал, с кем она играла и что одно время она даже получала стипендию. Вот как! Впрочем, она в то же время и актриса, и даже по преимуществу актриса.

Теодор вышел из конторы, махая письмом, которое держал в руке. Славный малый, если б не был так дурачлив! Ведь вот, расхаживает с письмом

в руке, чтоб все видели, что оно адресовано фрекен Марианне Хольменгро; уж не хочет ли он импонировать труппе? Но фамилия Хольменгро была, видимо, знакома труппе не лучше фамилии Лассен; опять заговорили о рояли, и Теодор обещал достать к следующему разу, после чего труппа удалилась.

— Снеси это письмо! — сказал Теодор своему подручному мальчишке. Но импонировать было некому, и он обратился к Борсену, как бы извиняясь:— Вас, может быть, удивляет, что я пишу фрекен Хольменгро, но это совсем не письмо, ничего подобного, я просто посылаю ей билет в театр.

— Вы посылаете ей билет в театр? — спрашивает Борсен, улыбаясь.

— Да. Так делается и в других городах, кавалер посылает даме билет в театр.

Пожалел ли Борсен откровенную ребячливость парня, или нет, но он не улыбнулся ему прямо в лицо, а посоветовал отказаться от своего плана. Если господин Хольменгро и его дочь захотят посмотреть представление, они пошлют прислугу купить билет. Средств у них хватит, как вы полагаете?

— Это понятно, красный билет, на самое лучшее место, — сказал Теодор. — Я думаю, мне можно послать.

— Не делайте этого! — сказал Борсен. — А если уж вам непременно хочется сделать что-нибудь в этом смысле, пойдите сами с несколькими билетами, попросите ее выйти в переднюю и изложите свое дело. Скажите фрекен Марианне, что вам очень важно видеть господ Хольменгро на открытии вашего театра и что вы будете благодарны, если принесенные билеты пригодятся.

— Сколько же мне взять с собой билетов? — спросил Теодор.

— Я не знаю, сколько их там народу. Возьмите с полдюжины.

— Этого я не сделаю! — сказал Теодор.

Тогда Борсен опять улыбнулся и сказал:

— Правильно. Вы бутон, розовый бутон.

После репетиции на следующий день актеры были свободны до вечера, гуляли, показываясь при свете дня, и разожгли любопытство публики к пьесе. Они услыхали, что Виллац Хольмсен живет в имении, вон в том доме с колоннами, барин с незнакомой фамилией. Пианистка встрепенулась:

— Хольмсен? Композитор? Господи, боже мой, музыкант Хольмсен! Подумайте, вдруг я увижу его.

— Подумайте, вдруг я тоже увижу его! — сказал артист Макс, остряк и насмешник, но завидовавший всем и каждому.

— Ты обезьяна, Макс! — сказала фрекен Клара.— Виллац Хольмсен написал пропасть вещей, кантату, песни, танцы, он большой музыкант, — сказала она, хвастаясь уже тем, что знает его имя.

Но, разумеется, фрекен Клара не могла разговаривать о музыке с обезьяной, что она прямо и высказала, и отправилась на телеграф к Борсену.

Вот как капризна жизнь.

А Борсен был импозантен и очень благосклонен. Он встал и предложил даме табурет.

— У нас есть и диван, — сказал он, — но он завален бумагами. Мы освободим его к следующему вашему посещению.

Они заговорили о Виллаце Хольмсене, — совершенно верно, это он живет здесь, приехал на родину работать и, конечно, очень занят.

— Подумайте, вдруг он придет сегодня вечером!

— У вас есть роль, фрекен?

— Господи, да ведь это же я — ядовитая змея!

— А я думал, что вы — ангел?

— Нет. На это у нас имеется примадонна.

— Но у вас глаза! Божественный карат в глазах.

— Вы находите? — проговорила фрекен Клара и повеселела.

Особенно много в первый раз они не поговорили, а маленький Готфред был прямо ни к чему и держался на заднем плане. Но фрекен Клара, должно быть, очень скоро отметила выспреннюю речь телеграфиста и дала ему понять, что очень ее ценит.

— Какая у вас замечательная речь, господин Борсен; божественный карат, — такого в нашей среде не услышишь! А может быть это производит такое впечатление оттого, что вы сами такой большой и представительный, не знаю.

Удивительно, — милейший телеграфист, живший кое-как, пьянствовавший, философствовавший и взиравший свысока на жизнь, не проявлял теперь никакого высокомерия, а явно находился под действием похвал фрекен Клары. Кончилось тем, что он стал говорить с ней о своей музыке, взял виолончель и заиграл. Никогда еще Борсен не вел себя так глупо, и маленький Готфред дивился на него. И что это была за игра? Маленький Готфред видел, что глаза Борсена закрываются все больше и больше по мере того, как глаза фрекен Клары становятся все шире и шире, а рот ее совсем раскрылся.

— Грудные звуки, — сказал Борсен, кончив. — Эта старая виолончель — совсем человек.

— Да ведь это же чудесно! — тихо проговорила фрекен Клара. — Я поражена! — еще много нагово-

рила в таком же роде перед тем как уйти, она видимо была взволнована и говорила искренно.

Когда она ушла, Готфред проговорил в ужасе:

— Мне кажется, вы влюблены в нее?

Борсен отрекся и сказал:

— Я так редко вижу дам. А она, кроме того, музыкальна, дружище!

И вот в белую летнюю ночь „Ядовитая змея в пещере“ появилась на сцене. Это было крупное событие, газета напечатала приличную заметку, люди сбежались из местечка и сел, и Нильс-сапожник продал все свои билеты, приказчик Корнелиус, поставленный вместо швейцара, вернул ему пятьдесят штук, он продал и те. Были адвокат Раш с женой, окружной врач Муус и двое из пасторской усадьбы; от Хольменгро пришли фру Иргенс и вся прислуга, немного позже явилась и Марианна с Виллацом Хольмсеном. Никто не усидел дома. Но неограниченная продажа билетов привела к тому, что помещение оказалось переполненным, и окружной врач Муус стал ворчать насчет вентиляции: — Первое условие в театре — воздух! — громко сказал он Теодору-лавочнику. Представление же прошло неожиданно удачно, оказалось, что в пьесе хуже всего было заглавие, содержание было интересное и захватывающее, публика забыла, что сидит в духоте и копоти. Разумеется, окружной врач Муус не хлопал, не хлопал и адвокат Раш, но аплодисменты все-таки были очень сильные, они начинались чаще всего с хлопка Марианны и ее кавалера и распространялись дальше Теодором, владельцем театра, счастливчиком. Под конец окружной врач Муус даже стал сердиться на аплодисменты, обернулся в сторону зала и сказал: — Тише! — В общем вечер вышел замечательный.

А что же было лучше всего—пьеса, или примадонна, или артист Макс? Примадонна. Когда окружной врач Муус один раз одобрительно кивнул, смотря на ее игру, и шепнул пару слов, адвокат сейчас же поддержал его и проговорил вслух:—Это выше всего, что я видел по части актерского искусства! — Впрочем, мужчинам, конечно, больше понравилась фрекен Сибилла, да это и не удивительно,—она была прелесть как хороша. Но если бы начальник телеграфа Борсен присутствовал на представлении, на него произвела бы сильное впечатление ядовитая змея фрекен Клара: она обнаруживала по временам поразительную глубину наивной развращенности, никто не мог хорошенько разобрать ее, она говорила чудовищно грубые слова чистыми устами. Она выворачивала вещи на изнанку и играла на этой изнанке,—несомненно у нее был талант невменяемости, нутро. Но начальник телеграфа Борсен не присутствовал на представлении и не видел ее, говорили, что у него экстренное дежурство.

На следующий день труппа была опять свободна до вечера, до прихода почтового парохода, шедшего на север,—актеры ехали дальше на север, туда, где все кончается. Этот день начальник телеграфа Борсен употребил на посещение фрекен Клары в гостинице Ларсена; его попросили пройти к ней в комнату, хотя он и явился неожиданно, попросили садиться, хотя дамочка была одна и лежала в постели.

Что такое? А где же другие? Опять случайность? Было одиннадцать часов, и все ушли гулять. Чтоб сгладить своеобразность положения, он решил изобразить человека, видавшего всякие виды,—маленькая вольность ничего не значит, — и заговорил по-товарищески:

— Если бы вы уже встали и были хоть сколько нибудь одеты, мы пошли бы с вами к Виллацу Хольмсену.

— Что вы говорите! — воскликнула она, приподнимаясь.

— Я заручился его разрешением. То-есть он почтительно просит вас пожаловать.

— Вы были на представлении? — спросила она.

— Нет.

— Мне хотелось спросить ваше мнение о нем.

— Я слышал, успех был огромный.

— Не для меня.

— Для всех вас.

— Нет, я не пойду к Виллацу Хольмсену, — сказала она вдруг.

— У него есть рояль, вы можете поиграть с ним,— сказал Борсен.—А если вам угодно, я могу взять с собой виолончель. А Хольмсен играет все, что угодно.

— Вот в том-то и дело!—сказала фрекен Клара.— Играет все, играет восхитительно! Когда я услышала вас, я была побеждена. Я знала это и раньше, знаю и теперь: я не могу играть. Нет, я не пойду к Виллацу Хольмсену.

Молчание. „Уж не пьяна ли она?“ подумал Борсен; „но, во всяком случае, вот она лежит предо мной, молодая и страстная!“ подумал он. Это не имело связи с предыдущим, но он сказал:

— Мне нет надобности делать усилия, чтоб признать вас бесподобной.

— У вас нет к этому никаких причин, — ответила она. — Вы не были на представлении. Я больше не буду играть на рояли, но я займусь другой игрой. Ах, боже мой, когда-нибудь я покажу вам, покажу всем . . .

— Так вы полагаете, что ваше призвание в этом?

— Да!—И она вдруг приподнялась и встала на колени на кровати. — Ведь вы же ни на минуту не сомневаетесь, что я не могу заткнуть за пояс фру Лидию?

— Нет.

— Нет. Публика восхищается, что она умеет бледнеть; это не штука бледнеть, я берусь сделаться совсем серой. Да, в этом мое призвание. Я буду играть так, что разобью их всех в пух и прах. Мне ничего не стоило бы выйти замуж, но зачем? Он богат и молод и хочет на мне жениться; но ведь это надо с ума сойти! Раньше я должна показать миру, на что я способна. Но еще раньше мне надо ехать в Норвегию и бренчать на рояли, — прибавила она огорченно.

Телеграфист Борсен не знал, что подумать, но нет, она не пьяна, это он понимал, как специалист.

— Значит, вы еще не попали на свою настоящую полочку, фрекен? — спросил он шутливо.

— Нет. То-есть да! Но мое время еще не настало. Нет, я попала на свою настоящую полочку; а вы вот нет? Вы играете на виолончели, как бог.

И опять похвала этой женщины подействовала на телеграфиста и была ему приятна.

— У меня отличный инструмент, — сказал он.— Вы не хотите навестить Виллаца Хольмсена?

— Нет, я отказываюсь. Я буду играть только в комедиях.

— Хм. Смотрите, как бы вы не сыграли самой себе фарс.

— Нет. Но послушайте-ка, — сказала она. — Вы-то сами не играете себе фарс? Вы сидите здесь,

посылаете телеграммы, играете на виолончели и удовлетворены?

— Ну, да, фрекен!

— Извините, не примите дурно то, что я скажу. С вами интересно разговаривать, господин Борсен. Но ведь вы же должны здесь изнывать. Вы улыбаетесь, но, конечно же, вы изнываете от тоски.

— Ха-ха, вы думаете, что я похоронен, лежу в могиле? Думаете, что я жертва обстоятельств? Нет, фрекен, вы наивны. У меня нет никаких высоких стремлений потому, что все другое не выше, я живу по своей воле, она выше всего. Я не требователен, но, пока что, имею все, что мне нужно,—дом, платье, еду и выпивку.

— Вы умышленно сказали — выпивку?

— Хм. Не неумышленно.

— Ха-ха. Вот это-то самое и есть! Да, мне смешно, глядя на вас. А вдруг настанет день, когда у вас не будет дома, платья, еды и выпивки?

— Я приму его так же, как и другие дни. Встреть меня, Гете, в тот день, когда я рассержусь!

— Вот великолепно сказано! — с улыбкой воскликнула молодая особа.

Борсен поднялся и произнес строго:

— В последний раз, фрекен; пойдете вы к Виллацу Хольмсену и разрешите ли мне сопровождать вас?

— Я не пойду к нему. Отвернитесь немножко, я встану.

— Я уйду.

— Вы мной очень недовольны.

Борсен не упустил случая ответить высокопарно:

— В тот день, когда я буду вами недоволен, я брошусь в море! — После этого он принял такой вид, как будто больше ничего не может для нее сделать.

Фрекен Клара снова улеглась и сказала:

— Я не буду вставать.

— Это оскорбление красоты — прикрывать ее простыней, — сказал Борсен.

— Вы совсем не знаете, насколько я красива, — возразила она. — Откровенно говоря, вы находите что я поступлю очень глупо, бросив одно искусство, в котором я — ничто, и перейдя к другому, в котором я могу достигнуть многого? Вам, может быть, не хочется отвечать?

— Вот видите ли, фрекен, мне не пристало выступать оракулом и подавать людям хорошие советы. Но тут вопрос идет о том, чтоб покинуть искусство вообще.

— Да, и перейти к другому.

— Нет.

— Ах, вот как!

— Вообще покинуть искусство. А это может делать тот, кто не может ему служить.

— А разве сценическое искусство не искусство?

— Нет, это — актеры.

— В этом с вами никто не согласится.

— Да, — сказал он.

В соседней комнате заходили,—должно быть, труппа вернулась домой.

— Вы не видали, как я играю комедии, — сказала фрекен Клара.

— Нет, — сказал опять Борсен.

Фрекен Клара вдруг захохотала и проговорила:

— Нет, вы просто говорите глупости! Вы хотите, чтоб я приняла ваши слова всерьез?

— Ничего не имею против, — ответил он.

Фрекен Клара захохотала еще громче и сказала:

— Нет, это просто остроумные реплики, точь-в-точь как в пьесах. Господин Борсен, я вас еще увижу? Увижу я вас днем?

Он застал ее днем в ее комнате, она была одна, полуодета, умыта и хорошенькая. И, должно быть, между ними что-то произошло, что-то такое, чего он не ожидал, придя, и чего не понимал, уходя. Начальник телеграфа Борсен был ошеломлен и сбит с панталыка, стал веселым малым и дураком. Боже, что за состояние! Он был словно пронизан светом, шел, закинув голову в небо, и нес ее, как пустое место, как сияющее пустое место. Вот так состояние!

Когда настал вечер, он пошел на маленькое кладбище и сорвал два цветка с могилы лейтенанта Виллаца Хольмсена и его жены. Эти цветы фру Раш посадила там в горшке, чтобы порадовать молодого Виллаца, и вот Борсен сорвал их, до того он очумел. И принес цветы на набережную, и стоял там, и ждал, пока труппа не сядет на пароход и не уедет.

— Вот, пожалуйста, — сказал он фрекен Кларе, снимая шляпу.

— Боже мой, откуда вы достали такие прелестные цветы? — спросила она.

— Я достал их на кладбище, — ответил он.

Она поняла, что он сказал правду. Она передала это другим. Актерам это пришлось по вкусу, они громко захохотали и очень оценили это.

— Не пора ли сходить на берег? — спросил артист Макс, видимо бывший не в духе.

— Нет еще, — сказал капитан.

— Вот так чорт! — вскричал Макс. — Я забыл портрет Лассена, — сказал он.

— Давайте устроим так, чтобы нам опять приехать в Сегельфос! — сказали антрепренер и примадонна.

На пароходе стоят двое пассажиров, смотрят на Борсена, и один как будто узнает его.

— Как зовут этого человека? — спрашивает он стоящих на берегу. — Ага, Борсен? — Он оборачивается к другому пассажиру и говорит: — В наших местах был Борсен, корабельщик, богатый дом. У него был сын, из которого ничего не вышло. Парень пытал свою судьбу в актерах, — писал пьесы, — на всем провалился. Уж не он ли это?

А Борсен стоял на набережной и ничего не слышал и до того очумел, что говорил совершенно искренно и не мог сказать ничего высокопарного.

— Приезжайте опять на обратном пути! — то и дело повторял он.

Последнее его впечатление от фрекен Клары было, что она стояла на палубе закоптелого парохода и натягивала белые перчатки, купленные в Буа. А он думал о том, куда она на это время положила его розы.

Те розы, что добрейшая фру Раш разрешила ему похитить с украшенной ею могилы.

IX

Окружной врач Муус оставался в Сегельфосе несколько дней и решил использовать случай, чтоб нанести визит господину Хольменгро. С ним отправился и адвокат Раш.

— Это очень любезно с вашей стороны, господа! — сказал господин Хольменгро.

— Я всегда доставляю себе удовольствие пожать вам руку, когда бываю в этих местах! — сказал окружной врач Муус. — Фрекен, надеюсь, здорова?

А, позвольте вас поздравить вот с этим! — прибавил он, указывая на перстень господина Хольменгро.

Окружной врач Муус был вполне светский человек, слова так и лились с его уст, и он умел протежировать людям и проявлять благожелательность. Адвокат Раш двигался чуточку медленнее, но был силен и положителен, настоящий мужчина. Он преклонялся перед окружным врачом и был его другом. Хуже всего было в нем то, что он так растолстел, так разъелся, у него была привычка бренчать в кармане ключами, и иногда он вынимал их и держал в руке; а пальцы, бренчавшие ключами, были такие толстые и коротенькие, прямо на удивление. Он надел обручальное кольцо на мизинец, но оно и там стало чересчур тесно, и вот уже несколько лет он ходил без обручального кольца и, повидимому. нимало этим не огорчался.

Он сейчас же заговорил о событии, о театре.

— А вы не были, господин Хольменгро? Напрасно. По совести, это стоило затраченных денег. Спросите доктора!

Адвокат был так заинтересован этим, потому что ему надо было написать критику для „Сегельфосской газеты“, он уже написал ее.

— Хм! — сказал доктор Муус. — Вы слышали, господин Хольменгро, о перемене, которую я намерен предпринять относительно своей скромной особы?

— Нет.

— А-а, но это не то, о чем вы думаете и что тоже, может быть, не очень далеко, это не женитьба.

— Так что же?

— Я подал прошение о переводе.

— В самом деле? Я предпочел бы первое! — вежливо ответил господин Хольменгро.

— Ах, что до этого... у вас будет другой доктор, гораздо лучше меня.

— Мы к вам привыкли. Вот как, вы переводитесь?

— Я уж давно об этом думал; в сущности, здесь для меня не место. А тут еще пасторша, фру Ландмарк, образованная особа с сердцем и душой, совсем убедила меня. После нескольких бесед с нею я окончательно остановился на этом плане.

— Да, и я тоже в один прекрасный день переберусь на юг, — сказал адвокат, вытягивая ноги.

— И вы тоже, господин адвокат? Не обездоливайте же совсем Норландию.

— Мы с адвокатом можем сказать, что выжили здесь свое время, — сказал доктор Муус, — не следует предъявлять к нам чрезмерные требования. — И он стал развивать эту тему с большим весом и убедительностью.

Но так как хозяин не противоречил, им пришлось говорить одним.

Иначе и не могло быть. Господа эти были чересчур самонадеянны, полагая, что доверие их польстит господину Хольменгро. Он только позвонил и предложил гостям стаканчик вина.

— А можно ли мне? — сказал адвокат.

— Ослаб винтик в животе? — спросил доктор.

— Ну, ослаб? Ничего подобного, как раз наоборот.

— В таком случае, можешь выпить стаканчик славного издания господина Хольменгро.

— Ладно, с разрешения авторитета. Нет, как это вы не были на премьере, господин Хольменгро! Я не хочу сказать, что это во всем решительно было образцовое представление, этого я, конечно, не скажу.

Но были моменты, производившие огромное впечатление.

— Да, примадонна по временам достигала громадной высоты, — сказал и доктор.

— Не правда ли? И Фрекен Сибилла тоже. Эта, кроме того, была еще замечательно аппетитна. Вас не удивляет, доктор, что она могла так держаться с этим маленьким Теодором-лавочником?

— Ведь вы знаете, вкусы различны.

— Да, но в театре, и дома тоже. Это было уж чересчур!

— Мудрый кади, — сказал доктор, — у нас не у всех одинаковые формы общежития. То, что нас, здесь собравшихся, заставляет чувствовать себя хорошо в обществе друг друга, на других может действовать, как стеснение и ограничение. Вероятно, Сибилла находила в лице этого — как его? — Теодора-лавочника общество, подходившее к ее личным вкусам и социальному положению. Что же с этим поделаешь, мудрый кади?

— Да, вы правы, — сказал адвокат Раш. — Что меня удивляет, так это то, что на представлении были двое из семьи ленсмана. Ведь у него нет на это средств.

— Если говорить об этом, так несомненно найдется и еще много таких, что не имеют на это средств. У смотрителя вашей пристани, господин Хольменгро, есть конторщик,—разве он располагает большими средствами? Я его знаю, видел, он женат на женщине легкого поведения, которую зовут Давердана. Эта пара сидела на первых местах.

— На первой скамейке, вместе с нами, как ни в чем не бывало! — сказал адвокат Раш и посмотрел на помещика.

— Я не принадлежу к снобам,— заметил доктор,— в силу своего положения я вынужден общаться с народом. Но я соблюдаю границу, и не только как право, но и как обязанность.

— Разумеется, — сказал господин Хольменгро.

— Неправда ли? — подхватил адвокат и оживился, услышав это заключение. — Я не знаю, что думает делать редактор „Сегельфосской газеты"; но я не удивился бы, если бы он вмешался в это дело. Ведь фру Ландмарк из пасторской усадьбы и обеим ее барышням, дочерям, пришлось сидеть на второй скамейке. Что вы скажете! Давердана на первой, с гребнем в прическе, как у настоящей дамы, и гребень-то с красным камнем. Дама да и только! Что же будет дальше?

— А дальше будет веер и лорнет,—сказал доктор.

В дверь постучали, и вошел молодой Виллац. Он, повидимому, удивился, застав в комнате гостей, и извинился за свое вторжение, он только проводил фрекен Марианну домой.

— Вот редкий гость! — сказал господин Хольменгро и радушно протянул ему руку. — Стаканчик вина? И сегодня тоже нет? Да, правда, вы никогда не пьете утром.

— А почему не утром? — спросил доктор Муус.

— Господин Хольмсен по утрам работает.

— О, работа! — проговорил молодой Виллац.— Но помимо всего прочего мне не хочется ходить целый день с тяжелой и пустой головой.

— Тогда наверное вы занимаетесь какой-нибудь очень деликатной работой, — сказал доктор.

Марианна вошла в другую дверь, она тоже остановилась в удивлении при виде гостей и затворила за собой дверь спиной.

— Я позволил себе осведомиться о самочувствии фрекен,— сказал доктор Муус, протягивая ей руку,— и вот вы входите здоровая и обворожительная, как никогда! — Доктор продолжал разговор и заметил:— Деликатная работа, да, конечно. Но можно сказать, что и моя работа тоже не заурядного порядка, мне приходится иметь дело с чрезвычайно тонкими диагнозами; но стакан вина никогда не мешал мне.

— Это происходит оттого, что мы с вами здоровые люди,— сказал адвокат. — Вот вы опять в старых палестинах, господин Хольмсен.

Виллац кивнул головой и, повернувшись к Марианне, сказал:

— А мы ведь собирались сыграть эти несколько тактов?

— Да.

Доктор подхватил:

— Ах, это большая любезность с вашей стороны показать нам, чего вы достигли, господин Виллац Хольмсен.

Марианна громко расхохоталась. Ей было трудно вести себя, как полагается настоящей даме.

— Тише, не греми так ключами, господин адвокат! — сказал доктор, прислушиваясь к музыке из другой комнаты. — Впрочем, ведь они собирались проиграть нам какие-то упражнения.

— Наверное, они играют что-нибудь, написанное господином Хольмсеном, — сказал господин Хольменгро.

— Ну, можно сказать, господин Виллац Хольмсен мог бы выбрать для этого другой случай. Ведь он прямо утащил туда фрекен Марианну. Ну, да бог с ним! А что, выходит что-нибудь из этого молодого человека?

— Мне иногда попадалась его фамилия в столичных газетах, — вставил адвокат.

— Ну, это не бог знает что. Нет, вот Лассен, пастор Лассен, наш земляк, это вот замечательный человек.

— Да.

— Великий человек! Подумайте, выдержать все экзамены, начать взрослым прямо с пустого места и выучить все языки, все науки, все, и очутиться на вершине! Вот это, можно сказать, способности!

— Его прочат в епископы.

— Разумеется. И я надеюсь, что правительство сразу же назначит его в какую-нибудь южную епархию. Лассен достаточно времени провел на севере, все свое детство и юность, вплоть до зрелого возраста. Я поражаюсь, как вы можете выдержать здесь, господин Хольменгро, когда вас к этому ничто не вынуждает.

— Ведь у меня здесь дело, — уклончиво ответил господин Хольменгро.

— Да, но все-таки! Взять, например, меня, я предпочел бы жить в городе. Деревенская жизнь хороша, но когда имеешь другие интересы, культурные интересы... Вместе с тем, я отнюдь не желал бы жить в каком-нибудь городишке. А, право же, после Христиании во всех других городах чувствуешь себя, как в деревне.

— Но вы ведь не из самой Христиании, — сказал адвокат.

Доктор Муус нахмурил брови:

— Неподалеку. Конечно, я родился на севере, как почти все дети чиновников, но потом я переселялся все дальше и дальше на юг, и в конце концов мы жили в Эстердалене. Уездные города наши были Элве-

рум и Гамар, главным же городом нашим была Христиания. А потом — ведь и вы тоже, господин адвокат, — разве мы не жили в Христиании все наши учебные годы? Разве не там мы получили, так сказать, наше крещение? Разумеется, первые основы были заложены в нас дома, в наших просвещенных семьях, но наше развитие в смысле мировоззрения, взглядов на политику, театр, искусство, науку — все это дала нам великая Христиания. Мы — оттуда.

— Да, да, мы — оттуда.

Фру Иргенс доложила, что обед подан. Марианна и Виллац вошли во комнату. Доктор сказал:

— Да, особенно возвышенной музыкой вы нас не попотчевали, но все-таки спасибо. Могу я иметь честь? — сказал он, подставляя руку. — Или, может быть, фрекен это неприятно?

— Нет, почему?

— Мне показалось, что улыбка сбежала с ваших уст.

— Я только подавила преисполнивший меня восторг.

— Да, да, скоро вы совсем избавитесь от меня, фрекен Марианна, — говорил он, идя с нею в столовую.

— Доктор переводится, Марианна, — пояснил ей отец.

— Не может быть, доктор?

— Совершенно серьезно.

После этого Марианна смолкла, и доктор, уважая ее молчание, не хотел мешать ей. Он обратился к Виллацу и заговорил о музыке, о пении, об опере.

— Когда же у нас в стране будет постоянная опера, господин Виллац Хольмсен?

— Когда страна будет достаточно богата,— ответил Виллац. Он заметил, что, произнося его имя, доктор выговаривает его как-то особенно отчетливо, но не мог решить, делается ли это с намерением оскорбить его.

— Если вы будете так бедны, я выпишу к вам оперу на торжество открытия,— сострил адвокат.

Виллац ответил:

— Если вы будете настолько богаты.

— Вот как, на это надо большие суммы!— сказал адвокат с надменной улыбкой.

— Мне редко приходится так изысканно обедать, как у вас, господин Хольменгро,— сказал доктор.

— Совершенно согласен, — подхватил адвокат, большой любитель покушать.

— В особенности хорошо готовит фру Иргенс один салат,— фру Иргенс, как это ваш муж умер в молодых годах при таком-то салате!

Фру Иргенс поблагодарила, улыбаясь:

— Доктор находит? Очень рада!— Она тоже хорошо знала гостей и постаралась хорошенько угостить их, а, приготовляя компот из каштанов, сделала даже маленькое открытие,—правда, по ошибке,— она смешала ваниль с лимоном. Но компот приобрел совершенно новый и своеобразный вкус.

И так как фру Иргенс до некоторой степени открылась возможность поговорить, она не могла удержаться, чтоб не обратить внимание господина Хольменгро на новую проделку одного из его рабочих:

— Сколько времени мы будем терпеть это? Положительно это заходит слишком далеко!— говорила она.

— Что такое опять случилось, фру Иргенс?— спросила Марианна.

— Да, я скажу вам, хотя раньше не хотела говорить. Несколько дней тому назад у Теодора из Буа были танцы в сарае. И вот к нам приходит парочка, Флорина, девушка, что служит у адвоката, и с ней Нильс из Вельта, они приходят и зовут с собой компанию на бал, а Флорина в желтом манто. Марсилии нашей очень захотелось пойти, но у нее не было кавалера, и хотя, правда, с ней вызвался пойти Конрад, но у него не было башмаков. И что же? Конрад идет наверх и берет пару башмаков господина Хольменгро!

— Что он сделал? — спросила Марианна.

— Наверху. В доме. Новые лакированные башмаки, которые господин Хольменгро привез из города в последнюю поездку.

Молчание. Доктор спросил:

— Кто такой Конрад?

— Один из поденщиков. Да, и пошел с горничной Марсилией на бал. Плясали до утра. Когда пришли домой, Конрад был пьян, швырнул башмаки на место в том виде, в каком они были, так они и стоят до сих пор. Хорошенький у них вид! Хотите я принесу?

— Нет,—сказал господин Хольменгро.

— Как взгляну на них, как вспомню, какие они были новенькие и блестящие, мне так и хочется... И вы думаете, что так может продолжаться?..

Адвокат предложил вычитать из заработка поденщика, пока не наберется сумма на новые башмаки. Это очень просто.

— Да, неправда ли! — коварно подхватила Марианна. — Как по твоему, Виллац?

— Да, конечно, — сказал Виллац. — Но только не выйдет ли это похоже на то, что господин Хольменгро собирается торговать башмаками?

Все посмотрели на господина Хольменгро, а он улыбался.

— Я думаю, мы подарим ему башмаки, фру Иргенс, — сказал он.

— Да, да! — отозвалась фру Иргенс, обиженно мотнув головой. — А потом он снимет с вешалки платье. Но так ведь всегда бывает, это не в первый раз.

— Не стоит из-за этого волноваться, фру Иргенс,—равнодушно сказал господин Хольменгро.

Но господин Хольменгро, видимо, очень хорошо владел собой, что мог сидеть совершенно равнодушно, исполнять роль хозяина и чокаться с гостями. Когда фру Иргенс упомянула о башмаках, рот его сейчас же покривился, как будто его что-то укололо, может быть, ему стало больно, что даже и прекрасные башмаки, дорогие масонские башмаки, и костюм на шелковой подкладке не внушают уже уважения.

Адвокат находил, что с поденщиком необходимо что-нибудь сделать.

— Я должен согласиться с фру Иргенс, — сказал он.—В общем, этот народ сядет нам на голову, если мы не примем мер.

Помещик отлично знал, что „Сегельфосская газета“ постоянно нападала на него и что адвокат это допускал. Но он ничем не подал виду, что это ему известно.

— Еще стаканчик, господин адвокат? Не будем портить себе жизнь из-за пустяков.

Марианна чокнулась с отцом и произнесла следующую речь:

— Папа, в качестве твоих детей, я хочу сказать тебе, что ты лучше всех на свете!

Заговорили о возрастающем злоупотреблении флагами в Сегельфосе; адвокат снова взял слово:

— У нас теперь махают флагами каждый божий день, неизвестно зачем. Сегодня появился флаг еще на одном доме—у нового фотографа, который только что приехал. У кого только теперь нет флага? — Адвокат пересчитал по своим привычным пальцам: восемь штук, девять штук — прямо красно от флагов! Куда ни шло, если мы, так сказать, рожденные и выросшие с флагами, поднимаем флаг в день рождения или какого-нибудь семейного события; но представьте себе, что Теодор-лавочник станет поднимать флаг в день рождения Пера-лавочника!

Вино делает людей честнее и откровеннее, не правда ли? Доктор Муус сказал:

— Вы поставили мне на вид, что я не уроженец Христиании. Позвольте теперь мне спросить вас: разве у вас нет газеты и вы не можете обличать непорядки? А что делает газета?

Адвокат на минуту онемел, а доктор Муус оглядел всех, пожиная награду за свою справедливость. То был знаменательный час, он осадил своего доброго друга.

— Мне принадлежит значительная часть „Сегельфосской газеты“, — ответил адвокат, — но я ее не редактирую.

— Когда вы заговорили о злоупотреблении флагами, я убедился, что вы правы, — сказал доктор, снова искусным образом уязвляя своего друга. — Когда я получил флаг на свой докторский дом, я был один, а нынче у всех флаги, у пономаря, у кузнеца, у Якоба подмастерья, у Оле с Зеленого Вала, все махают флагами день и ночь. Я теперь перестал.

— Я пользуюсь этим случаем, чтоб заявить, что я не редактирую „Сегельфосскую газету“, — начал адвокат Раш с большей торжественностью, нежели требовалось. Вид у него был очень честный, в лице и во всей фигуре появилось выражение чистосердечия, сверхъестественной правдивости. — Я устроил в газету этого бледного типографа, при этом у меня было одно маленькое соображение частного характера, план на будущее, но в этом я никому не обязан отчетом. Я помог также этому человеку наладить дело, он сам редактирует газету, пока ее набирает. В некоторых случаях, не часто, я писал для него заметки или статейки, или направлял его, вот и все. Я сам часто бываю недоволен тем, что появляется в газете, но не могу же я вмешиваться по всякому поводу, на это у меня даже нет времени.

— Разумеется, нет! — сказал господин Хольменгро. Делая это замечание, он наверное надеялся, что адвокат в будущем изменит направление газеты. Ведь помещик сам устроил адвоката Раша в Сегельфосе и представил его владельцам имения, неужели он так-таки совсем без стыда? Неужели он позволит своей газете и впредь натравливать на него рабочих?

— Я вовсе не имел в виду нападать на вас, дорогой друг! — сказал доктор. — Ваше здоровье!

— Ваше! Я очень благодарен вам, что вы дали мне возможность разъяснить недоразумение, — ответил адвокат формальным тоном. — Я стою и буду стоять в стороне от редакции „Сегельфосской газеты“.

Заговорили об обыкновенных вещах, городских, деревенских новостях: пастор Ландмарк только что обзавелся одноконной бричкой, которую смастерил всю сам, до последней спицы.

— Нда, это, конечно, очень хорошо, — сказал доктор Муус, — но должностное лицо, священник... чем же это кончится?! Я представляю себе своего отца и деда, как бы это они, со своими-то руками, стали бы работать рубанком!

О войне на востоке, падении Порт-Артура не обмолвились нисловом.

Вино, может быть, содействует тому, что у подчеркнуто молчаливых людей развязывается язык, — да, несомненно, так. Молодой Виллац вдруг передал помещику поклон от Антона Кольдевина, — он скоро приедет, уже в пути: отец его, консул, был болен, а то он приехал бы раньше.

— Консула Кольдевина я помню очень хорошо, — сказал господин Хольменгро. — Он был посредником при моей сделке с вашим отцом, мы торговались однажды в летнюю ночь при ярком солнце. Консул был очень любезен и все время шутил.

Адвокат снова стал самим собою:

— Жаль, меня в то время здесь еще не было, — сказал он, — а то посредником был бы наверно я.

— Без сомнения!

— Да, да, господин Хольменгро, это благодаря вам я получил место и поле деятельности. Кстати, вы давно не видали моей рощицы? Великолепна, невообразима, не правда ли, доктор?

— Поразительно. Как я уже говорил, не хватает только соловьев. А когда, собственно, вы предполагаете устроить ваш праздник в саду, господин Раш?

— Скоро. Как только перевалим за половину лета. Деревья к тому времени еще подрастут, по крайней мере на вершок. У меня теперь есть фонтан, господин Хольменгро, и я веду переговоры

с одним литейным заводом относительно двух статуй для сада. И знаете, что мне пришло в голову? Хорошо, что к нам приехал фотограф. Он сфотографирует праздник и сделает отличное дело, все участники пожелают иметь такую фотографию.

Фрекен Марианна посмотрела на него узенькими и хитрыми глазами и сказала:

— Но сначала он наверное сфотографирует конфирмантов.

Когда кончили обед и отпили кофе, доктору Муусу удалось поговорить немножко с фрекен Марианной наедине. Он завел речь о перемене, ожидающей его скромную особу, о его предстоящем переводе; это действительно его твердое намерение — покинуть Сегельфос.

— Что сказать, люди встречаются и расходятся. Мы встретились, фрекен Марианна, а теперь...

— Cis, h, e, доктор! „Тихо и с задушевной мягкостью“, вот так: cis, h, e.

Доктор посмотрел на нее сквозь свои огромные очки.

— Что это такое?

— Романс.

— А-а, мы опять деточка! — сказал он со смехом. — Или гидра выползла из своего ящика?

— Из своей спичечной коробочки. Доктор, не вздумайте мне рассказывать, что в последнее время вы не очень частый гость в пасторской усадьбе.

— Ах, вот как! — Он стал оправдываться, оберляться: что она хочет сказать? Пасторша порядочная женщина, у них общие симпатии, культура... — Да нет же, на что вы намекаете? Ведь дочери ее уже конфирмовались, младшая в прошлом году. С чем же это сообразно?

— Ах, не в этом дело, не в конфирмации! А они обе большие и хорошенькие.

— Этого я не отрицаю, — сказал доктор. — И, разумеется, в семье ко мне относятся благожелательно, и я бывал там несколько раз. Обе барышни и мать живут своею собственной жизнью, пастор ведь не много с ними бывает, он занят своей мастерской. Так что вы поймете, что общение с образованным человеком им не неприятно. Но от этого до чего-либо большего — дистанция большая.

— Вы ее пробежите, доктор, — сказала Марианна.

Тогда доктор поклонился и сказал:

— Это звучит так, как будто вы мне это советуете. Значит, вам самой нисколько не интересно, будет ли это продолжаться.

— Cis, h, e...

— Нет! — доктор опять поклонился и отошел от деточки.

Господин Хольменгро проводил своих гостей до самой дороги, простился с ними и сказал, что пройдет на мельницу.

— Вы позволите мне пойти с вами? — спросил Виллац.

Ожидал ли господин Хольменгро этого предложения, а может быть даже нарочно так подстроил? Он был достаточно хитер для этого. Его влюбленность в молодого человека, радость по поводу его возвращения, общения с ним имели свои разумные причины: молодой Виллац напоминал ему о времени, когда он приехал в Сегельфос сказочным королем и был своим человеком в доме лейтенанта, жил и строился у него. Вот это были времена! Теперь времена переменились, король был низложен. Может

быть, один из Хольмсенов снова войдет в его жизнь и поддержит его.

Мужчины медленно шли в гору по дороге, было около полудня, жарко, навстречу им попадались рабочие с мельницы, которые имели обыкновение именно в эту пору дня удирать с работы. Уж не расчитал ли помещик это обстоятельство и не хотел ли он поставить Виллаца лицом к лицу с безобразием?

Но молодой Виллац, повидимому, пока еще ничего не замечал.

— Забавные люди! — сказал он про доктора и адвоката. — Когда они говорят, мне сразу становится понятно, почему китайцы едят палочками.

Что он имел в виду? Их ограниченность, тесный кругозор, ничтожество? Адвокат несомненно был карьерист, но доктор Муус, выступавший в роли лидера, был ему противнее. Осталась ли в молодом человеке некоторая доля чванства от его школьных лет в Англии, немножко gentry? И не замешалось ли в его взгляды немножечко геральдики, унаследованной от предков? Может быть, он думал, что доктор — большой щеголь, ходит в башмаках с подшитыми подметками, а на спине его сюртука видны ясные следы от спинки стула. И такие-то сорочки он считает элегантными? Но все это ничего, если бы он мог еще посмотреть на самого себя с высоты своего величия.

А думал ли Виллац Хольмсен Четвертый когда-нибудь о том, кто такой он сам? Товарищи наверное иногда напоминали ему об этом и высказывали свое мнение. Правда, иногда он шутил, говоря, что он — последний отпрыск рода, соглашался, что он — старинный портрет, сбросивший с себя раму. Но, —

говорил он, — немножко эстетики, немножко щегольства, кое какие унаследованные деньжонки, земельная собственность, разве все это вместе составляет банальную личность? Разумеется, при случае, он признавал, что насчитывает от рождения всего двести лет. А его род? Он повелся от лакеев и льстецов, стоял за стульями, потом выслужился в домоправители, надсмотрщики, получил власть, стал выскочкой и наконец приобрел богатство. С этого момента началось первое поколение. Четыре поколения сменили друг друга в возрастающей роскоши и утонченности, — теперь род вымирал. Таков закон жизни. Скажите, пожалуйста, что в этом замечательного? Разве не откроются новые лазейки, и в них не прокрадутся другие: другие мошенники и лизоблюды?

Да, вино развязывает языки, Виллац говорил, высказывался:

— Они нигде не пускают корней, они стремятся только на юг, — сказал он опять про адвоката и доктора. — Что это за типы? Чиновники. Я все более и более убеждаюсь, что отец мой был прав: чиновник — низший тип во всяком народе, это фабрикат. Купец, делец — у него все в опасности, он спасает свое существование тем, что вкладывает его в дела и рискует им, он не уверен ни в чем, он каждую минуту должен побеждать. Его жизнь посвящена работе, спекуляции и волнениям, он идет навстречу своей судьбе: удаче или разорению. А что переживают чиновники? Отставка, старая материя на новом месте. А аристократия? Ее сила заключалась в том, что она владела землей и домами, что у нее был больший или меньший мир, над которым она могла властвовать: из ворот ее выезжали лошади на ее собственные поля и дороги, множество

народа жило обработкой ее земель. Она не только полагала основу роду, но и укрепляла его корнями в данной местности. Когда аристократия была истреблена, ее место заняли чиновники. Почему? Потому что у них были больные руки, они только и могли, что сидеть и ничего ими не делать, они засели в администрации, сидели и писали. Они изнежились от такой служебной работы, как писание букв. Чиновники могут оставаться чиновниками, от отца к сыну, на протяжении несчетных поколений, они не рискуют при этом абсолютно ничем, самое большее могут остаться за бортом, провалившись на экзамене. Они будут продолжать это немудреное и глубоко заурядное занятие, которое они унаследовали и за которое получают свое маленькое годовое жалование. Где сдали деды, там приходит внук, его прошлое определяет его будущее, путь известен, остается только итти по нему. А вот, с выдающимися людьми происходит иное: богатство не наследуется до бесконечности, оно кончается в третьем, в четвертом колене; гений умирает вместе с его обладателем, может быть, он возродится еще раз, может быть, нет. Великие люди истощают до дна всю силу рода; если бы было можно, им бы следовало запретить производить на свет сыновей, а только дочерей. Чиновники же могут без всякой опасности рождать сыновей и посредственностей, сколько хватит сил.

Ах, как молодой Виллац спешил высказаться, как вино развязало ему язык и сделало его податливым!

В заключение он сказал:

— Чиновники — ниоткуда, им надо только на юг. У них никогда нет собственного угла, они живут на чужой земле, в чужих домах. Представим себе, что мы из поколения в поколение бездомны, какая-

то перманентная божья немилость! У детей нет родного дома, где бы они родились и выросли, они переезжают из своего первого, второго, третьего местожительства, потому что родители стремятся все дальше и дальше на юг, и, когда они переезжают, за ними волочатся их корни. Мне жаль их, они дети, но корни их тащатся за их скарбом. Потом, много лет спустя, они, быть может, попадут в такое место, где протекло их детство. Они являются туда в качестве туристов и смотрят на все без слез на глазах. Может быть, им вспомнятся маленькие переживания вот у этого камня, у той березки; вон там в ручье они пускали щепки. И они смотрят на него несколько секунд. Потом уходят. И едут дальше. Взгляните на этих людей: они так долго сидели согнувшись над столом, что спина у них выгнулась, руки их ни на что не годны, почти у всех очки на носу. Признак того, что ученость, вливаясь в их мозг, высосала из их глаз зрение, они не видят. Эти люди — аристократия страны. Вот они!

Молодой Виллац мог развернуться во всю, никто ему не противоречил. Но когда он сидел с товарищами, то, конечно, ему случалось выслушать резкий и заслуженный ответ: — Ха, говорит отпрыск, дворянчик, он знает свой урок, ему втолковали его отец и четверо дедов. Мой отец был судья, его отец не дослужился даже до лейтенанта, кто же из них был важнее? А кто он сам, сын-то? Деревенский помещик. Что из него может выйти? Спросите оракула. Когда нет надобности выдержать экзамены, тогда все делается спустя рукава, учение бросают и возвращаются в свое поместье, в деревню. А там имеется какая-нибудь старая прислужница для ухода за ним.

Отпрыск, дворянчик здесь не при чём, у него есть прислужница, она досталась ему по наследству, она в кружевном чепце и с кроткими глазами. Если когда-нибудь утром он залежится в постели, она приходит и спрашивает, не захворал ли он; если он слишком долго сидит в кресле, она заставляет его под каким-нибудь предлогом встать, чтоб он не досиделся до беды. Потом он умирает. Прислужница возлагает на могилу цветы. Таков конец. И заметьте, умирают лучшие из отпрысков, из дворянчиков, умирают покорившиеся, разочарованные. Господин Виллац Хольмсен, противятся смерти и выживают самые ничтожные, самые бесполезные!

Но у каждого свое, над чем подумать; у господина Хольменгро тоже было свое. Может быть, в речах молодого человека он узнавал отголоски речей лейтенанта, его отца, который во всем, что говорил и делал, обнаруживал те же мнения. Господину Хольменгро еще слышался голос старого лейтенанта, слова его были горьки и сильны, в устах сына они становились довольно безобидными. Пожалуй, есть кое что верное в том, что крупным людям не следует производить на свет сыновей.

Господин Хольменгро отвечал: — Да, да, да, — кивал и слушал, но думал о своем. Разве молодой Виллац не видит этих шатающихся рабочих, беспорядок? Его отец, лейтенант, устремил бы свои серые глаза и задал бы короткий вопрос.

Некоторое время они шли молча.

— Это ваших людей мы встретили там внизу? — спросил Виллац.

— Да.

— Они не кланяются?

— Иногда, — ответил господин Хольменгро. — Как же, некоторые кланяются.

— Но почему же они вам не кланяются? Ведь вы же их хозяин?

— Вероятно, потому, — сказал господин Хольменгро, — что природа, производя хозяев, не всегда на высоте творения.

— Вы объясняете этим? — спросил Виллац.

— Ваш отец был настоящий хозяин. Я часто вспоминаю о нем и о его коне. Ему стоило только поднять палец, и люди его слушались.

— Еще бы они не слушались!

— И в то же время он был добрый человек. Он стоял твердо, потому что от него зависели очень многие, он знал, что если он пошатнется, то упадет целая сотня.

— Да, так и было, — сказал Виллац. — Вон идет еще один, посмотрим, поклонится ли он!

Господин Хольменгро взглянул, точно только сейчас заметил человека, и сказал:

— Не поклонится. Это Конрад.

— Какой Конрад? Тот, что взял ваши башмаки?

Господин Хольменгро скорбно улыбнулся:

— Да, это была одна из его выходок.

— И вы продолжаете держать его у себя на работе?

— Я держу его потому, что его товарищи за одно с ним и объявят забастовку.

— И пусть их бастуют! — сказал Виллац.

Конрад поровнялся с ними и прошел мимо. На ходу он застегивал обшлаг рукава, притворяясь, будто очень этим занят.

— Он не поклонился, — сказал Виллац. — Чего, собственно, добиваются эти ваши ребята?

— Не знаю. Они прогуливаются, берут свободные часы, они ввели эту моду. Вон я вижу, некоторые сидят в лесу.

Виллац взглянул на господина Хольменгро и понял, что сказочный король ослабел, губы его слегка дрожали, радужная оболочка глаз посветлела и стала водянистой. Да, он постарел.

Виллац остановился и сказал:

— Позовите этого человека! Спросите его, куда он идет.

Господин Хольменгро повиновался и крикнул:

— Конрад, поди, пожалуйста, сюда на минутку!

Виллац поразился просительной формой и тем, что помещик сделал два шага навстречу своему слуге: уж не думал ли он, что это поможет? Конрад не поторопился из-за этого. И когда, наконец, он медленно и вяло приблизился, он не стал ждать, что ему скажут, а сам спросил:

— В чем дело?

Господин Хольменгро спросил:

— Куда ты идешь?

— Куда я иду?— переспросил Конрад. — Да никуда в точности.

— Разве сейчас не рабочее время?

— Другие отдыхают, и я тоже пошел.

— Ступай назад работать, — сказал господин Хольменгро.

Может быть, Конраду все это показалось немножко странным, немножко удивительным, он почувствовал что-то новое, какую-то перемену: у помещика появился голос, сказав два слова, он не спешил повернуться, чтоб спрятаться. Кроме того, он был не один, с ним был еще барин, тоже помещик, что бы это значило?

— Что ж, я пойду, пожалуй, если и другие тоже пойдут,—сказал Конрад и пошел.

— Что там такое, Конрад? — крикнули ему с опушки.

— Велят итти работать, — ответил Конрад.

— Пойдем, ребята, посмотрим!—сказали на опушке.

Вперед выступил Аслак, высокий широкоплечий детина с трубкой в зубах. На нем была фуражка с козырьком и зеленая куртка, на ногах высокие сапоги с пряжками на голенищах. Двое других рабочих последовали за ним, они были в одних жилетах и в соломенных шляпах, курили папиросы.

Процессия двинулась по дороге. Конрад отстал и пошел со своими товарищами, между ними начался оживленный разговор.

— Посмотрим! — говорил Аслак.

Господин Хольменгро шел, поникнув головой, и думал. Поникнув головой? Ведь это же не подобающая осанка для короля. Может быть, он преследовал определенный план и хотел ковать железо, пока оно было горячо. Когда пришли на мельницу, он спросил Бертеля из Сагвика:

— Разве тебе не нужны эти люди, Бертель, что они разгуливают в самое рабочее время?

— Как же не нужны! — ответил Бертель.

Оле Иогана подстегнуло его непобедимое любопытство, и он подошел.

— Еще бы не нужны! — сказал он.

— Да ведь они же уходят, куда хотят?

— Такой уж у них обычай, — сказал Бертель.

— Хм. У нас такой обычай, да! — послышался голос Аслака.

Господин Хольменгро повернулся к рабочим и сказал:

— Да, но впредь у нас такого обычая больше не будет.

— Вот что, — сказал Аслак. — Это вы один так решили?

— Да.

— Ага! А я-то, дурак, думал, что и нас тоже это немножко касается.

— Нет.

— Ха-ха. Что-то вы очень стали храбры!

— С нами уж больше не считаются, ребята! — сказал Конрад.

Ропот. Все больше и больше рабочих прекращало свою прогулку и подходило, понимая, должно быть, что заваривается какая-то каша. Аслак курил и плевал; когда трубка догорела, он зажег несколько спичек сразу и не двинулся с места. Он был высок и силен, может быть он был уверен в своей правоте.

— Идите работать, ребята, — приказал хозяин.— Становитесь на работу, кто хочет работать, остальные могут уходить.

Краткое молчание.

— Что ж, мы опять стали рабами, товарищи?— спросил Аслак.

Помещик цыкнул на него и сказал:

— Ты-то во всяком случае можешь уходить, Аслак!

Наверное, никогда не слышал Аслак таких речей от хозяина; он позабыл про курение, с ним случилось неожиданное. Овладев собой, он начал объяснять, что этот перерыв в середине дня они установили два года тому назад и не уступят его, и кончил тем, что если уйдет с работы он, то уйдут и еще многие.

— Мы все уйдем! — ответили ему.

Эта поддержка рабочих помогла Аслаку, очень помогла: он почувствовал уверенность и злость, заговорил с хозяином дерзко, стал его „тыкать“ и называть Тобиасом.

— Мы знаем, откуда ты явился, — сказал он, — ты родом с острова и тебя зовут Тобиас, не воображай, что ты римский папа. Потому что если ты скажешь еще хоть одно слово, я уйду, — сказал Аслак.

— Да, пойди к смотрителю пристани и получи расчет, — кивнув головой, сказал господин Хольменгро.

Но, верно, у Аслака имелся про запас очень солидный аргумент, крупный козырь; он усмехнулся от злобы и обиды. Увидев молодого Виллаца, который стоял несколько в стороне, не задеваемый перебранкой, он спросил:

— Уж не он ли придал тебе сегодня такую прыть, Тобиас?

— Сейчас же принимайтесь за работу или уходите! — громким голосом крикнул помещик. — Ты, Конрад, тоже можешь уходить.

Но Аслак уже поставил молодого Виллаца в связь с катастрофой, он не мог так быстро его бросить:

— Может, это твой зять? — спросил он помещика. — Так давай его сюда, мы с ним поздороваемся! — Наконец, он понял, что вместе с ним уволен и Конрад, лицо его сразу посветлело от вескости его аргументов и козырей, и он сказал: — Ага, это мы с тобой попали, Конрад!

Решение было принято и высказано, господин Хольменгро со своим спутником пошли дальше по дороге. Помещика, видимо, не особенно радовало его мужественное поведение, он шел согнувшись. Это

было непонятно: королю ведь надлежало бы высоко нести голову, старый моряк и искатель приключений собственно должен был бы жалеть, что дело не закончилось двумя-тремя револьверными выстрелами. Он посмотрел на молодого Виллаца своими водянисто-голубыми глазами и сказал:

— У меня уже несколько лет не было никакой радости.

Было ли это откровенностью со стороны высокомерного барина?

Аслак кричал им вдогонку:

— Ты не любишь Конрада, я понимаю, он забрал твои башмаки на пляс. Ха-ха... господи, помилуй! А куда ты сам-то ходишь плясать по ночам, Тобиас? Ты думаешь, мы тебя уважаем, фармазонишка ты этакий! Ты ходишь по избам и по сеновалам, немало народу тебя там видело! Ты пляшешь под одеялом!

Аслак продолжал орать. Это был его козырь. Стоявшие вокруг него рабочие заливались хохотом. Господин Хольменгро, видимо, торопился уйти подальше, он смиренно улыбался и тряс головой, словно желая сказать: слыханы ли когда подобные обвинения? Виллац побледнел и остановился.

— Одну минуту! — сказал он, поворачивая назад.

И пошел тихонько, снимая на ходу перчатки.

— Вон идет зятек, — сказал Аслак, — давайте поздороваемся с зятем!

Виллац подходит к нему. Мелькнуло в воздухе, и Аслак на земле. Что такое — он ударил рукой! О господи, вот так кулак, твердый, английский, ни звука со стороны жертвы, а в нем самом какой-то срыв, гибель!

Толпа отступает, кто-то пятится задом, Виллац идет за ним.

— Это меня вы хотите, но ведь я ухожу, — жалобно говорит Конрад.

Услышав эти слова, товарищи вспоминают, в чем дело: их просили сейчас же приниматься за работу или уходить. А вот возвращается и помещик, начальник, хозяин идет, все может остаться по старому, стоит им только вернуться на свои места. Ударил ведь не хозяин, хозяин не дрался...

Они начали подталкивать друг друга и шептаться, по двое отходят к работе. А беднягу Конрада трусливо предоставляют самому себе. А Конрад покидает Аслака. В этом вся беда: они приехали сюда на велосипеде, ходят в сапогах с пряжками и сезонных костюмах от Теодора из Буа, они применились к внешней и неимеющей цены стороне народившегося городка, но характер их не изменился. Да, все ничтожество их налицо.

Господин Хольменгро имел очень удивленный вид, но он был бы глупцом, если б не испытывал удовольствия. Господин Хольменгро — глупец? Все, только не это. Но он был, видимо, сбит с толку.

— Извините, что я заставил вас присутствовать при этой сцене, — сказал ему Виллац.

Аслак пошевелился и сел, он хватается за голову, встает, разыскивает свою фуражку и уходит. Пройдя несколько шагов, он оборачивается и смотрит на двоих господ, потом идет вниз по дороге. Внизу он нагоняет Конрада. Они идут к начальнику пристани за расчетом.

— Да, вот так оно и есть, — говорит господин Хольменгро в пространство. — Или, что это я хотел сказать? — говорит он. — Вот я несколько лет просил их, а они только упрямились. Бертель, куда они девались? Пошли работать?

— Похоже на то.

— Они уступают перед кнутом, — сказал Виллац, нахмурив брови.

Господин Хольменгро качает головой, матрос в нем ухмылялся, но человек видел дальше: дня через три история, может быть, повторится, Аслак ведь не умер, дух его не умер.

Они идут по дороге, и Виллац говорит:

— Извините, в вашем деле я не при чем. Этот человек несколько раз требовал, чтоб его допустили ко мне, и я пошел к нему по собственному почину. Я поздоровался с ним.

— Да, да, да, — сказал господин Хольменгро.

Был он жалок или умен? Боялся он обидеть свою опору? Или не хотел? Не годится сказочному королю обнаруживать себя слишком явно, лучше ему оставаться мифом. Но удивительнее всего было то, что господин Хольменгро вдруг начал ломаться и хвастать:

— Эти люди воображают, что я уже не богат, поэтому они и утратили ко мне уважение. Я несколько сократил производство, понес некоторые убытки, два раза повышал цену на муку, во всем этом они видят дурные предзнаменования. Ну, — он вдруг помолодел, и голос его стал энергичен, — у меня достаточно средств, чтоб терпеть убытки до конца жизни. Но ведь не могу же я сказать им этого. А средств у меня хватит!

Снова король! Ах этот Хольменгро, как он умел вынырнуть, блистая, из сказки и снова нырнуть, оставив за собой золотую дорожку!

— На востоке война, — сказал он. — Япония сейчас покупает тоннаж на вес золота.

Виллац взглянул на него. Да трезв ли этот человек? Виллац спросил из вежливости:

— А у вас разве есть дела и с Японией?

— У меня длинные руки, — ответил господин Хольменгро с улыбкой. — В свое время я вел дела с Кубой, с Порто-Рико, с Филиппинами, Антильскими островами, с Ямайкой.

Сказка. Да, конечно, господин Хольменгро — король. Он прибавил:

— Но не могу же я все это рассказывать этим людям, и потому они думают, что могут смотреть на меня сверху вниз. Между прочим, у меня давно был план, о котором я собирался поговорить с вами. Но я не хочу мучить вас сегодня, после этой сцены.

— Наоборот. Мне очень интересно...

— План зародился еще при жизни вашего отца, но я не успел обсудить его с ним. Вы владеете большими лесными пространствами, пастбищами на целые мили. Вы могли бы сдать их мне в аренду или продать.

— Там нет дичи, — ответил Виллац.

— Нет, дичи нет. Поэтому они для вас бесполезны. Я стал бы там пасти овец для экспорта.

Виллац кивнул головой: старики Кольдевины тоже развели сотни две экспортных овец.

— У меня было бы побольше. Я начал бы с малого, с тысячи штук, но постепенно увеличил бы. Ну, может быть, я начал бы с двух тысяч, но во всяком случае это — пустяки, в Мексике я видел совсем другие стада. Но, как вы говорите, там нет дичи, ни волков, ни медведей, скот может ходить без призора. В горах есть вода, он может пить, может доходить до самого моря, на берегу есть водоросли. Местами на горных площадках имеются небольшие скалы, которые могут служить прикрытием во время непогоды. Место очень подходящее. Подумайте об этом при случае и сообщите мне свое решение.

— Я подумаю.

Мужчины простились, и Виллац свернул к своей усадьбе. Она виднелась перед ним в профиль, со всеми крышами, рисовавшимися на западе, и с полями, спускавшимися к морю. Когда-то, в великом прошлом, его домом был весь Сегельфос.

X

„Мы полагаем, — писала „Сегельфосская газета“, — что самоуправство и побои — абсолютно неприемлемый способ воздействия, представляющий в наших краях исключительное явление. Нам известно, что подобное самоуправство имело место несколько дней тому назад, и виновник его — человек, от которого, казалось бы, нельзя ожидать такого рода опрометчивых выступлений. Дело передано в суд. Напоминаем вновь золотые слова, под которыми вместе с нами подпишутся и все благомыслящие люди, а именно: что в стране нашей есть закон и право, что ясные веления закона равно распространяются на высших и на низших и что никто не ускользнет от его действия“.

Виллаца вызвали на какое-то особое разбирательство; это была не примирительная комиссия и не полицейское дознание, по названию-то считалось расследованием, на деле же все свелось к тому, что старый ленсман из Ура отнесся ласково и благодушно к обеим сторонам и примирил их. Так он действовал всю свою жизнь, и это был наилучший способ. Правда, Аслак привел и поденщика Конрада, и других свидетелей, так что по началу дело, казалось,

примет серьезный оборот, но в свидетелях не встретилось нужды, господин Виллац Хольмсен не отрицал данной им затрещины и спросил, сколько за нее причитается. Ленсман посмотрел чрез очки на Аслака, Аслак подумал и сказал цену.

— Это слишком мало! — заявил господин Виллац Хольмсен, и ленсману вдруг показалось, что он слышит голос его отца, лейтенанта.

Затем молодой Виллац заплатил вдвое больше. Это была удивительная сделка, покупка голов для вышибания из них памяти.

— Но,— сказал молодой Виллац, выложив деньги,— в следующий раз, когда этот человек заслужит от меня оплеуху, я ударю больнее.

— Да, — сказал ленсман, не для того, чтоб подлить масла в огонь, а наоборот, чтоб сгладить, — да, но в таком случае последует новый штраф!

Виллац ответил:

— Я опять его заплачу.

Тот номер „Сегельфосской газеты“ был очень содержателен, в нем была, например, статья самого адвоката Раша, передовица о театре. Это было воплощенное остроумие и знание дела. „Поистине“, — писал адвокат, — не малое достижение, особенно со стороны странствующей труппы, дать первоклассное воспроизведение такой ответственной пьесы, как „Ядовитая змея в пещере“. Он разобрал всю пьесу и ее выдающиеся моменты; но, — говорил он, — блестящим исполнением этой пьесы мы обязаны прежде всего примадонне госпоже Лидии. Она несравненна, как актриса, и провела свою роль так, что зал гремел от рукоплесканий. Во многих сценах, особенно в сцене с отравленным кубком, она возвышалась до истинно трагического величия и вызывала в памяти

подобные же сцены в исполнении знаменитейших артисток. Из прочих исполнителей прежде всего следует назвать фрекен Сибиллу Энгель, которая своей ослепительной внешностью и своей игрой заслуживает всяческой похвалы. Сам глава труппы играл генерала. Он дал тип старой школы. Несколько меньшая бравурность произвела бы, конечно, тот же эффект, но в отдельных репликах он был великолепен. Остальные участники и участницы пока еще не выступали в крупных ролях, в которых могли бы проявить свои дарования, но надо надеяться, что эти отменные артисты не в последний раз посетили наши палестины. Просвещенная публика с радостью ожидает их возвращения!"

Далее следовала критика самого театра: „Театр не должен находиться на окраине города, этого нигде не бывает. Также не принято перестраивать так называемый лодочный сарай в храм Талии; владелец здания, господин Теодор Иенсен, мог бы в данном случае без ущерба проявить больше понимания приличий. Относительно самого здания следует заметить, что оно, принимая во внимание обстоятельства, отнюдь не отвечает предъявляемым к нему требованиям, и некоторые недочеты должны быть исправлены. Со стороны специалистов высказывались замечания по поводу недостаточной вентиляции, затем следует указать, что скамейки — это, конечно, хорошо, но скамейки со спинками — лучше. Еще два слова вообще: современные посетители театров ощущают большое неудобство от неимения под рукой программы, во многих заграничных театрах имеются даже мальчики с программами по десять эре, на которые публика не скупится. „Сегельфосская газета", берется в короткий срок напечатать программы

к следующему представлению. Но что сталось с музыкой? Ведь это же значит недооценивать музыкальную жизнь Сегельфоса — за весь вечер не дать никакой музыки в антрактах! Положим, в театре были образованные люди, пожалуй слыхавшие на своем веку оркестры в составе по двадцать человек, и на таких, понятно, один рояль, как бы хорошо на нем ни играли, не может произвести особого впечатления. Но кое что все же лучше, чем ничего, а для той части публики, которая явилась, может быть, по религиозным мотивам, преимущественно ради музыки, мертвая тишина в антрактах была положительно жуткой. Мы узнали, что и в этом также повинен г. Теодор Иенсен, и советуем ему достать к следующему разу рояль. Владелец театра сделал хороший почин своим предприятием, но ему предстоит еще много потрудиться, чтобы оно оправдало все ожидания. Г. Теодор Иенсен — единственный мелочной торговец в нашем местечке, и это положение, конечно, со временем изменится; ему следует самому взять на себя инициативу в деле исправления недочетов театра, так, чтобы он сделался достойным города и не обманул ожиданий трупп, которые доверчиво обратятся к нему с просьбой о помещении". — Последние слова были обращены к публике, к Сегельфосу и окрестностям: „Есть еще люди, называющие этот дом искусства сараем; мы самым определенным образом протестуем против того, чтобы публика давала уничижительные названия городскому театру. В противном случае, это скажется на уменьшении посещаемости. Просвещенные люди несомненно откажутся от всякого наслаждения драматическим искусством, если будут вынуждены искать его в сарае".

Такова была статья адвоката Раша.

В общем и целом — нападение на Теодора из Буа, человека, привлекшего сценическое искусство в город и давшего ему приют! А как же принял это Теодор? Он защищался в своей лавке, оправдывался, как и подобало ловкому парню, каким он был, следил, когда лавка бывала полна народа, и отвечал на месте. Разумеется, он был немножко молчалив и пришиблен в первые дни, но тем сильнее отыгрывался впоследствии. „А кто такой сам Раш? Заевшийся адвокат!“ — говорил он. Больше всего его обидело, что в статье он был назван мелочным торговцем. „Я знаю торговцев и поменьше нашей фирмы, и то их называют купцами“, — говорил Теодор из Буа.

А тут еще, пожалуй, вообразят, что он стеснен в деньгах: он еще не получил расчета за свою треску, а пришлось заплатить за весенние товары, — десять больших ящиков мануфактуры, — да еще построил театр. Но Теодор не сидел без денег. В один прекрасный вечер, когда было много покупателей, он вышел из своей конторы, помахивая кредитным билетом, а начальник телеграфа Борсен как раз стоял в лавке и опять покупал на несколько скиллингов табаку. Теодор обратился во всеуслышание к Борсену:

— Видали вы новые бумажки в тысячу крон?

— Я слыхал про бумажки в тысячу крон, — ответил Борсен, — я даже слыхал, как о них говорили с уважением. Но сам не видал.

— Так вот посмотрите! — сказал Теодор.

Впрочем, это была не такая уж новая бумажка, но с ней обращались аккуратно, и она могла сойти за новую. И что за чорт этот Теодор, наверно он заставил свою мать пройтись по бумажке утюгом

и подновить ее для показа! Другого такого, как он, конечно, не сыскать! Это подумали все, бывшие там и видевшие бумажку собственными глазами.

Чего же ради хлопотал и трудился Теодор из Буа? Какова была его цель? Он не был скуп, как его отец, и не прятал деньги в стенные щели. Разумеется, ему хотелось сделаться большим человеком, большим дельцом. Ведь вот, получил же он агентуру „госенского“ маргарина на всю область, вплоть до Тромсэ! А ведь это все равно, что генеральная агентура, и все торговцы из северных местностей должны были обращаться к Теодору из Буа за „госенским маслом“ из местности Госен, где имелись хорошие пастбища! Фабрика прислала сверкающие рекламы-плакаты, и яркие цвета их украсили фасад лавки и превратили ее в некоторое подобие рая на земле.

Так что же, Теодор-лавочник был доволен?

Наступали вечера, наступали ночи. Теодор искал уединения и мечтал. Те дни, когда они еще не конфирмовались и катались на салазках, были, пожалуй, счастливейшей его порой; правда, с тех пор он возвысился от нуля до кое какой величины, но она ушла от него. Он помнит последний раз, когда он вез домой ее санки, а она была уж совсем большая девочка. „Спасибо, поставь санки здесь!“ — сказала она. Дверь распахнулась и захлопнулась. Это было в последний раз. А теперь прошли годы, он уже не мог нарисовать ей картинку, не мог сочинить песенку, он был беспомощен. Сделавшись богатым купцом, он часто думал поднести ей в подарок что-нибудь ценное из того, что получал для лавки; но с шалью из чистой шерсти вышла незадача, она вернула ее с вопросом, что это значит. Однако Теодор вывернулся: он торговец, ему хотелось распространить эти

прекрасные шали в Сегельфосе, а скорее всего это сделалось бы, если бы именно она первая стала носить такую шаль. Она ответила: Да, спасибо, но она еще не так стара и не так основательно замужем, чтоб носить шали! Посредницей в этом деле была одна из ее горничных.

После этого афронта Теодор был бы дураком, если б продолжал посылать подарки. Теодор дурак? Ни в коем случае. Но и по сию пору он откладывал в сторонку какую-нибудь особенно изящную вещицу и мечтал, что пошлет ее в папиросной бумажке, и только уж после того, как она полежит порядочно времени, он приказывал приказчикам пустить ее в продажу. Такова была чувствительная и смиренная любовь Теодора из Буа.

Наконец, он вообразил, что нашел деликатную форму внимания: когда будет театр, он станет изредка посылать ей билет, — да без этой задней мысли он, пожалуй, и не взялся бы за дело и не стал бы строить театр. Так вот и тут опять не вышло! Полдюжины билетов на торжественное открытие — ладно, куда ни шло! Но если на этом всему конец, так ему мало пользы; если же, наоборот, надо веки вечные посылать по полдюжине билетов на каждое представление, то какое же дело это выдержит, — ха, Теодор был хитряга! Кроме того, он, конечно, смекнул, что пять билетов из шести будут выбрасываться зря, так как достанутся пятерым неинтересным лицам. Нет, благодарю покорно!

Так он мечтал и горевал, сидя у своего оконца и поглядывая на ее дом. Дни были полны хлопот и суеты, а вечера — ревности и грусти.

„Прощайте, фрекен, прощай навек! Я хожу здесь по моей одинокой комнатке, чтоб бодрствовать в то

время, как ты спишь. Пусть я ничтожен по сравнению с ним, но я буду любить тебя верно и искренно до последнего своего часа. Я слишком беден и жалок, чтоб роптать и противиться тому, чем подарит меня судьба на моем жизненном пути. О, высокородная фрекен, не наступи на змею, пресмыкающуюся во прахе, это легко может принести тебе погибель, чего я не хотел бы. Но что касается до него, то гордость ведет к падению, пусть он этого не забывает! Я буду неустанно стараться возвыситься в своей отрасли, и, быть может, когда-нибудь он узнает, какого человека сделал навек несчастным. Чорт бы меня побрал!"

И на следующий день он был снова бодрым, веселым парнем.

Вот, обе руки у него в перстнях, а сам он в сером летнем костюме, красивее и не найти. Дошло до того, что он каждый день выставляет свои башмаки для чистки и является в лавку весь новенький и блестящий. Отец его в светелке наверху ничего не знает обо всех этих фокусах; бывают дни, когда он совсем не видит сына, а когда он стучит палкой в пол, сын приходит, только если у него есть время. Вот как обернулось дело. Старик Пер из Буа был человек без всяких тонкостей, зачем это летом светлая одежа, а зимой темная? Носи, что есть! Но Пер из Буа не дорос своему сыну и до коленок. Здороваясь, Теодор снимал шляпу, как делается в других городах, но никак при этом не выражался и не говорил „здравствуйте", так нигде не делается. А нынче Теодор начал приписывать на своих счетах S. E. & O. [1]), приписывал даже и на письмах.

---

[1]) Salvo errore e omissione—исключая ошибки и пропуски—обычный коммерческий термин.

— Что означают эти буквы? — спросил хозяин гостиницы Юлий, со своей всегдашней назойливостью.

— Тебе не понять, — ответил Теодор, — это полатыни, и все крупные фирмы всегда так пишут.

Ларс Мануэльсен на это сказал:

— Будь здесь мой сын Лассен, уж он-то, конечно, сумел бы объяснить!

Теодор завел копировальный пресс и копировальную книгу, завел даже несгораемый железный шкаф, из тех, что рассыпаются в пепел при первом пожаре. В нем он хранил торговые книги. Если б об этом узнал его отец, узнал бы, что его мелочная лавочка превратилась в фирму, и что фирма ведет книги!

Но старый Пер из Буа все-таки чуял, что прогресс подхватил и лавку, и сына; он, разумеется, знал про то, что Теодор вывозит на сторону треску, что вот уже давно это повторяется из года в год; недавно он узнал, что сарай превратился в огромную танцульку, замечал по разным предметам, что барство и избыток проникли в его дом и семью. Царила уже не солидная и доступная простому взору торговля.

Он постучал палкой в пол.

Пришла его жена, пришла фру Пер из Буа. С годами она растолстела и спокойно командовала теперь двумя служанками. В старину было не так, тогда она одна делала всю работу и вдобавок имела на руках несколько человек детей. Но двое мальчиков умерли от скарлатины, а две дочери выросли и обе пристроились, одна у торговца Генриксена в дальних шхерах, а другая у консула Кольдевина в Вестландии — понятно, обе были домоправительницы, камерфрау и страх какие важные особы. У фру Пер из Буа дома оставался один Теодор, и по части почета он превзошел всех. Она спокойно и медли-

тельно бродила по дому и не торопилась даже и тогда, когда муж стучал в пол. Вот как обернулось дело. Она держалась вне пределов досягаемости его палки и спрашивала, чего он так стучит, — господи помилуй, чего он так стучит?

Пер из Буа не признавал интимностей, он всю жизнь прожил, не разговаривая с женой, а если приходилось с ней говорить, глаза его смотрели довольно сурово.

— Пусть Теодор придет наверх!

— Это зависит от того, найдется ли у Теодора время, — отвечает жена.

О, прогресс заразил и фру Пер из Буа, она стала говорить изящнее, чем раньше, и старалась, чтоб выходило как можно изысканнее. Но глаза Пера из Буа не становились мягче от изящной речи.

— Я найду для вас время! — крикнул он и схватил палку.

А ведь он мог бросить палку. Эта возможность не была исключена, у него, действительно, оставался этот последний выход. Поэтому фру Пер из Буа вышла из комнаты.

Старик опять лежал один. Так он лежал все эти бесконечные годы, с разбитой параличом половиной тела, дряхлый и злой, то буйный, то подавленный. Этим летом ему даже стало хуже, душа болела сильнее. Настроение мрачное. Старый способ больше не годится: поддерживать жизнь едой? Какой толк от еды? Она только помогала тянуть существование, которое надо бы прикончить сразу. Но, впрочем, Пер из Буа совсем не желал, чтоб существование его кончилось. Разве жизнь ему надоела? Как раз наоборот! Вот увидите! Пока он чувствует в себе хоть искорку жизни, он хочет жить, он будет жить год

за годом, много лет, его жена, даже сын сойдут в могилу от старости прежде, чем он умрет. Вот увидите! Он победит и будет хозяйничать, то-то будет, над чем посмеяться, когда он перемахнет за сто лет и должен будет взять на себя управление лавкой, потому что сын будет дряхлым стариком!

Ему было над чем поплакать.

А как будто он не лил слез! Вот отняли у Буа право винной торговли, а он не мог вмешаться. Кто смотрит за бочками с патокой в погребе, кто чистит гири на весах и следит за тем, чтоб на них не садилась ржавчина, и они не становились тяжеле, чем надо? Ах, лежать с мертвой половиной тела и не иметь возможности работать в своем любимом деле! Гораздо лучше было бы отрезать мертвую половину, похоронить ее и отделаться от нее, теперь она для него только в тягость и убыток. Пер из Буа не понимал, что мертвая половина приносила ему некоторую пользу, ему следовало бы подумать, что с нею он лежал в постели гораздо удобнее, чем без нее, а когда он приподнимался и садился, она была совершенно необходима.

Теодор не шел. Ага, у него не находится времени! Посмотрим!

Здоровая рука у Пера из Буа сильна, он хватает стул и оглушительно колотит им. В лавке отлично слышно, слышно и далеко на улице, и, чтоб положить конец, Теодор находит время и идет наверх к отцу. Он уже не снимает своих колец, а выступает во всем своем великолепии; глаза отца не становятся от этого мягче.

— А-а, у тебя нашлось время прийти!

Теодор говорит с досадой:

— Не понимаю, чего ради ты ломаешь дом. Что тебе надо?

Отец с минуту безмолвен. Он бородат и лыс, звероподобен, верхняя губа его вздергивается и обнажает зубы. О-о, нежности в нем нет.

— Ха-ха-ха, чего мне надо? Я лежу и стучу в пол, щенок ты этакий, дрянь? Побеспокоил вас? Дай-ка полюбоваться на твои прикрасы, — лавка заплатит? Чего мне надо? Мне надо поговорить с хозяином, со щенком, ишь какой важный, в пору взять да подтереться. Уж не побеспокоил ли я и твою мамашу? Вздумал постучать в пол, обеспокоил ее протухлую милость! Чего ты стоишь? Присядь, если удостоишь! Тьфу!

Но Теодор не сел, отец бесился, и грозила возможность, что он швырнет палкой. Теодор отходит к окну, там он в безопасности, отец не рискнет стеклами. Впрочем, Теодор теперь не так уж его и боится, он совсем не щенок, живым его не возмешь!

Отец опять сплюнул и сказал „тьфу".

— Ты получил спички? — спросил он.

Теодор и думать забыл о детском плане насчет тысячи гроссов спичек и только сухо ответил:

— Нет.

— Так и знал, — мотнул головой отец, — не дали спичек лукавому! А соль получил?

— Нет.

В эту минуту Пер из Буа понял, что он навсегда выкинут из игры, сын даже и виду не хочет показать, будто его слушается. А-а, так! Здоровая рука его смаху и свирепо ударяет по краю постели, он вскрикивает, рука ушиблена, и в ту же секунду она немеет, немеет и отмирает, от пальцев вверх по кисти, вверх

до плеча. Он чувствует, что обе стороны его тела стали свинцовыми. Что это, что это такое? От ушибленного места на руке, от этого широкого пореза? Безделица, ничего! Он перегибается наперед и хочет яростно закусить рану, но не может дотянуться, смотрит на нее, облизывается и ворчит. Нелепое, скотское поведение, Пер из Буа беспомощен. Ладно, но никто не должен этого видеть! Он хочет замаскировать свою беспомощность, сильно приподнимает плечи, как будто ему неловко сидеть, и он отлично может поправиться; ему удается подпихнуть одну мертвую руку другой, они мягки и податливы, переваливаются, как тесто. Волна горя готова подняться в нем, но у него хватает силы справиться с собой. Он говорит — говорит словно со стихиями, с морем и громами:

— Я хочу разделиться. Девчонки должны получить свое, пока ты не разорил нас.

Ха, конечно, не о девчонках он так сильно беспокоится, он это придумал.

— А сам я возьму родительскую часть, — продолжал он, — и все должно быть написано!

Теодор не отвечал.

— Ты слышал? — закричал старик. — Пусть придет поверенный!

Теодор вышел.

Чепуха, адвокату совершенно незачем приходить. Делиться? Как это — делить лавку, разбивать на мелкие кусочки, сносить постройки? Извините, наоборот, нам надо прикупить земли, нам надо расшириться! За адвокатом не пошлют, а отец лежит в параличе и сам не может его раздобыть. Так время и пройдет.

Но ведь вот: отец может начать реветь, в конце концов, кто-нибудь услышит его с дороги и приведет

адвоката в Буа. Это вполне возможно. Ну что ж, тогда Теодор поговорит с господином Хольменгро, ему и раньше приходилось укрощать бешенство отца. А если уж ничего не поможет, тогда ревущего отца можно сплавить в богадельню!

Дни шли.

Теодор пользовался жизнью, как охотничьим полем, как пастбищем, он действовал направо и налево, и его рвение приносило ему радость. Театр процветал в качестве танцовального зала, по субботам аккуратно устраивались балы, а молодежь обладала хорошим здоровьем. Сушка рыбы на горах подвигалась быстро, недели через две можно будет погрузить всю партию на яхту и отправить, а это — большие деньги, даже за вычетом задатка; деньги на щегольство, расширение дела и приятности жизни. Теодор купил себе большой граммофон. Сначала он держал его в театре и играл там, и — господи, сколько грусти было в „Коронационном марше“ и в „Незабудке“. Его жажда деятельности могла бы выразиться и в большем: будь карусель в моде, он устроил бы большой круг с шарманкой и флагами, то-то были бы денежки! Но карусель — это шум, ярмарка и базар. Нет, а он подумывал о кинематографе, как в других городах, это модно, а денег дало бы еще больше! Ах, чего только нельзя наделать в Сегельфосе! Когда распространилась молва, что адвокат Раш готовится к большому празднику в саду, Теодор-лавочник раскритиковал в пух и прах и самый праздник, и бурду, какою там будут угощать. Нет, уж коли на то пошло, у него есть птичий остров, и на нем избушка, можно отправиться туда с граммофоном и изрядным угощением. Только бы ему залучить туда кого-нибудь из господ!

Но однажды Теодор махнул чересчур уже далеко!

Музицировать с граммофоном в театре было неудобно: народ собирался снаружи и торчал под окнами; и в сущности, было бессмысленно сидеть и наслаждаться граммофоном в одиночку, когда имелось в виду блеснуть этой новой музыкой на все местечко. Что, если он возьмет граммофон домой, в лавку? Это привлечет народ и увеличит торговлю, тут же представится повод объявить, что граммофон стоил ему целое маленькое состояние, объяснить устройство механизма. Люди повалятся с ног.

Он перенес машину домой, снял трубу, вставил пластинку, завел и начал играть.

Люди повалились с ног. Но в ту же минуту наверху поднялась тревога, загремела палка.

Ведь Пер из Буа не окончательно умертвил свою здоровую руку, он только так неудачно ушиб ее, что она онемела, но потом она опять ожила и могла стучать так же сильно, как раньше. А на зияющий порез он обращал ровно столько внимания, что не мешал ему оставаться, как он был, без всякой повязки, — сделайте одолжение! Разумеется, рана опять раскрывалась и кровоточила всякий раз, когда он ударялся обо что-нибудь, но — сделайте одолжение, пусть себе раскрывается!

Что это за музыка внизу, в лавке? Да, было из-за чего стучать! Когда палка не подействовала, начал работать стул. Музыка продолжалась. Тогда-то и случилось: Пер из Буа заревел. О, ужасным ревом одинокого человека, ревом железного быка!

Но Пера из Буа так много лет не видали в лавке, что никто его уже не помнил и не питал к нему почтения. Поэтому, когда Теодор покачал головой и остановил машину, публика испытала разочарование и стала говорить, что вот есть же такие, что не

выносят музыки, а иные собаки прямо-таки от нее бесятся.

— У отца голова не совсем в порядке, — многозначительно сказал Теодор.

Теодор убедился теперь больше, чем когда-либо, в одной возможности: отец заревет. Рано или поздно это привлечет внимание посторонних, приведет к тому, что явится адвокат Раш, и Теодору придется тогда ожидать и раздела, и всего плохого. Раздел сильно пошатнет его положение, совсем разорит. Даже если сестры оставят свою часть наследства в деле, он сам сильно потеряет во мнении людей и унизится до положения управляющего лавкой. Да, впрочем, сестры, конечно, немедленно потребуют свои деньги, они им нужны, осень и весна для обеих девиц обычно были трудным временем. В эту пору домой присылались сношенные платья, которых толстая старуха-мать не могла носить, но с гордостью показывала и продавала соседним служанкам.

Теодор размышлял, нельзя ли укротить отца хоть водой или огнем.

— Послушай, отец, — практиковался он, поднимаясь по лестнице к старику, — послушай, если ты еще раз заревешь таким манером, будь уверен, что я отправлю тебя в богадельню!

Но увы, стоя в отцовской комнате, он вел совсем не такую речь. Уже в коридоре на него напало сомнение в том, что отца удастся сломить силой, ведь он имел дело не с человеком, а с комком упрямства, с лежащим в кровати бешенством, наделенным человеческим телом. Однако он все-таки решил попытаться и насупил брови.

— Ты так кричишь, что народ сбегается в Буа, — сказал он отцу.

Старик отнюдь не обнаружил неудовольствия:

— Я вас обеспокоил? — спросил он.

— Люди спрашивают, не значит ли это, что ты хочешь в богадельню.

Лицо Пера из Буа быстро передернулось, точно его свела судорога. Да, но от удовольствия, прямо от веселья. От внимания Теодора не ускользнуло, что рот отца покривился молниеносной улыбкой, и он понял, что его намек на богадельню пропал в пустую.

Отец без дальних околичностей приступил к делу:

— Купишь ты спичек лукавому?

Ага — может быть, от него отделаешься этим! Операция была устарелая и дурацкая, но Теодору приходилось играть так на так. Он ответил:

— Что ж, мы можем выписать спички, раз ты думаешь, что это такая хорошая сделка.

— И соль?

— Да, — сказал Теодор.

Да, соль теперь, на зиму глядя, совсем не так глупо, и потому в этом пункте Теодор сразу проявил уступчивость. Он мог послать соль на Лофоденские рыбные промыслы, а то сохранить ее до весны и послать на промыслы в Финмаркен.

Но если он думал добиться чего-нибудь от отца своей уступчивостью, то очень ошибался.

— Пошли за поверенным! — сказал старик.

О, Пер из Буа был очень зол и совершенно спокоен, он торжествующе смотрел на сына: в его распоряжении был рев. Верное средство найдено, в его груди всегда будет наготове изумительнейший рев, мать и сын пусть себе ходят и ждут его, пусть постоянно прислушиваются, постоянно боятся.

— Гм! — сказал Теодор, чтоб выиграть время. — Я буду недели через две отправлять рыбу, так на

обратном пути мы захватим соль. Если погода будет хорошая, спички можно будет погрузить на палубу под брезентом.

— Я не хочу этой музыки в доме, — сказал отец.

— Хорошо, хорошо, — ответил Теодор.

— А поверенный пусть придет завтра.

Последнее решение. Нет, примириться с таким упрямством невозможно! Пока старик Пер из Буа лежал в постели и ухмылялся, сын спускался в лавку, угнетенный многими мрачными мыслями. Но спички и соль во всяком случае не будут куплены. Чорта с два, так он их и купил!

Его дожидалась телеграмма — от Дидриксена? Ага, ну, конечно, от комми-вояжера Дидриксена, поверенного фирмы Дидриксен и Гюбрехт, того, что плавал на собственном пароходе. Он попал в неприятную историю: повреждение машины во время перехода; задержался в дальних шхерах на несколько суток, ему необходимо немедленно переговорить с Теодором, если возможно, сегодня же ночью.

Вот как! Но Теодор был не в духе, а дорога длинная, сначала на велосипеде, потом в лодке. Однако он как бы оживился от этой телеграммы, как будто из поездки могло выйти что-то хорошее. Что же это может быть? Ни малейшего представления! Но во всяком случае, насчет адвоката получится оттяжка дня на два, без него за адвокатом некому послать. Он отправил приказчика Корнелиуса к отцу с телеграммой и велел объяснить, что она очень важная.

Проехав с час на велосипеде, он встретил Флорину, горничную адвоката. Она остановилась посреди дороги, как будто для того, чтоб задержать его. Когда он сошел с велосипеда, она спросила:

— Вам что-нибудь от меня нужно?

— Нет, — ответил он с удивлением.

Девица Флорина выросла вместе с Сегельфосом и была особа очень продувная. Но она была клиенткой Теодора и покупала много нарядов.

— Нет, — повторил он, — мне от тебя ничего не нужно. Где ты была?

— Была в гостях в дальних шхерах.

— Какова дорога?

— Дорога, как и здесь, — ответила она. — А вы, должно быть, тоже в дальние шхеры?

— Да. Почем ты знаешь?

— Нет, я только сейчас придумала, — ответила она. И вдруг натянула шерстяной платок на рот, а до тех пор он был не повязан.

Теодор собрался садиться, чтоб ехать дальше.

— А я знаю, к кому вы собрались в дальние шхеры, — сказала она.

Смышленого малого сразу озарило, что девица Флорина пронюхала о появлении Дидриксена в дальних шхерах и что она была у него. Между ними происходит маленькое объяснение: да что ж, она несчастная девушка, попавшая в беду, и вот она его разыскала и сказала. Нельзя же, чтобы такие вещи сходили с рук. Ейведь не на кого надеяться, кроме как на себя, и если является мужчина и срывает цветок ее юности...

— У тебя ведь есть сберегательная книжка, — сказал Теодор.

... цветок юности, то он сам понимает, как это для нее плохо. И вот она просит Теодора, как доброго и влиятельного человека, замолвить за нее словечко.

— Я бы хотела получить сразу, что мне причитается, — сказала она, — так я по крайней мере буду знать, что у меня есть. Эти приезжие господа ведь

все равно, что перелетные птицы: никому неизвестно, где их искать. А кроме того, ведь он может тем временем умереть и совсем исчезнуть.

— Да, да, но у тебя есть сберегательная книжка,— сказал Теодор. — Да и потом, разве ты не выходишь за Нильса из Вельта?

— За Нильса? Нет, он разошелся со мной.

— Вот дурак! — сказал Теодор.

— Уж там дурак или нет, а только мне не на кого расчитывать, кроме как на самое себя. Так что, если вы подумаете о моей горькой участи и заступитесь за меня...

— Я поговорю с ним,—сказал Теодор.—Не знаю, зачем я ему понадобился, наверно по каким-нибудь делам.

В сущности, он не был огорчен этим поручением, оно свидетельствовало об уважении и доверии, а, может быть, сулило и заработок—да, это совсем не невозможно. Он покатил прямо по дороге, нанял лодку в дальние шхеры и пристал к пароходу.

У господина Дидриксена собрались гости, салон был полон смеха и праздничного веселья, девушки с берега, двое мужчин; сам он был изрядно навеселе. Он нарядил повара во фрак и белые нитяные перчатки, чтоб он мог достойно прислуживать компании.

— Вы привезли с собой телеграфиста?—крикнул он. — Очень рад вас видеть! Пожалуйста, стаканчик или два! А телеграфист? Вы ничего про него не знаете? Местер, это вы писали телеграмму и позабыли—как это его зовут? Борсен? Чорт бы вас побрал, Местер! Этот человек заинтересовал меня, он все еще гниет в Сегельфосе? Но здравствуйте вы сами, господин Иенсен, спасибо, что приехали! Мы только вас

и ждали, Местер наконец-то наладил машину, мы уходим завтра рано утром.

Когда Теодор выпил стаканчик или два, господин Дидриксен вспомнил, что хотел поговорить с ним, и позвал его на палубу. Он заговорил торопливо:

— Эта моя поездка в Сегельфос оказалась дорогой забавой. Девица явилась сегодня сюда, на глазах слезы, у рта шерстяная тряпка. — В чем дело? — спросил я. — Так-то и так-то. — Да, да, — говорю я, — тут уж ничего не поделаешь! — Да, — сказала и она. Но не дам же я ей погибнуть в несчастьи? — Нет. — И я не отниму от нее руку помощи? — Нет. — А может ли она получить что-нибудь от меня? — Разумеется. — А нельзя ли все сразу, — сказала она, потому что тогда до начальства ничего не дойдет. — Да, чорт побери, ты разумная девушка, — отвечаю я, — значит, ты ничего не будешь писать, и я развяжусь с этой историей? На чем же мы с тобой помиримся? — Две тысячи крон, сказала она.

Господин Дидриксен взглянул на Теодора, интересуясь действием своих слов.

— Безумие! — сказал Теодор.

— Безумие, так говорит и Местер, я ему все рассказал. Но во всяком случае, я хотел раньше переговорить с вами и очень вам благодарен, что вы приехали. Дело вот в чем: не мог же я так сразу передать девице большую сумму, без всякой гарантии, а в Сегельфосе мне не хочется показываться. Поэтому мне пришлось вам телеграфировать, и я еще раз благодарю вас за то, что вы приехали.

— Для меня это было удовольствием.

— Спасибо. Но это немножко запутано: вы говорите, безумие. Да, конечно. Но я не могу доводить дело до крайности, моя невеста может узнать.

— Вы обручены?

— Натурально. Обручился на севере с дочерью одного консула, — как это его фамилия? Известный богач в Финмаркене, китовый жир, единственная дочь, вот посмотрите! — Господин Дидриксен вынимает из бумажника женский портрет и с восторгом демонстрирует: на нем была подпись: твоя Руфь. — Вот видите, — сказал господин Дидриксен, — так она его дочь, вот никак не могу вспомнить фамилию! Ну, и вот, она может все узнать, а этого не должно быть.

— Она не узнает, — сказал Теодор.

— Да, вот видите, это не невозможно. Тем более, что девица, сегельфосская девица... дело в том: я форменно в нее влюбился за то, что она была так благоразумна, и показал ей этот портрет. Разве это не огромная глупость?

— Не знаю.

— Местер говорит, что это было очень глупо. Но я немножко выпил с нею сегодня, потому что она была такая молодчина и умница, и показал ей портрет. — Руфь! — сказала она и посмотрела на карточку. — Да, Руфь! — сказал и я, — и теперь вы понимаете, почему эта чудесная девушка не должна ни о чем знать. Да, она это понимает, и не будет ни начальства, ни резолюций, и ничего такого, сказала она. — Позвольте мне сначала переговорить с господином Иенсеном, — ответил я.

Теодор заявил, что и половины, тысячи крон, будет за глаза.

— Да, но тогда выйдет огласка, начнут разнюхивать мои материальные обстоятельства и все равно приговорят к наивысшей сумме. Да, впрочем, я не хочу вести себя глупо и отлынивать. Тысяча крон раз

в пятнадцать лет — это не то, что двадцать эре каждый день на еду и платье.

Теодор вскинул глаза на своего молодого друга: этот легкомысленный сын старой почтенной купеческой семьи обладал драгоценными качествами, почти непонятными Теодору; его собственное наследие было сплошь такого рода, что он день за днем, год за годом старался урвать что-нибудь у себя и в возмещение взять все, что годится, у других.

— Разумеется. Вы правы!—сказал он вдруг, словно и сам так думал. — И теперь я могу вам сказать: я встретил девушку дорогой, и она просила меня замолвить перед вами словечко.

— Вот как. Но, видите ли, дело все-таки немножко запутано. В тот вечер, когда мы вместе сидели в Сегельфосе — помните, как это его звали? Борсен, начальник телеграфа, говорил про человека, который вернулся домой после двенадцатинедельного отсутствия, но тут оказалось, что его невеста уже три недели ходит в шерстяном платке и мучается зубной болью. Вы помните?

— Помню.

— Не имел ли он в виду эту девушку? Мне пришло это в голову сегодня.

— Можно предположить, что он имел в виду эту девушку,—ответил Теодор, желавший соблюсти честность и чистоплотность. — Но не знаю, пожалуй, вам не стоит касаться этого дела.

— Да, конечно. Но если взглянуть в совокупности, получается ужасная чепуха. Потому-то я и приглашал телеграфиста вместе с вами. Впрочем, я сейчас рад, что он не приехал, а то я наверное спросил бы его. Но не думайте, что дело совсем уж ясно!

— Неужели?

— Местер говорит, что с девицей ровно ничего не стряслось.

— Что? — спрашивает Теодор в искреннем изумлении.

— Местер страшно опытный малый, он сидел с девушкой после меня сегодня, и он говорит, что она так же беременна, как мы с вами. Между прочим, он подарил ей свою часовую цепочку.

Молчание. Теодор думает, потом говорит:

— Что-же, значит, она только притворяется? Во всяком случае, она из-за этого лишилась жениха.

— Да, — ответил господин Дидриксен, улыбаясь,— это она рассказала и мне. Но тут важно знать, не ценит ли она деньги дороже, чем жениха. А впрочем, именно тогда-то жених и может вернуться.

„У нее есть сберегательная книжка, — думает Теодор, — вот чертово отродье!“ И он восклицает с внезапной твердостью:—Вы не должны платить ни одного эре! — Но он не уверен, этот сложный ход мыслей, в котором ему приходится разбираться, нов для него, поэтому он прибавляет:—Я сделал бы точь в точь так, как вы: заплатил бы что следует и развязал себе руки; но если это обман и вымогательство, тогда совсем другое дело.

— Но я не могу этого установить.

— Нет,—согласился Теодор,—не можете.—И Теодор продолжает соображать. Но вдруг его поражает безусловная смехотворность всего этого дела. — Да чорт побери, вы ведь можете не платить до рождения ребенка! А он, пожалуй, никогда и не родится!— говорит он.

— Совершенно верно, — отвечает господин Дидриксен, — потому-то я вас сюда и вызвал. Девушка,

может статься, очень хитра. Кстати, как ее зовут?

— Флорина.

— Флорина. Очень хитра, пройдоха. Так вот, я внесу деньги вам, господин Иенсен, я обещал ей; но она не получит их раньше срока. Я посоветовался с Местером, он парень дошлый. А когда она их в конце концов получит, то с обязательством хранить молчание, за подписью и при свидетелях, а то она опять придет. Все должно быть закреплено письменно.

— Великолепно!—сказал Теодор, сверкая глазами.

Что привело его мгновенно в такой восторг? Не шевельнулся ли в его голове какой-нибудь план, сразу принявший жизнь и формы?

— Хорошо! — сказал он господину Дидриксену.— Я возьму на хранение деньги и улажу все с Флориной, можете на меня положиться.

— Да, вот именно, если вы разрешите затруднить вас этим. Хорошо было бы сразу разъяснить ей все и зажать ей рот,—сказал господин Дидриксен.

Теодор ответил:

— Хорошо. Все будет сделано.

Он пробыл на пароходе до утра и спал, пока другие пировали. Молодому Дидриксену, видимо, мало было этого урока, он любил радость, искал и находил ее. Молодой и красивый, как принц, он всю ночь хороводился с гостями, исполняя роль радушного хозяина. В четыре часа подали горячий завтрак.

— Пожалуйте, не взыщите!—вежливо говорил хозяин, тароватый и внимательный, как всегда.

Повар был в свежих белых перчатках; в антрактах между кушаньями Местер играл на гармонике. Да, все было очень остроумно и весело.

Наконец, общество стало расходиться, гости сели в лодки и поплыли к берегу. Они были молоды и пылки, и бессонная ночь ничуть не отозвалась на них—этого бы еще недоставало! С берега они торжественно махали платками и шляпами.

Через двадцать лет они, может быть, вспомнят эту ночь и улыбнутся. Через тридцать будут сердиться, что другие молодые люди урвут себе одну ночку в жизни...

— А в случае, если... если вам не придется платить, как тогда?—спросил Теодор, стоя на трапе.

— А-а... Ну, что ж, в сущности, она по своему была благоразумна и хотела помочь мне распутаться с властями, — ответил господин Дидриксен с беглой улыбкой.—Нельзя не дать ей совсем ничего. Но с другой стороны, она вела себя не очень благородно,— дайте половину!

Вернувшись домой, Теодор отправился к отцу и сказал, — бумажник его был так туго набит, что он мог это сказать:

— Адвокат был?

Отец удивлен, но имеет основания считать вопрос неискренним.

— Мне вчера надо было уехать, — продолжал Теодор. — Теперь нет никакой помехи, чтоб его вызвать, если он еще не был.

Отец злобно косится на него и говорит:

— Чучело!

Пер из Буа чуял недоброе; неужели сила уже не на его стороне? Посмотрим! Долгие годы праздности отнюдь не смягчили его, а, наоборот, понемножку ожесточали каждый день, теперь он весело шел попятным путем. Еще немножко, и он станет чудовищно злым и будет кидаться на людей, природный

инстинкт развертывался в нем беспрепятственно и работал во всю на полной свободе, он быстро шел назад к своему глубокому прошлому, к пещере, звериной хитрости, реву и нападению. Он бежал по дороге прямо, как духовидец, тьма звала его.

— Ну, так чего же тебе надо? — спрашивает Теодор.—У меня есть другие дела, а не только что стоять здесь. Хочешь делиться — сделай одолжение, я выкуплю ваши части.

Ловкий выпад со стороны мальчишки Теодора — выговорить такие слова, не моргнув глазом! Но отец тоже не промах,—он скосил голову, словно имел дело с совершенным ничтожеством и говорил с сором на полу:

— Вот что, пащенок, выкупишь? Нет, это ты, пащенок, вылетишь отсюда.

И искоса метнул на сына взглядом.

— Как это так? — спросил Теодор, и в ясной голове его точно вдруг отодвинулась какая-то заслонка, он услышал, как шумит в его ушах кровь.

— Вот я так выкуплю тебя! — сказал отец хриплым от раздражения голосом. — Вон из дому! — прибавил он. — Ты спрашиваешь, как? Выгоню из своего дома, вон, в поле, паршивец!

Но в эту волнующую минуту Теодор овладел собой.

— Ах, вот что ты задумал! — сказал он, криво усмехаясь. Он знал положение дела, как свои пять пальцев: ежегодные операции с треской и многократные покупки и продажи судов, — деньги, вырученные от всех этих совершенно личных предприятий, были вложены в дело, и лавка не могла откупиться от него, не обанкротившись. Он криво усмехнулся. Он даже не подумал о птичьем острове, которого никак

нельзя было выкупить, потому что он не продаст его.

Единственное, что могло быть, — это, что отец действительно разорит дело в лавке и потом посадит девчонок начинать торговлю сызнова. Пер из Буа пользовался большим кредитом.

„Как хочет! — думал Теодор, — аккурат, как хочет! Я разобью их торговлю в пух и прах под самым их носом, только бы мне заполучить квадратик земли!“ — Улыбка еще змеилась на его губах, когда он вышел от отца.

Пер из Буа чуял неладное и даже видел перед собой странную улыбку, — что же, он начал сдаваться? Он не сдался, он заревел. Позвали адвоката Раша, и тот составил акт раздела не хуже всякого другого, писал несколько дней, писал с большой готовностью, просмотрел торговые книги в лавке, вызвал телеграммой дочерей, телеграфировал с большой готовностью этим малюткам и охранял их права. Ведь дело шло о двух молоденьких девушках и параличном старике; все трое смотрели на него с надеждой, не мог же он обмануть такие глаза? Ведь он жил тем, что помогал людям в юридических случаях, когда в жизни приходилось применять право. Пер из Буа хотел устроить свои дела перед смертью, и его благовоспитанные дочери не стали ему перечить. Сын тоже не перечил: сделайте одолжение, — сказал сын. Что же оставалось адвокату, как не приступить к делу!

— Сделайте одолжение! — говорил Теодор и усмехался криво.

А нужный участок он наконец купил, стена о стену с лавкой, большой четырехугольный пустырь для лавки и склада, все звонкий камень. Строительные же материалы доставит шкуна обратным рейсом,

когда повезет треску, — никаких спичек, никакой соли!

Теодор усиленно работал все это время и был постоянно на-чеку. Уже первый шаг его встретил препятствие: господин Виллац Хольмсен не хотел продавать ему участок. Почему? — думал Теодор. Два раза он получал отказ, на третий он стал действовать через женщину и победил. Он пошел не более не менее, как к фру Раш. Ну, и бестия же этот Теодор, все-то он знал, даже и то, что добрейшая фру Раш похлопочет за него у господина Виллаца Хольмсена — как раз наперекор адвокату.

— Что такое происходит? — спросила фру Раш.

Происходит то, что у него отняли лавку, торговлю, всякую деятельность, ему отказали, выгнали, помогал в этом адвокат.

— Теперь помогите мне вы!

— Не могу же я действовать против моего мужа,— сказала фру Раш.

— Всего несколько квадратных метров горы у господина Виллаца Хольмсена из барской усадьбы. Не потому, что он нуждается в продаже, а потому что он может помочь мне. Я выстроюсь и опять выйду в люди. Адвокат получит тогда торговую конкуренцию в Сегельфосе, которой он добивался.

— Я не могу действовать против своего мужа,— сказала фру Раш.

На следующий день Теодору доставили несколько строк от господина Виллаца Хольмсена, что он может получить участок. Податель, Мартин - работник, вымерит его, цену мы назначим, скажем, двести крон, а сумма должна быть выплачена съестными продуктами в несколько приемов, на десять крон каждый раз, негодяю Конраду, бывшему поденщику

господина Хольменгро. Купчую пусть напишет лейсман из Ура.

Вот чего добился Теодор.

Он начал взрывать участок для закладки погреба и фундамента. Взрывал динамитом стена о стену с лавкой, не так-таки уж прямо для того, чтоб уморить со страху отца, но и не для того, чтоб пощадить его. Пер из Буа заревел было, но когда адвокат Раш разъяснил ему положение, он больше не пикнул. Чтобы он стал пищать? Мальчишка и его мать очень просчитаются, если думают, что он попросит пардона! Зато однажды к Теодору явился адвокат и предложил ему нечто в роде мировой сделки. Адвокат, должно быть, в конце концов понял, что лавка не может откупиться от Теодора, не пошатнувшись сама. Он сказал:

— Вложенные вами наличные деньги вместе с законной частью наследства...

Теодор перенимал то хорошее, что находил у других; подумав, должно быть, как поступил бы в этом случае молодой господин Дидриксен, он прервал адвоката и сказал:

— Я отказываюсь от наследства.

На адвоката Раша это неожиданное заявление подействовало, как удар. Удивительно, какие обезьяны эти выскочки; еще будь это человек из хорошей семьи!

— Напрасно вы так заноситесь, молодой человек! — сказал он.

— Заношусь или не заношусь, это не ваше дело! — ответил Теодор.

— Я даю вам дружеский совет.

— Я в нем не нуждаюсь.

— Ну, — сказал адвокат, — я не об этом пришел с вами поговорить. Положение таково, что лавка

отлично может выплатить вам вашу часть и продолжать попрежнему работать...

— Ну, так и платите! — сказал Теодор.

— У меня есть частное предложение, — продолжал адвокат. — Рекомендую вам позволить мне его изложить, не прерывая меня. Так вот: лавка отлично может это сделать, то-есть откупиться от вас, в особенности, раз вы так по-мальчишески и, может быть, немножко чересчур смело отказываетесь от наследства.

— Это вас тоже не касается.

— Не прямо.

— И не косвенно, вообще никак. У меня нет привычки дарить сберегательные книжки, но я и в долг не даю и не беру, — раздраженно заговорил Теодор. — Заткните свою пасть и убирайтесь по добру по здорову, я не принимаю вашего предложения, понимаете?

Адвокат с величайшим состраданием заявляет:

— Я только ради вашего блага и ради блага остальных сижу здесь и слушаю... вашу пасть, как вы это называете...

— Вы отлично знаете, что я могу наложить арест на товары и платежи в лавке, пока не покрою своего долга, — в бешенстве крикнул Теодор. В нем проснулся сын Пера из Буа, и он умел шипеть от ярости. — И вы знаете, что тогда лавке конец. А если не знаете, так я могу рассказать вам, я понимаю в этом больше вашего, я торгую с самого рождения.

То ли адвокат нашел в его словах кое-что правильное, то ли решил не замечать похвальбы, но он сказал:

— Мое частное предложение заключается в следующем: в интересах всех сторон, предприятие

продолжет вестись, как до сих пор. Вы управляете им, но сестры ваши становятся его участницами. Согласны вы на это?

— Нет, — ответил Теодор.

— Но вы будете заведывать всем? Вы не соглашаетесь остаться, как прежде, начальником и главою?

— Нет, — ответил Теодор.

— Гм! — кашлянул адвокат. — Я настойчиво обращаю ваше внимание на то, что это предложение исходит персонально от меня, а не от кого другого. Весьма возможно, что оно натолкнется на противодействие со стороны вашего отца и ваших сестер. Но эта возможность не наступит, так как вы отказываетесь от переговоров на этих основаниях. Каково же ваше собственное предложение относительно урегулирования дела?

Теодор ответил:

— У меня нет никакого предложения. Вы и остальные хотите вышвырнуть меня вон, и я говорю: пожалуйста!

— Хорошо, тогда будет так. Дело пока пойдет своим чередом, разумеется, под контролем.

— Под контролем?

— Ваших родителей и сестер. Или моим, по их поручению.

Тогда Теодор усмехнулся совсем криво и сказал:

— Если вы придете и пожелаете контролировать меня в торговле, то, конечно, найдете двери запертыми и опечатанными печатью ленсмана, пока я не получу свое. Этого вы хотите?

— Нет. Я хочу только блага всех заинтересованных, молодой человек. Не давайте воли своему озлоблению, вам выплатят все, что причитается,

может быть, к делу будет привлечена Сегельфосская ссудосберегательная касса: в лавке достаточно ценностей.

— Вот и чудесно! — сказал Теодор.— Привлекайте свой банк, и чем скорее, тем лучше!

После того, как адвокат ушел ни с чем, в Буа явилась девица Флорина. Она не могла больше ждать. Но Теодор был настроен весьма воинственно и решительно заявил Флорине: деньги будут, когда будет ребенок.

— Как это? Не раньше?

— Нет.

Краткое раздумье, глаза Флорины почти закрыты.

— Тогда я напишу его невесте и все расскажу. Ее зовут Руфь, я знаю.

— Попробуй только, Флорина! Тогда тебя исследует врач, и ты будешь арестована на месте. Попробуй!

Флорина засмеялась:

— Неужто арестуют? Господи, помилуй! Что-то вы стали уж очень сердиты; не оттого ли, что вам приходится уходить из Буа?

В эту минуту Теодору было наплевать на стоявшую перед ним хорошую покупательницу, он тоже ответил грубостью:

— Ступай-ка домой и думай о себе, а не обо мне, потому что я плюю на тебя. У тебя три недели болели зубы до того, как Дидриксен появился здесь проездом на север, тому много свидетелей. Начальство возьмется за дело, и тогда выплывет наружу и то, за что адвокат подарил тебе сберегательную книжку.

Какой тон по отношению к хорошей покупательнице! Ясно, что Теодор боролся за нечто большее,

чем справедливость; должно быть, он боролся за крупные кредитки, от которых раздулся его бумажник и которыми он мог распоряжаться. Девица Флорина, правда, несколько изменилась в лице при такой его резкости, но, верно, это оттого, что она была женщина, принадлежала к мягкосердечному и слабому полу. Она прослезилась и сказала:

— Я не думала, что вы такой бессовестный.

— Если ты еще раз посмеешь разинуть пасть, увидишь тогда, что будет! — пригрозил Теодор, пользуясь своим преимуществом. — Я не желаю больше слышать об этом ни слова! — Он гордо выпрямился, высморкался в носовой платок из искусственного шелка и сунул его в грудной карман, выпустив длинный угол.

— Ну, что ж, авось адвокат мне поможет, — сказала Флорина, вытирая слезы.

— Адвокат? Благодарю покорно! Адвокат и сам то не выпутается из этого дела.

— Напрасно вы в этом так уверены, — сказала Флорина.

И после этой сцены Теодор был еще в состоянии пойти в имение Сегельфос поблагодарить господина Виллаца Хольмсена за его любезность. Он захватил с собою купчую на участок. Принес также и деньги, двести крон. Обидно поддерживать такого человека, как Конрад, ведь он совсем этого не заслужил.

Брови молодого Виллаца Хольмсена слегка нахмурились. Впрочем, в комнате сидел незнакомый господин, так что молодому Виллацу только и оставалось, что нахмурить брови, видя, что его приказания не исполняются.

— Разве вы не прочитали моего распоряжения относительно этих двухсот крон? — спросил он.

— Нет, как же, прочитал, — с досадой ответил Теодор. — И если таково ваше желание...

— Да, таково мое желание.

Незнакомый господин был приятель Виллаца Хольмсена, его звали Антон Кольдевин, тоже знатный барин с виду; но он так высокомерно смотрел на Теодора, что это было почти несноснее заносчивости Виллаца.

— Я только подумал... я ведь больше знаю здешних людей... но, разумеется! До свидания и благодарю вас за продажу. Я уже работаю на участке. Благодарю вас, нет, пожалуйста, не беспокойтесь, я отлично могу пройти и здесь...

Теодор вышел опять черным ходом, как и пришел.

XI

Оба друга остались одни.

— Ты как будто и не очень пытался проводить его другим ходом, — сказал улыбаясь Антон Кольдевин.

— Это здешний купец, говорят, толковый малый,— отозвался Виллац. — Он на днях купил у меня маленький участок земли.

— И у вас вышло недоразумение из-за расчета?

— Нет. Я сказал ему, что делать.

Должно быть, Виллац был недоволен собой, оттого и не хотел сказать ничего больше. Да и что это за фантазия,—помогать какому-то бездельнику как раз вопреки своему убеждению! Но, разумеется, приходится держать данное слово, даже если и сделал глупость.

Что, собственно, сделал Виллац? Конрад слонялся без дела, несомненно, ему приходилось туго. Виллац

видел, как по вечерам он спускался с гор, где сушилась рыба, с котелком в руках, потом Конрад перестал ему попадаться, рыба высохла, Конрад остался без работы. Виллац, конечно, думал, совершенно правильно: „Какое мне дело до этого человека!“ У него был товарищ, по имени Аслак, с тем Виллац расчитался, Конрад же ничего не получил. Ну, да, но ведь он ничего и не заслужил. Но вдруг человек опять появляется на дороге, и Виллац встречает его; случайно это повторяется два-три раза, и каждый раз человек кланяется, Конрад снимает шапку и кланяется. Виллац посмотрел на него своими серыми глазами и сделал по отношению к бедняге то, что пришло ему в голову, что, впрочем, сделал бы его отец и дед: двести крон порциями по десять крон бедняге.

Но ведь теперь, сверх всего прочего, негодяй придет, протянет руку и поблагодарит, — у него ведь хватит на это смелости!

— Участок, — проговорил Антон, — а что, если бы и я купил у тебя участочек и поселился здесь?

— Тогда тебе не придется быть консулом, как твой отец, — чуть насмешливо ответил Виллац.

Антон Кольдевин был не из тех, что не умеют ответить.

— Кто может сравняться со своим отцом! Уж не воображаешь ли ты чего-нибудь в этом роде относительно себя? — спросил он.

Вот так тон! Друзья могут быть близкими друзьями, могут шутить, могуть выцарапывать друг другу глаза со смехом. Во всяком случае, эти двое были хозяин и гость. Уже с первого дня они усвоили такой тон, и он становился постепенно все вольнее, они расходились все дальше и дальше, дошло уже до приятельской грубости, которая была изумительна и беспо-

добна. При этом гость все время увлекал за собой хозяина.

Вошла Полина, неся кофе. Нетрудно заметить, куда смотрят глаза Полины, а чужому молодому барину она даже не отвечает, хотя он разговаривает с ней ласково.

— Я живу здесь уже неделю, пора тебе взглядывать изредка и на меня, Полина, — говорит он. А по ее уходе продолжает, обращаясь к Виллацу: — Удивительные глаза у этой девушки!

В общем Антон Кольдевин был веселый человек, смелый, с несколько вульгарной развязностью. Он получил коммерческое образование в Сен-Сире и знал свое дело, вступил компаньоном в отцовское предприятие и проявлял большие способности. Отец мог теперь со спокойной совестью беречь свои силы, обзавестись досугом и двойным подбородком.

Антон и Виллац мало видались по окончании учения, когда съезжались в Сегельфосе на каникулы, один из Франции, другой из Англии, ровесники, равные по рождению, одинаково способные, но совсем разные. Дружба их поддерживалась перепиской, и, уезжая нынче весной на родину, Виллац пригласил приятеля поехать с ним. Антон ответил, что да, он приедет и попытается отобрать у него Жар-птицу!

— Жар-птицу?

Тон и тогда был чересчур откровенен, и Виллац выбранил себя, что пригласил приятеля. „Жар-птица“ — это было название нового железного баркаса фирмы Кольдевин, там оно было уместно, но не здесь; ведь взрослым Антон встречал фрекен Хольменгро всего раза два мельком в Христиании. Да и можно ли вообще думать так по-купечески о ее золоте!

— Ее нельзя взять, ее можно только получить — ответил тогда Виллац.

— Я не знаю ни одной, которую бы нельзя было взять! — возразил на это Антон.

Оказалось, что годы развели друзей очень далеко, в дружбе их очень быстро обнаружились трещины, и хорошо, что Антон мог бросить дело всего на две недели, а потом должен был спешить домой. Но и в отпущенное им короткое время приятели причиняли друг другу много неприятностей.

Вначале Антон вел себя в доме господина Хольменгро тихо и мило, настолько сдержанно, что фрекен Марианна решила напомнить ему, что они старые знакомые. Это сразу подействовало.

— Вы все смотрите на мои кольца, почему вы смотрите? — весело спросила она.

„Соображает, сколько они стоят", — подумал Виллац.

— Я смотрел на вашу руку, — ответил Антон.

— Что же вы смотрели? Выйду ли я замуж?

— Ха-ха, вы хотите сказать — сколько раз?

— Ах, что вы! Фи!

— Да, вот он какой! — сказал Виллац. — Хорошенького господинчика я заполучил в дом!

Все трое засмеялись, Антон несколько принужденно.

— Я не очень гонюсь за тем, чтоб казаться изящным, — сказал он, — или изображать знатного барина, или англичанина. Я француз, я натурален.

— Я норвежка, — сказала Марианна.

— Потому-то мы вас и любим, фрекен.

Вначале Виллац думал вырвать у приятеля жало слишком большой откровенности, он узнал теперь Антона и знал, чего от него можно ждать. Но

Виллац скоро перестал следить за ним, пусть Антон сам разделывается, если зайдет слишком далеко.

— Ну, вы теперь так хорошо освоились друг с другом, что я могу уйти, — сказал он.

На это они опять засмеялись, но Марианна недовольно протянула:

— Партитура! Он занят какой-то вечной партитурой!

— Он — вундеркинд, — сказал Антон. — Он счастливчик, родился в рождественский сочельник и почти сразу же заиграл на рояле. Но с ним происходит, должно быть, то же, что со всеми такими детьми: когда ребенок вырастает, чудо исчезает. Не правда ли, Виллац?

Это задело почти что за живое. Марианна низко опустила голову, Виллац ответил:

— Хе-хе, весьма возможно, что ты прав! Ну, прощайте пока! И будьте паиньки!

Но Антон очень скоро заметил, что ему следовало уйти вместе с Виллацем. Марианна смотрела ему вслед в окно и говорила уже невесело. Немного помогло и то, что Антон по своему был очень остроумен, говорил приятные вещи и признался, что приехал сюда исключительно для того, чтобы увидеться с нею; Марианна отвечала:

— Да не может быть! Неужели это правда? Положим, я постаралась произвести на вас неизгладимое впечатление лет десять, двенадцать тому назад.

Антон ежедневно ходил к господину Хольменгро и приносил с собой молодость, веселость и развязность. Он замечал, что Виллац продолжает стоять на его пути, — этот человек с усадьбой и музыкальным талантом, в остальном же — совершенное ничто,

тогда как у него самого настоящее дело. Ведь это же все чепуха, из Виллаца ни черта не выйдет, почему же он все-таки пользуется предпочтением? На что это похоже? Однажды, когда они сидели все вместе и разговаривали, она сняла с его плеча пушинку, и можно было подумать, что пушинка пристала к ее собственному плечу, так спокойно и естественно она ее сняла.

Мы прощаем тем, кто выше нас, да, это так. Но мы не прощаем равному, если он в чем-либо превзойдет нас. Антон привык итти вперед без задержки, — здесь он споткнулся. Это не образумило его. У него были даже точки соприкосновения с хозяином дома, с господином Хольменгро, они с интересом разговаривали о войне на Востоке, о пароходстве в Южной и Центральной Америке, о тоннаже,— во всех этих вопросах Виллац был, практически говоря, полнейший неуч и только слушал. То, что он — нуль, должно было бы повредить ему, умалить его шансы до минимума, — ничего подобного! Боже, что за чепуха! А ведь господин Хольменгро еще смотрел на Антона с таким уважением во время этих разговоров.

— Ваши расчеты на Южную Америку, конечно, совершенно правильны, господин Кольдевин, — если вам повезет!

Антон отвечал:

— Баркас наверное будет счастливым — он называется „Жар-Птица“!

Так прошла первая неделя.

И вот теперь друзья сидят вдвоем и чувствуют, что дружба их стала довольно прохладной. Антон повторяет, что у Полины какие-то необыкновенные глаза, но говорит, что это почти все, что у нее есть.

— Ты имеешь в виду приданое? — язвительно спрашивает Виллац.

— Может ли она заведывать хозяйством? — спрашивает Антон. — У нас есть дача, там коровы и сепаратор. Это величайшая комедия: по вечерам, когда коровнице некуда спешить, она со сна чуть сама не валится в сепаратор, по утрам же, когда ей некогда, она крутит ручку, как угорелая, чтоб поскорее отделаться. Может, и Полина в таком же роде?

— Нет,— сказал Виллац.

Антон посмотрел на него и усмехнулся:

— Извини, что я слегка усмехнулся: ты делаешь некоторые вещи так же, как делал твой отец. Ты его копируешь.

Виллац собрался уходить. Антон выразил изумление, что хозяин так бесцеремонно обращается с высокочтимым гостем: позволяет себе уйти от него. Что же в таком случае делать гостю?

— Если бы ты, например, пошел опять к господину Хольменгро,— сказал Виллац,— ты избавил бы меня от необходимости сидеть здесь и слушать твои грубости.

— Наверно, опять партитура?

— Да. Партитура.

— Вечная партитура, как сказала фрекен Марианна. Нет, во-первых, я не собираюсь сегодня к господину Хольменгро. Ты с такой готовностью отправляешь меня к ним, почему это? Потому что я настолько безвреден?

— Ты не совсем безвреден. Ты вредишь самому себе.

— На это-то ты и надеешься. Знаешь что, я не чокнусь с тобой этим последним глотком ликера, я допью его один.

— Постыдись! Ведь ты мой гость.

— Нет, я не пойду сегодня сразу к господину Хольменгро, — продолжал Антон. — Туда я пойду попозже, а сначала в другое место. Как зовут этого молодого господина, что был здесь?

— Ты спрашиваешь про Теодора? Теодор Иенсен, Теодор из Буа, лавочник.

— Отлично. Я обдумал и чувствую себя оскорбленным, что ты обошелся с ним так свысока. Что он тебе сделал?

— Ничего.

— Этот молодой человек — торговец, деловой человек, в некотором роде мой коллега, разумеется, в меньшем и более узком масштабе. Я оскорблен за него, ты его не проводил.

— Нет.

— Почему?

— Потому что не хочу, чтоб он ко мне приходил.

— Ведь ты сам назвал его толковым человеком? Разумеется, он гораздо дельнее тебя. Человек, у которого есть почва под ногами. А ты ведь — ничто.

— Отсутствие коммерческого воспитания мешает мне ответить тебе, — сказал Виллац. — Ничто? Что за чушь! Это звучит странно, но даже и самый ничтожный человек — кое что. Возьми, например, дельца, посредника: он покупает не для потребления, а для перепродажи с прибылью. Представь себе, что все люди начнут сами покупать все нужное для своего потребления, и посреднику конец. Так легко его устранить. Тебе и Теодору Иенсену конец. Вы и есть то ничто, о котором ты упомянул. Но все-таки кое что вы собой представляете, вы, например, обладаете способностью одного пускать к себе в дом, а другого не пускать.

— Я пойду сделаю ему визит, — сказал Антон. — Извини, что я не слышал ни слова из твоего философского рассуждения. Ты, кажется, сказал, что обладаешь способностью не пускать в свой дом, кого хочешь? Это надо понимать вообще?

— Перестань говорить глупости.

— Если это относится к моему коллеге Иенсену, то относится и ко мне.

— Ты хочешь заставить меня вспылить? Этого ты хочешь? — спросил Виллац с особым ударением.

— Мне все равно, что бы ты ни сделал! — ответил Антон. — Выйдем вместе, нам немного по пути. Я иду к моему коллеге. Пожалуйста, не воображай, что я раздумаю.

И Антон Кольдевин действительно пошел в Буа, будто бы за табаком, и имел долгую беседу с Теодором. Его познакомили с положением: Буа находится в состоянии раздела, здесь будут торговать две сестры и поверенный по делам, а сам Теодор открывает дело рядом, — все это, конечно, безумие и самоубийство, но неотвратимо. Антон был очень любезен с Теодором, а Теодор в свою очередь чуть не лопался от важности перед приезжим гостем.

Он собирается устроить осенний праздник, говорил он, пикник с музыкой и угощением на своем птичьем острове...

— У вас есть и птичий остров?

О-о, мало ли что у него есть: тресковые промыслы, птичий остров, генеральная агентура „госенского“ масла, театр...

— Подумайте, птичий остров! С гагарами, гагачьим пухом?

Теодор кивает: чудеснейший товар, первоклассный. Маленькая избенка на острове. Если б он

осмелился питать надежду, что такой человек, как господин Кольдевин, согласится принять участие в празднике...

— Отчего же, спасибо, это не невозможно. Подумать только, пикник на птичьем острове, да ведь это все равно, что молоть брильянты на еду! Когда же это будет?

— Через несколько времени. Нельзя раньше осени, пока птицы не улетят с острова...

— Я спрошу фрекен Хольменгро, не поедет ли и она, — сказал Антон.

Впрочем, Антон Кольдевин сделал этот визит не только ради своего коллеги Теодора, но и ради его сестры, той, что служила камеристкой у консула Кольдевина в Вестландии. Надо же было Антону из вежливости навестить ее родных, но он не особенно распространялся на эту тему.

— Вам кланяется ваша сестра, — сказал он.

— Благодарю вас, — ответил Теодор, — она скоро приезжает, и тоже будет выбрасывать меня вон!

Антон отправился к господину Хольменгро и застал там Виллаца. Виллац пошел туда, а совсем не на кирпичный завод, к своей партитуре! Вот хитрая душа, чорт знает! Антон больше не станет с ним считаться и уедет раньше срока! Виллац, конечно, мог бы сгладить впечатление, если б объяснился, но нет, он не объяснился; он мог бы сказать, что попробовал работать, как и было на самом деле, но ничего не вышло, он не сдвинулся с места и сегодня, как уже за много дней до того, поэтому пошел на люди, чтоб немножко освежиться. Он не сказал ни слова. Это было его английское кривляние — молчать. Антон от души презирал английское кривляние.

— Я был у купца Иенсена, — сказал Антон. — Он пригласил меня на праздник, который устраивает осенью на своем птичьем острове. Это наверное будет забавно, я принял приглашение. Я приеду опять и непременно буду.

„Отлично, значит, ты опять к нам приедешь!“ мог бы сказать Виллац.

„Возьмите меня с собой на праздник!“ могла бы сказать фрекен Марианна.

Никто из них не сказал ни слова.

— У адвоката тоже будет осенний праздник, — проговорила инаконец фрекен Марианна. — Ты пойдешь, Виллац?

— А меня пригласят? — спросил он.

Молчание.

— Это на тебя похоже, — сказала вдруг Марианна,—добиться приглашения только для того, чтоб отказаться.

Антон посмотрел на обоих с изумлением; выходит, что они в ссоре, грызутся?

Пусть делают, что хотят, он не желает больше слушать.

— Извините, фрекен Марианна, — сказал он, — я, собственно, пришел к вашему отцу. Как вы думаете, могу я поговорить с ним минутку?

— Посиди и подожди, он наверно придет, — ответил Виллац и собрался уходить.

— Отец на мельнице, — сказала Марианна. — Я не знаю, когда он вернется. Отчего бы нам не пойти туда всем вместе, может, мы его встретим?

Пошли все вместе. Виллац немножко неохотно и посмотрев сначала на часы.

Они вышли на большую проезжую дорогу между мельницей и пристанью, там стоял человек и ждал,

Это был Конрад. Он поклонился и шагнул вперед, словно собираясь заговорить, но остановился один Антон, остальные прошли дальше.

— Зачем ты так сказала? — спросил смеясь Виллац. — Он подумает, что мы поссорились.

Глаза Марианны сделались длинными и узкими, почти совсем закрылись.

— А пусть себе думает! — сказала она. — Не все ли равно! — и перешла к другому: — У нас опять нелады с рабочими.

— Опять?

— Я не знаю в точности причины, да много ли для этого нужно? Насколько я понимаю, они разобиделись из-за какой-то бумажки, записки в Буа. Они брали там товары и записывали их на счет мельницы; теперь папа распорядился, чтоб на мельницу не отпускали никаких товаров без записки от заведующего мельницей или рабочего старосты. Вот этуто записку рабочие и требуют отменить: это, говорят, издевательство, все равно, говорят, что наклеивать на себя ярлык.

— Да, они стали ужасно щепетильны, — сказал Виллац.

— Но потом все успокоилось, и по весьма основательной причине. Оказывается, Оле Иоган не умеет писать, и вот рабочие сами пишут вместо него и выписывают, что хотят. Ха-ха-ха, ну, как же не смеяться! Никто не ходил за записками к Бертелю из Сагвика, потому что он умеет писать, все ходили к Оле Иогану. А в конце концов не стали ходить ни к кому, а писали сами; тогда у Теодора возникли подозрения, и дело раскрылось. Сегодня к папе пришли двое и сказали: пусть виновные заплатят за товары, которые они получили обманным образом! —

Я их уволю,—сказал папа. На это они не согласились. И папе пришлось пойти с ними на мельницу для переговоров.

— Он пошел с ними договариваться? — спрашивает Виллац.

— Что же ему было делать!

— Не понимаю, что за охота твоему отцу возиться с мельницей.

— Наверно, у него есть свои причины, не знаю. У каждого свои причины. Мне следовало бы дать ему зятя, который бы ему помогал, — сказала Марианна, — а я этого не делаю.

— Попробуй только! — шутливо сказал Виллац.

— Вообще, мне надо дать ему зятя, — продолжала Марианна, — но я, конечно, этого не сумею.

Виллац засмеялся громко и уверенно, как собственник:

— Подожди еще немножко, — сказал он, — месяц или около этого, а может быть и меньше. У меня ведь не все дни неудачные.

— Мы ждем партитуры. Вот чего мы ждем.

— Мне хочется достигнуть чего-нибудь большего, чем теперь, к тому времени, когда ты удостоишь меня согласием. Оцени хорошенько эту благородную черту твоего почтительнейшего слуги.

Марианна, видимо, не могла поддерживать тот же шутливый тон, а может быть и не хотела. Ей следовало бы понять по манере Виллаца, что веселость его деланая и весь легкий тон его речи неискренен. Разве она не видела, как дергались его брови? И дергались тем сильнее, чем определеннее она говорила. Эти обнаженные фразы, конечно, оскорбляли его,—она ведь вовсе не стремилась пристроиться. Ах, эти необдуманные выражения, когда она оставит их!

Он отлично знал, что по натуре она совсем не груба, до сегодня она была нежна и ласкова, как в дни детства, когда просила, чтоб он поцеловал ее „длинную-длинную минутку“. Но он знал также, что ее путешествия и позднейшие знакомства изменили многое в ее взглядах. Она бывала иногда дерзка, дерзостью современной Норвегии, кое что из новых нравов привилось и ей. Одобрение, с каким она встречала в обществе какую-нибудь смелую, откровенную фразу, составляло для него муку, много раз это отдаляло их друг от друга и кончалось ревностью и размолвками.

Но Марианна — о, она была коварна, как ее прабабушка-индианка, и отлично знала, что делает. „Гнуться или ломаться!“ — верно думала она.

Марианна сказала:

— Антон, я слышу, остается. Нет, — продолжала она, — уж если ты вбил себе что-нибудь в голову, Виллац, этого из тебя не выбьешь.

— Да, я очень скучный, — согласился он.

Тогда у нее вырвалось:

— Мне кажется, мы слишком уж привыкли к тому, что в течение стольких лет нас предназначали друг для друга.

Должно быть, это было непререкаемо верно, потому что он несколько раз кивнул головой.

Антон догнал их бегом.

— Извините, что я отстал, — сказал он. — Виллац, меня просили передать тебе благодарность.

Виллац нахмурился. Он, конечно, понял, чего дожидался Конрад, и умышленно прошел мимо, как бы не заметив.

— Да, меня просили передать тебе благодарность, — продолжал Антон, не смущаясь. — Я не

передам ее без квитанции. Ты только смотришь на меня?

— Да. Я, так сказать, смотрю на тебя.

— Что бы ты ни делал, — продолжал Антон, — в наших местах такое поведение тебе не сошло бы с рук. Приходит человек и хочет поблагодарить тебя за что-то, а ты даже не слушаешь его, не видишь его.

Виллац ответил:

— Ты побеседовал с ним. Ты умеешь обходиться с народом.

— Господи, можно ли до такой степени ломаться! — от души воскликнул Антон. — Не понимаю, что тебе за охота! Твой отец поступал так или иначе, потому что это было в нем искренно; но ты — ты просто в роде управляющего величием, оставленным твоим отцом.

Марианна расхохоталась и рассмешила Виллаца.

— Хорошенький тон для друга и гостя! — сказал он. — Антон словно на иголках от страха — а вдруг он будет недостаточно груб.

— Я умею обходиться с народом! — сердился Антон. — Да, что ж поделать! Я не завидую твоей мрачности, она закрывает для тебя жизнь разными тонкостями и глупостями. Посмотри, вот это жизнь! — сказал он, протянув руку.

Навстречу ехали двое возчиков, они грузили муку, и лица у них были до смешного одинаковые. „Но!" погоняли они лошадей. Телеги скрипели под тяжелым грузом, люди шли рядом с возами, изо дня в день шли рядом. По прибытии на пристань они сваливали муку и нагружали рожь, везли рожь на мельницу и опять забирали на пристань муку. Изо дня в день, изо дня в день!

— Мне кажется, я вижу, как ты принимаешь участие в этой жизни! — сказал Виллац.

— Я участвую в ней по своему,—ответил Антон.— За этим-то я и ищу господина Хольменгро, мне нужно маленькое разъяснение, намек. Я тоже хлопочу и тружусь, хоть и не с мукой. А ты иди домой, Виллац, и женись на красавице Сюннэве Сольбаккен.

И опять Марианна засмеялась, на этот раз одна.

— А он не смеется,—сказала она.—Ты не смеешься, Виллац?

— Разве, что ты прикажешь найти это забавным, — ответил он.

Господин Хольменгро шел им навстречу, приветливо кланяясь, спокойный, как счастливый отец для всех и вся, чудо равновесия. Марианна спросила, уволил ли он грешников, но отец только улыбнулся и ответил, что грешников оказалось слишком много.

— Вот ты, поклонник жизни, тут есть кое что интересное для тебя, — обратился Виллац к Антону.

Все трое ввели его в курс дела, и Антон, выслушав, заключил:

— Да, значит, не было контроля.

Виллац засмеялся:

— Правильно! — сказал он.— Виноваты обе стороны, так и будет написано во всех газетах. И если дело дойдет до суда, все судьи скажут то же самое. Я должен давать рабочему работу и плату, но если он у меня украдет, то вина падает на нас обоих: я должен был дать работу и плату другим, которые контролировали бы рабочего, потом работу и плату контролерам над контролерами. И в то же время рабочий требует прибавки за хорошо выполненную работу или грозит забастовкой.

— Что же ты бы с ними сделал?

— Если на свете мало сволочи, я предоставил бы ей жить и развиваться. — В вашем деле я рекомендовал бы третейский суд, — сказал Антон господину Хольменгро.

Тогда Виллац опять засмеялся, запрокинув голову, с необычайной для него веселостью:

— Совершенно верно!—воскликнул он.—О, Антон Фредрик Кольдевин—так ведь, кажется, тебя зовут—ты настоящий алмаз, как раз по теперешнему времени.

— Я не имел, разумеется, в виду третейский суд по поводу самого преступления, самого проступка,—обиженно возразил Антон. — Но если дело обострить, все рабочие будут за одно, и мельница остановится. Я думаю, господину Хольменгро это совершенно ясно. Пусть рабочие сами устроят между собою суд, от этого они не откажутся. Третейский суд должен касаться только записки, ярлыка: оставить его в силе или отменить.

— Послушай, папа, а разве грешников было так много? — спросила Марианна, которой наскучил спор.

— Да, много. Повидимому, все, за исключением Бертеля из Сагвика и Оле Иогана.

— Стало быть, за исключением контролеров. А какие же товары они забирали?

Господин Хольменгро улыбнулся:

— Разные. Вплоть до парусины, до керосина.

— Ну, нет, я никогда!..

— Они внушили Теодору-лавочнику, что наши собственные цистерны керосина пусты, и взяли одну в раздел. Парусина им понадобилась будто бы на сита. Маргарин — для бутербродов, когда у них сверхурочные работы, потому что тогда, по их словам, они должны получать харчи. Ха-ха, они поло-

жительно бесподобны! Проделка эта тянулась довольно много времени.

Антон покачал головой, и, пожалуй, никогда у него не было к тому больше оснований: бесконтрольность была уж чересчур велика.

— Что же ты сделаешь, папа?

— Ничего нельзя сделать, слишком многих пришлось бы наказать.

— Кроме того, это наказание обоюдоострое.

— Неужели ваши бухгалтеры сразу же не заметили этого?—спросил Антон, чуть не дрожа от деловитости и опытности. Он позабыл, что помещик может быть, не нуждался в его участии. — Разве не было специального счета из Буа? — спросил он.

— Нет, — просто ответил господин Хольменгро.

— Однако... — начал Антон, но смолк, когда Марианна улыбнулась его азарту.

— Я вижу, что приходится открыть карты,—сказал господин Хольменгро, тоже улыбаясь: он в свое время сказал Теодору, что не надо выписывать спецификации счета, так как статей будет немного. Ему хотелось оказать Теодору это доверие, которое он считал заслуженным, да, впрочем, Теодор и не сплутовал. Этот Теодор, между прочим, очень, очень дальний его родственник, его мать доводится господину Хольменгро чем-то в роде троюродной сестры, и он вначале помогал семье устроиться здесь, в Сегельфосе.

— Ах, вот как! — сказал Антон.

Но, конечно, нельзя не признать, что это странный способ вести дело. Ведь это мог допустить только колоссально богатый человек.

Они стояли на перекрестке, откуда Виллац должен был свернуть на кирпичный завод, к своей партитуре. Он уже приподнял шляпу.

— Кстати, господин Хольменгро не может ли вы рекомендовать мне опытных метчиков?

— Метчиков? — спросил помещик, отвлекаясь от своих собственных переживаний. — Да, найдутся. Я тщательно осмотрел ваш лес и думаю, что в нем много пригодного.

— Благодарю вас! — сказал Виллац и пошел.

Господин Хольменгро был, повидимому, настолько мало взволнован беспорядками на мельнице, что мог дать вежливый и толковый ответ на совершенно посторонний вопрос. Но тончайший оттенок неудовольствия в его ответе не ускользнул от внимания Марианны, — что он означал? Она не знала, что у ее отца тоже было о чем спросить: о горах, которые он хотел купить или арендовать, о пастбище для тысяч экспортных овец, — как обстоит дело с этим? Но он ничего не сказал. Марианна подумала: должно быть, его сердит, что Виллац не может сам наладить порубку леса, ему во всем приходится помогать!

Она взяла отца под руку и тихонько проговорила, не глядя на него, как будто даже и не говорила:

— В качестве твоих детей, я протестую, что ты злишься на Виллаца!

— Ах ты, маленькая индианочка! — смеясь ответил он.

Нет, он ни на кого не злился. Вернувшись домой, он пригласил Антона в кабинет и полчаса разговаривал с ним о южноамериканских делах и давал толковые советы. Антон нашел, что сущее удовольствие слушать такого опытного человека. Да, судя по всем признакам, Антон хорошо распорядился с „Жар-Птицей“, но надо считаться и с удачей, говорил господин Хольменгро. Предприятие Антона,

повидимому, заинтересовало старого авантюриста, короля Тобиаса:

— Напишите мне два слова о результате! — сказал он.

Он остался в кабинете, когда Антон вышел в гостиную.

Марианна, должно быть, вдруг решила, что на ней слишком тяжелые украшения, и за эти полчаса сменила большие золотые полумесяцы в ушах на жемчужины. Антон сейчас же это заметил и подумал, что у нее стал более приличный вид. Эти болтающиеся полумесяцы, висевшие на тоненьких цепочках, были, пожалуй, индейским или, если можно так выразиться, музыкальным украшением, жемчужины придавали ей более европейский вид. Она разрешила ему сказать это и ответила:

— Вы находите? Это меня радует.

— Вас радует, что мне нравится?

— Да, именно.

— Вот как! Но я этого не понимаю, — сказал со всею непосредственностью Антон.

Он заговорил о своем предстоящем отъезде — посмотрим, когда отходит пароход на юг. В пятницу? Ну, вот тогда он и уедет. Но он вернется, когда улетит гагара.

— Что это значит? Кто это — гагара?

— Ах, боже мой!.. — воскликнул Антон, — в чем вы меня заподозрили? Гагара? Это когда гагары улетят с острова, из своих гнезд на острове, с птичьего острова купца Иенсена.

— Ах, да, я и забыла. Вы приедете опять к празднику на птичьем острове.

— В особенности, если я и праздник можем надеяться на ваше присутствие.

— На мое присутствие? Нет, извините!

Антон долгое время размышлял над этими словами и опять обиделся: ну да, он собирался быть на празднике у своего коллеги, купца Иенсена. Дельный малый, передовой человек этот так называемый Теодор из Буа, посмотрите, как энергично он действует, посмотрите, как от него расходятся круги все шире и шире! Это человек будущего! Иные люди как будто живут в прошлом. Они слепы, как кроты, но ходят с широко раскрытыми глазами, даже производят впечатление мудрецов, оттого что походка у них такая твердая. Но они совершенно слепы. Таким людям следовало бы отвести остров среди моря, они не знают, что жизнь — это дневной свет, торговля и артиллерия.

— Отчего бы и вам, фрекен Марианна, не поехать на непринужденный праздник, где все участники будут вам рады?

Напрасно он тратил свое красноречие. Марианна сказала, что больше не хочет об этом слышать.

— Не буду, не буду, — сказал он. — Но я приеду опять осенью. Остановлюсь в гостинице — как это она называется? — в гостинице Ларсена.

По уходе Антона Марианна разыскала какое-то старое рукоделье, посмотрела на него и опять отложила. Взяла книгу, прочла несколько строк, потом принесла колоду карт, перетасовала. Вдруг она отворила дверь в кабинет и сказала, что пойдет еще немножко погулять.

— Иди, иди! — ответил отец, по обыкновению ласково и добродушно.

И вот он остался один, на всей своей половине. Что-то произошло с ним после того, как Антон вышел из кабинета: неужели старость могла так быстро

сказаться? Или это мрачные мысли пригнули его к земле и придали ему такую некоролевскую осанку? Перед ним не лежало никаких бумаг, и он не подводил никаких счетов, просто сидел и смотрел белесовато-голубыми глазами на свои руки: нет, масонское кольцо не спасло его, ничто не спасло, даже и то, что он таинственно косил глазами в сторону и строил гримасы, как будто сговариваясь с кем-то невидимым,— рабочие победили его. Они сейчас же начали говорить ему „ты“ и называть Тобиасом. Это был смертельный удар. Они утратили всякое уважение к нему, опять его поймали на том, как он гонялся по ночам за девками; правда, он сослался на то, что осматривал лес для Виллаца Хольмсена, под вечер очутился очень далеко в горах и попросился переночевать на одном хуторке.

„Ха, ты плут и фармазон, Тобиас, ты точь-в-точь такой же, как и мы грешные, ничуть не лучше! А теперь ты опять накинул цену на муку! Мало ты высосал из нас крови, у нас осталась еще крошечная капелька. Неужто и стыда у тебя нет? А стоит нам написать маленькую бумажку, пойти в лавку и получить какую-нибудь малость для поддержания жизни, ты обрушиваешься на нас, словно рабовладелец какой, и высчитываешь нам каждый грош. Только и остается, что наплевать на тебя!“

Несколько человек рабочих были спокойнее и обнаружили чувство справедливости, они предупредительно кивали головой и признавали, что кое в чем помещик прав.

— Это не так уж глупо! — Он уж вовсе не такой дурак! — говорили они.

И это было, пожалуй, хуже всего. Аслак уже ушел с мельницы, но дух Аслака остался.

Нет, это было совершенно невыносимо, положительно ему при рождении не дано способности властвовать, он мог быть только сказкой. Люди вбили себе в голову, что бог знает, как еще обстоит насчет его богатства. Он спекулировал, наживал деньги, терял деньги, может, у него уж не осталось даже и одного миллиона, который он бы мог потерять! Для народа это было важнее всего. Почему он накинул на муку? Милые мои, если он это сделал из нужды и необходимости, так ведь он ни на волос не лучше любого человека в Сегельфосе, и тогда за что же нам его уважать? Плевать нам на него!

О чем он думает и размышляет, рассматривая свои руки? Понял ли он сегодня, что новый способ, который он применял в течение нескольких недель, провалился? Что ему предпринять? Ведь он природный крестьянин, сегодня, как и вчера, фантазия не совсем еще извратила для него действительность, он не упускал из вида земли, даже когда летал. Когда на прошлой неделе он набавил цену на муку, то сделал это по справедливому и правильному расчету, и все же продавал дешевле других мельников на сумму, почти соответствующую фрахту,—так что же, и этого он не должен был делать! Люди? Вот тут-то и выяснилось отношение к нему людей: если он не богат, он — ничто! Ах, как они ошибались! Жизнь этих людей по сравнению с его жизнью все равно, что обыденщина по сравнению с катастрофой. А его богатство? Что именно им надо о нем знать? Может быть, он в состоянии утереть всем нос своим богатством, а может и нет. Может, у него не найдется даже и того, что золотоискатель находит в один единственный день — что же из этого? А может быть, у него больше, это никому не известно. Случалось, что Марианне, хитрой и

умной Марианне, хотелось узнать, что написано в разных письмах и телеграммах, которые получал ее отец. „Скажи мне, папа, — спрашивала она, шутя, — зачем ты отправил своего сына обратно в Мексику ребенком и обучил его управлять поместьями и кораблями?“ — „Чтобы ты думала, что у меня есть поместья и корабли в Мексике!“—загадочно отвечал он.

Но если он приехал в Сегельфос из каприза, то ведь долгое его пребывание здесь, при рабочих беспорядках и при постоянно уменьшающемся личном уважении к нему, было полнейшей бессмыслицей. Если он мог жить всюду на земле, почему он жил именно здесь? Повидимому, ничто не могло удержать его здесь — ни фру Иргенс с ее кушаньями, ни рабочие и мельница, дороги, река, приходящие суда — ничто. А может быть, заветной мечтой его было жить и дышать на родине — это первобытное инстинктивное стремление, непобедимая сила, крест? В таком случае, милые люди, ему следовало бы растоптать вас, следовало бы итти своей дорогой и растоптать вас, как соломинку под ногами, и ничего больше.

Он никого не топтал, не умел, он не был повелителем. Повелитель? Он даже не мог удержать свое богатство и не всегда умел отвечать сдержанностью на насмешку какого-нибудь рабочего. Вот, разве он не сидит сейчас в своем кабинете и не размышляет об испорченности мира? Все шло хорошо, пока он был королем и сказкой, шло великолепно, все живое склонялось перед ним; а потом пошло скверно. Он родился на острове, он отошел на шаг от крестьянина, принадлежал всего лишь к первому поколению некрестьян — чего же еще можно было от него ждать! И все-таки он был для Сегельфоса

сказкой. Он был звездой, сиявшей над сборищем обыкновенных плутов.

Он выходит в столовую и опять возвращается назад, вошел в дверь, прислушиваясь и крадучись, и теперь садится, с таким видом, будто спасен: хозяин дома спасся! И вот мало-по-малу на душе у него начинает проясняться, он улыбается. Господи, да есть ли из-за чего печалиться? Строго говоря, разумеется, ему не следовало опять быть таким сумасшедшим, опять таким молодым. Девушки никогда не могут смолчать о том, что делает барин, постоянно спрашивают друг друга: „А с тобой это было? Где? Сколько раз?“ Ах, этот Синбад-Мореход, безумец, седой юноша! Не оттого ли фру Иргенс вот уже много лет так трудно залучить в дом горничных? А далеко от здешних мест были страны и берега, цвели кофейные деревья, бананы и сахарный тростник струили аромат, ночи — были для мореходов и безумцев. Были острова с желтыми, черными и белыми женщинами. Если хорошенько все взвесить, ему не следовало так тщательно осматривать лес Виллаца Хольмсена, положительно не следовало, — горные хутора, в сущности, представляют мало привлекательного, если не считать того, что у горничной Марсилии там живет молоденькая сестра. Ее отец подвез его немного с горы на телеге; ее отец всегда предлагает подвести его.

Если рабочие на мельнице считают его своей ровней, то они очень ошибаются. Он совсем не то, что они. У него в голове много идей и великих замыслов. Горные пастбища для тысяч экспортных овец — это только маленькая частичка в длинной веренице мыслей, заканчивающейся фабрикой консервов и флотом для вывоза. Он может провести элек-

тричество и построить механический завод. Может пахать паром. Но может заинтересоваться устройством аптеки и книжного магазина в Сегельфосе и даже открыть мелочную лавку и зарабатывать три тысячи в год и жить припеваючи. Хе-хе, он все может — может воспользоваться глупостью и болтливостью мальчишки Теодора и вдруг выступить в качестве его конкурента! Не удастся один новый способ, он может попробовать другой, поновее, он все может. И не бойся, голубчик Теодор, мы не потревожим тебя в твоей лавочке, живи себе спокойно на своей кочке на радость и гордость своей матери! У нас есть на уме кое-какие другие планчики, один из них мы осуществили вчера, в Тихом океане, вот телеграмма! Военному ведомству понадобилось наше маленькое суденышко, наше чудесное маленькое суденышко „Сова"; „Сова" не стала дожидаться дня, она ушла ночью, ушла в тысячу и одну ночь, нагруженная брильянтами. „Переправьте ее нам!" сказало военное ведомство. Пожалуйста, двести двадцать тысяч! Голубчик Теодор, она стоила нам шестьдесят тысяч! Но сегодня мы немножко жалеем об этой сделке, судно было хорошее и возило брильянты. Повел его молодой человек, сеньор Феликс, сегодня он командует другим судном, сеньор Феликс удачливый авантюрист.

Господин Хольменгро совершает новую прогулку в столовую и снова прокрадывается обратно, грудной карман его набит. У матросов бывают такие карманы, когда они сходят с корабля на берег. Наступил вечер, господин Хольменгро смотрит на часы и выходит из дома. На лестнице он сталкивается с дочерью и шутливо говорит:

— Вот счастливая встреча!

— Спасибо, — отвечает она, улыбаясь.

Они всегда добрые приятели и товарищи. И ни он не спросил ее, откуда она пришла, ни она не спросила, куда он идет.

Он пробыл довольно долго на пристани в своей конторе, отдал кое какие распоряжения и засадил конторщика за экстренную работу, которая займет несколько часов. Между тем ночь потемнела настолько, насколько может потемнеть в это светлое время года,—закоулки и тропинки между сегельфосскими домами виднелись явственно.

Начальник станции Борсен выходит с телеграфа и в медлительной раскачке несет свои плечи по дороге к набережной. Все знали, что этот нерегулярный человек регулярен в одном: аккуратно каждую ночь гуляет. Он думает, философствует, глаза у него открыты, он улыбается какому-нибудь наблюдению, хмурится, услышав шум. Хорошо, что стоит лето, он без пальто, и голова у него, должно быть, занята важными вещами, если он вообще так мало заботится о своем платье. На ходу брюки у него съезжают, материя на них расползается, это плохая материя, у пяток совсем бахрома. Но начальник станции Борсен хорош тем, что не обращает внимания на свои брюки, а когда смотрит на бахрому, говорит, что ноги у него стали чересчур длинны. Вообще он говорит много веселых и много глубоких слов, а иногда произносит замечательные сентенции.

Он долго бродит по набережной и досконально знает каждый стоящий там ящик и каждую бочку; вдруг он слышит шум, хмурит брови и идет туда, откуда слышится шум. Ночь тиха, говорят возле одного из домов, возле дома пристанского конторщика, это голос самого конторщика, он бранится, чем - то раздражен и гонит перед собой человека.

Конторщик — самый лучший бас в певческом кружке смотрителя пристани и мог бы говорить гораздо громче, но сейчас он шепчет, шипит:

— Так вот зачем вы дали мне ночную работу, не подлая ли вы после этого свинья! Чего вам здесь надо? Ходите и лавируете под окнами! Но счастье, что Давердана не таковская, она не отопрет. Вот я вас проучу!

Он гонит человека перед собой, продолжая шипеть:

— Что — ах, чорт побери! Видал ли кто такую собаку? Чего вы здесь шляетесь и вынюхиваете? По настоящему следовало бы вас огреть дубиной по загривку!

„Барин и слуга!“ думает Борсен, уходя. Он косится через плечо и видит, как барин упорно старается увильнуть от игры и жалобно ухмыляется. А что же ему и оставалось, как не ухмыляться жалобно? Борсен усердно философствует: он спас бы барина от слуги, если б была к тому какая-либо возможность, и, в сущности, он мог бы сейчас завернуть к Давердане и успокоить ее относительно шума перед ее домом, — тут Борсен улыбается, как будто дофилософствовался до чего-то приятного.

Но в это время преследуемый барин решился: внезапно и словно выбрав место, откуда он больше не нуждается в провожатом, он пригнулся к земле и побежал, через мгновение он уже исчез. Слуга тихонько и безмолвно последовал за ним, вероятно вернулся на пристань к своей работе.

Барин и слуга, ну, да, тысячелетняя история, Борсен не предвидел ей конца и в этом году. Он чувствовал начало в этом простом случае: седеющий безумец на положении вдовца — нет, и фактический вдовец. Когда-то он умел справляться с собой,

теперь больше не может. Прислушайтесь к этой гробовой тишине в ночи, она кипит, она безумствует, она такая же, как он. Ничего воровского или подлого, в сущности, тут не было: с чем слуга не может примириться, от того его надо удалить, все просто и грубо, это дерзость без фальши. Но был ли барин дерзок в другом? Наоборот, деликатен, щедр и отзывчив. Философия тут оказывалась бессильна; Борсен прервал самого себя тем, что никто в этом не разберется: ветер дует не по узорам, а между тем он есть; нельзя говорить о чулках цвета грома.

Борсен просидел около часа на телеграфе и привел себя в бодрое и трезвое настроение прежде, чем отправиться на ночную прогулку. Он прошел далеко за театр Теодора, и только потом повернул обратно и зашагал той же дорогой. Он был в хорошем расположении духа и мог отлично рассуждать, но, подойдя к дому пристанского конторщика, он на минуту смутился, потому что прогнанный барин опять стоял там.

„Он перестал остерегаться,— думает верно Борсен,—в Сегельфосе ему уже некого остерегаться!“

Чорт разберется в этом, но ведь и Борсену тоже нечего было делать нынче ночью у этого дома, тут надо действовать, надо спасать, что можно, прежде всего барина. Не пожелав доброго вечера, без всякого вступления, он подходит прямо к барину и говорит:

— Я позабыл отметить на вашей телеграмме третьего дня, что часы не точно установлены.

Разве это не настоящий удар! Но нет, барин принял его спокойно:

— Вот как,— сказал он.

— Срок для вашего ответа. Под цифрой часов стоял крестик. Это была важная телеграмма, мне следовало бы определенно пометить, что часы подачи в Порто-Рико были неясны.

— Я понял крестик,—сказал барин.

Борсен шагнул вперед и сказал решительно:

— Пройдемте вместе несколько шагов! Неверное указание часов может сделать то, что ваш вчерашний ответ получится слишком поздно. Идет война, каждый час имеет значение.

— Я ничего не имею против того, что мой ответ запоздает, — ответил барин.

— Дело шло о крупной сумме, о целом состоянии.

— О, да, —отозвался барин.

Они пошли, разговаривая, по дороге. Навстречу им идет пристанский конторщик, должно быть, он опять почуял недоброе и вышел на слежку; но, встретив их вдвоем, он тихонько проходит мимо и кланяется.

До сих пор барин был сдержан, теперь он вдруг проникается благодарностью к телеграфисту и выражает это самым сердечным образом.

— А я отлично понял крестик, — говорит он. — Если эта сделка состоится, у меня на одно судно будет меньше. Это славное судно, на нем были товары, которые стоят брильянтов. Если сделка не состоится, оно пойдет дальше с товарами. Вот какое дело. Но сделка наверное состоялась, иначе я получил бы сегодня еще телеграмму.

Они заговорили о другом, продолжая итти по дороге; вот завиднелись головы драконов на доме адвоката Раша, они прошли мимо его плантаций. Барин становился все разговорчивее, Борсен отлично заметил, что он говорит больше, чем обычно, и не

особенно следит за собой. Они прошли так далеко, что уже стал виден дом господина Хольменгро.

— Посидим немножко, — сказал барин.

Да, конечно, он разболтался, говорил об островах с цветнокожими женщинами, шутил, употреблял восторженные выражения о старых и всем известных вещах, несколько раз повторял собственного сочинения афоризмы, которые Борсен выразил бы гораздо лучше: „Разве не правду я говорю, что любовь временная болезнь! Надо в это время уходить из дому и оставаться наедине с самим собой, вы не согласны со мной?“

Барин не был ни пьяницей, ни развратником, его срывы не имели ничего общего с болезнью. Но он был промежуточный тип, иногда он сходил с рельсов, в иной вечер становился паяцом. Борсен начинал испытывать мучительное чувство от его болтовни, как вдруг барин вытащил из кармана бутылку и стал угощать.

Угощал отпущенный с корабля матрос. Борсен привык ко многому, но тут сказал: „Нет, благодарю вас“ — побледнел и встал. Может быть, он сочувствовал барину, он сказал:

— Премного благодарен, но дома мне надо еще поработать, право, я боюсь! Другое дело, если вы сами выпьете стаканчик, по случаю вашей крупной сделки.

— Да, — сказал барин, тоже вставая, — вот именно, стаканчик по случаю сделки. Это славное винцо, я прихватил его с собой — хотел пойти в одно место, кой кого угостить.

— Ах, я вас задерживаю, вы устали, вам пора ложиться, — сказал Борсен.

— Я не устал, — ответил барин, выпил и спрятал бутылку опять в карман.

— Так значит, покойной ночи! — сказал Борсен, низко и вежливо опустив снятую шляпу, и пошел.

„Странный человек! — думает барин, стоя на месте. — Значит, — говорит, — покойной ночи! — хотя я не устал и не собираюсь ложиться".

А Борсен снова выходит в могильную тишину и благость ночи. Он еще долго философствует и продумывает жизнь откуда-то с самых глубин—чорт его разберет, и опять смотрит на домик конторщика на пристани и — кого же он видит? Барина. В третий раз барина. У него ключ, он входит и запирает за собой дверь.

XII

В тот вечер, когда господин адвокат Раш с женой устроили свой садовый праздник, сороки на горе, возле дома господина Хольменгро, подняли отчаянный крик. У сороки такой нрав: она любит покой и тишину, когда вечером усядется на свое дерево, но если ее потревожат, она кричит, извещая других сорок, чтоб и они тоже кричали погромче, и получается страшный шум.

„Удивительно, отчего это у нас так раскричались сороки!" — думает фру Иргенс, тоже присутствующая на празднике.

Да, так вот, наконец-то адвокат и его жена устроили свой садовый праздник, осенний праздник, и весь Сегельфос собрался к ним. Только нет начальника станции Борсена, потому что за все эти годы он так и не сделал визита, значит не могло быть и речи о том, чтоб его пригласить; но, кроме него, не забыли никого, за одно пригласили на чай и закуску и всех рабочих.

— А когда придет Виллац Хольмсен, — говорил адвокат Раш своей жене, — изволь спокойно сидеть на месте, пока он не войдет в комнату, прими его без всякой торжественности. Смотри на меня, Кристина, и замечай, что буду делать я, и, будь уверена, не ошибешься. Например, когда Виллац Хольмсен соберется уходить, я совсем не намерен его удерживать.

Увы, адвокату Рашу постоянно приходилось учить свою жену светскому обращению, она не имела понятия ни о каких тонкостях. А что, если б она, в подражание ему, вздумала, например, носить свой носовой платок за обшлагом, как делал он и доктор Муус? Нет. В конце концов ему надоело следить за ее ошибками, и только когда они становились уж чересчур грубыми, он выговаривал ей:

— Послушай же, Кристина, нельзя наклонять тарелку, чтоб доесть весь суп, запомни хорошенько. Ни один порядочный человек так не делает!

Фру Раш была, пожалуй, настолько глупа, что чувствовала себя угнетенной своим мужем, но оснований для этого у нее не было; понимай она все правильно, она была бы ему благодарна. Но, разумеется, она не чувствовала к нему благодарности, — на то она — женщина.

Бесцветная, но миловидная, честная и чуть-чуть глупенькая, она не всегда понимала, что говорит. Девушкой — веселая и стремившаяся замуж, женщиной — немножко чопорная, седенькая и сентиментальная, — смотритель пристани, увы, господь не судил, чтоб он достался ей! Он пришел сегодня со своими певцами, и когда они пели в саду, она должна была убежать в спальню, чтоб скрыть свои слезы. Да благословит его господь! А может быть, он и пел-то

для нее, для своей бывшей возлюбленной Кристины Сальвесен? Она отдала свою руку адвокату Рашу, по настойчивому совету и уговорам фру Иргенс, наверно, то было божье предопределение, теперь у нее двое детей, других таких не найти на свете — разве что Виллац Хольмсен мог сравниться с ними. Виллац Хольмсен, когда был маленьким...

А нынче Виллац даже не пришел на вечер. Нет, со времени отъезда Антона Кольдевина молодой Виллац мог больше распоряжаться собой и усиленно работал. Он прислал ей записочку — дорогая фру Кристина! — с благодарностью и поклоном ее мужу, — он застрял с работой и должен поскорее ее кончить, так что никак не может прийти на праздник.

— Да, да, — сказал ее муж, — но ведь вот доктор Муус пришел же, и господин и фрекен Хольменгро здесь, и фру Ландмарк с дочерьми тоже здесь!

Адвокат мог бы назвать еще многих: ленсман из Ура, редактор и наборщик „Сегельфосской газеты", торговец Генриксен с дальних шхер, обе дочери Пера из Буа, то-есть барышни Иенсен, и надо правду сказать, они очень развились, носили часы на груди и совсем стали образованные барышни. Теодор же из Буа, их брат, тот отсутствовал по причине ссоры и враждебных отношений с адвокатом.

Все гости собрались в саду. Лето, можно сказать, уже миновало, но погода стояла еще мягкая и ясная, все были без пальто, только горничная Флорина, разумеется, щеголяла в своем желтом шелковом манто, хотя и должна была прислуживать гостям, всем же остальным было тепло и без верхнего платья. А самый сад или парк был теперь в полном великолепии, со всеми своими клумбами, и боскетами, и прочими прелестями. В нем было все, что полагается: и фон-

тан бил высокой струей, и на лужайках—зеленая трава, и на дорожках — гравий и раковинки, а теперь к торжеству выписали с юга деревянные скамейки и множество круглых столиков, и столики были из листового железа и выгибались со звонким гулом, когда на них что-нибудь ставили.

Да, так здесь-то, собственно, и происходило торжество, здесь новый фотограф снял все собрание, пока еще было светло, и здесь публика находилась до поздней ночи. Знатные же и почетные гости расположились потом на веранде, а то и вовсе в гостиной, пили пунш, чокались друг с другом и беседовали. Праздник вышел очень уютный, и доктор Муус несомненно выразил общее мнение, когда, подняв бокал, произнес речь во славу сада и семейства Раш. Ах, этот доктор Муус, как он умел говорить и держать в своей власти целое общество! Хуже всего, пожалуй, в нем были его безобразные уши, но все лицо сияло одухотворенностью, очки же придавали ему вид китайского ученого. Речь его в этот вечер имела символическое значение, потому что доктор получил место на юге и собирался уезжать. Он расхвалил сад и парк, но пожалел об отсутствии соловьев. Правда, на юге тоже нет соловьев, но он, уезжавший, все же приближался к соловьям — добро пожаловать и вы, все, кто собирается на юг!

— Спасибо, — промолвил адвокат Раш.

— Спасибо, — сказала фру Ландмарк, достала носовой платочек, помахала доктору и сказала: — Браво!

Смотритель пристани собрал свою компанию перед верандой, они откашлялись, прочистили горло и запели про „Весну Юности“ и светлое лето.

Теперь настала очередь адвоката. Он позвонил своими ключами и встал, страшно пузатый и откормленный, но видный и представительный мужчина. Соловьи, сказал он, нет, соловьев он не завел, пока еще не завел. Но он ввел кое что другое в Сегельфосе, он подал маленький пример. Что представляло собою до него это место? Голое поле. А что оно теперь? Парк с фонтаном и заморскими деревьями; в его руках оно превратилось в цветущую поляну, воздвиглась вилла в современном стиле, какие видишь на юге, и он уже ведет переговоры с несколькими литейными заводами относительно приобретения двух художественных произведений, двух статуй для сада. Но — это не все; устраивая это собрание, адвокат имел более серьезное намерение: теперь, когда здесь присутствует столько состоятельных мужчин и дам, он хотел бы предложить основать союз Благоденствия Сегельфоса — в председатели можно выбрать кого угодно, ему, адвокату, это безразлично. Вместе с тем он хочет теперь же поблагодарить собрание за дружный отклик на его приглашение, поблагодарить каждого в отдельности от своего имени и от имени своей жены и поднять этот бокал за здоровье ныне отъезжающего, незаменимого друга своего дома, доктора Мууса!

„Ура“ и „браво“ и пение кружка смотрителя пристани.

Но вечер кончился еще не для всех. Многие гости ушли, ушел господин Хольменгро с дочерью, и ленсман из Ура последовал за своей приятельницей фрекен Марианной. Но доктор не ушел, не ушла и фру Ландмарк с дочерьми; эти гости остались на ужин и продолжали веселиться.

Да и гостиная же была у адвоката Раша, только в ней и посидеть! Не современная дребедень с фар-

форовыми статуэтками, четырехугольными лампами и мазней „молодых“, а солидная буржуазная обстановка; вкус у хозяина дома был наследственный,—старинный чиновный род наложил на него свой отпечаток, а в помощь ему явились и материальные средства. Стоял в ней книжный шкап со стеклянными дверцами, и так как поэты нынче все вымерли, то в шкапу не было ни одного живого, потому что в нем стояли поэты. А стены были густо завешаны коврами и четырехугольниками гобеленов машинной выработки, а на столиках лежали альбомы с родственниками и друзьями Раша, и даже телеграммы к свадьбе Раша и его жены, переплетенные в книжечку с золотой надписью и датой золотом. Этажерка была богато заставлена канделябрами под старину, раковинами, красивыми камешками, стеклянными флаконами и рождественскими подарками в виде чернильниц и бисквитных фигурок. В общем — наследственная культура. Но адвокат Раш отнюдь не представлял собою одну наследственность и точка! Он, как и доктор Муус, усваивал кое какие мелочи и из современности, поскольку их можно было соединить с его природным здоровым вкусом. Так, например, когда доктор Муус в последний раз ездил в город, он обедал на пароходе с несколькими комми-вояжерами, и их речи и взгляды, конечно, нисколько не были ему интересны, но они очень красиво и совсем по новому действовали ножом, держали его, как ручку для письма. Эту черточку современности доктор Муус привез с собой и, постоянно упражняясь, достиг того, что все лучше и лучше резал мясо таким способом. Не прошло много времени, как и адвокат Раш приметил и перенял эту штучку с ножом, но, конечно, ему стоило больших трудов обучить фру Раш, потому что сама она

ничему не могла научиться, на то она — женщина. Однако доктор Муус совсем не пришел в восторг, увидя свое искусство в руках адвоката, и бог знает — человек, который так много ест и имеет такие толстые обрубленные пальцы, может ли такой человек быть из хорошей семьи! Когда адвокат ссылался на чувствительный желудок, это было, несомненно, простое ломание; у доктора же Мууса желудок был по настоящему слаб от утонченности многих предков.

— Как чудесно они пели! — сказала фру Раш дамам Ландмарк, пытаясь завязать беседу.

— Вы находите? Ах, да, правда, — ответила фру Ландмарк. — Хотя мы у себя на юге слышали совсем другое пение.

— Я только хотела сказать — очень, очень недурно. Впрочем, я мало в этом понимаю.

— Тебя ведь так легко удовлетворить, Кристина, — вмешался ее муж. — Но одному я рад: что мы учредили союз Благоденствия Сегельфоса. Очень рад!

Доктор всегда — в любую минуту — умел ответить, что надо. Он поднял стакан и поздравил своего друга со званием председателя.

— Ну, что ж! — равнодушно отозвался адвокат. — Приходится жертвовать собой ради друзей. Но теперь надо нам устроить базар и собрать денег. Это самое главное. Полагаю, что могу расчитывать на барышень Ландмарк?

— А эта фрекен Хольменгро не особенно симпатична, — сказала одна фрекен Ландмарк.

— Да уж, можно сказать, — ответила другая фрекен Ландмарк.

— По моему, — сказал доктор Муус, — в сущности, и нельзя ожидать особенно многого от особы, не

имеющей за собой нескольких поколений культурных предков.

— И потом у нее желтая кожа. Это от плохого желудка, доктор?

— Тс... не говорите о плохом желудке! — сказал адвокат.

Доктор не обратил внимания на его слова и ответил:

— Нет, это наследственное. Безусловно наследственное. Когда знаешь науку о расах, это не возбуждает сомнения. Вспомните, в жилах фрекен Хольменгро течет индейская кровь. Она то, что называется квинтеронка.

— Представь — она индианка! — говорит одна фрекен Ландмарк.

— Вот уж ни за что не согласилась бы быть индианкой!—говорит другая фрекен Ландмарк.

— Я боюсь за ленсмана,—говорит адвокат, думая о своем.—Как бы в один прекрасный день он не крахнул. Как бы мне не пришлось в один прекрасный день положить конец этому делу.

— Неужели этот человек так беззастенчиво живет выше своих средств?—спрашивает доктор.

— Не стоит о нем и говорить!—с досадой отвечает адвокат.—Он мог бы зарабатывать пропасть денег, но он не умеет вести себя, а если что и заработает, у него ничего не держится. Вот, хоть сейчас, когда мы, имеющие на это средства, подписали каждый по пяти крон в пользу благоденствия Сегельфоса — ленсман тоже должен был дать столько же! Но у него абсолютно нет на это средств, с него достаточно было бы и пятидесяти эре.

— Я не видела сегодня начальника телеграфа. Он никогда нигде не бывает?—спрашивает одна фрекен Ландмарк.

— А вы знакомы с ним? — спрашивает доктор Муус.

— Нет, мы только один раз подавали телеграмму, — отвечает другая фрекен Ландмарк.

— Да, он нигде не бывает,—сказал адвокат.— Во всяком случае, человек, не делающий визитов, не может быть приглашен в мой дом. Есть известные формы, соблюдения которых образованные люди должны требовать, иначе мы все смешаемся в одну кучу.

— А мне показалось, что последняя песня была совсем недурна, — сказала вдруг фру Раш. — Вы не находите, фру Ландмарк?

Улыбаясь с бесконечной снисходительностью, адвокат отвечает жене:

— Что в тебе хорошо, Кристина, так это то, что тебя так легко удовлетворить.

Фру Ландмарк сказала:

— А этот молодой Хольмсен из „поместья", как здесь говорят—там миленький флигель, но никак не „поместье"! Здесь на севере, должно быть, не очень взыскательны насчет „поместий". Он ведь поселился теперь дома?

— Возможно,—ответил доктор, как будто не знал этого и как будто этого и не стоило знать.

— Его, кажется, не было нынче вечером?

— Нет. Он тоже из тех, что не проявляют особой вежливости,—отозвался адвокат.—Но я пригласил его ради моей жены,—ведь постоянно приходится жертвовать собой ради друзей,—она знала его еще ребенком. Но результат был тот, что он не пришел.

— Ведь он ответил и просил извинить его,—вмешалась жена.—Очень вежливым письмом.

— Недоставало, чтоб он даже не ответил вежливо и почтительно, раз я оказал ему любезность своим приглашением.

— Не знаю,—сказал доктор Муус,—есть люди, с которыми я никогда не мог поладить. Я не мог сойтись и с его отцом,—человек, дослужившийся только до лейтенанта! Он, вероятно, думал, что может прийти ко мне и разыгрывать знатного барина—но не на таковского напал!

Вошла горничная Флорина и сказала:

— Пожалуйста, вот тут телеграмма, я нашла ее возле места, где сидел господин помещик.

Телеграмма господину Хольменгро, она была вскрыта: Порто Рико такого-то числа, двести двадцать тысяч за судно, за „Сову", ответ до такого то часа, Феликс.

— Феликс—это сын помещика,—пояснил адвокат.— Потерять телеграмму такой страшной важности! Пойди и сейчас же отнеси ее господину Хольменгро, Флорина.

Эта крупная сумма денег закрыла на минуту всем рты, словно упала на стол. Потом все заговорили:— Двести двадцать тысяч — господи, какими делами и какими деньгами ворочает этот человек!

Даже адвокат сказал растерянно:

— Да, нельзя поручиться, что этот человек и сам-то знает, как велико его богатство!

Все эти мелкие людишки вдруг заглянули в величие несколько иного рода, чем их собственное, и не сразу могли опомниться. Чудодей Хольменгро потерял телеграмму, сейчас горничная Флорина идет с ней—потому что ведь не мог же он обронить ее намеренно?

Фру Ландмарк из пасторской усадьбы, скрывая ход своих мыслей, промолвила: — Феликс — это красиво, не правда ли, девочки?

И конечно, девочки очень одобрили:

— Неужели он никогда не приезжает домой?— спросили они.

— Домой? Он и так дома,—обидчиво сказал доктор Муус.—У своих соплеменников,—добавил он.

Из парка все еще доносился смех и любовные повизгивания, хотя было уже совсем поздно; когда же визг стал усиливаться, доктор Муус сказал адвокату:

— Послушайте,—это ваши избиратели. И это вам приходится терпеть?

Замечание попало в точку. Адвокат с минуту имел такой вид, как будто его разгадали.

— Должен сказать, что признаю за народом право иметь свои развлечения, когда мы имеем свои,—ответил он.

— Мудрый кади,—сказал доктор, заглаживая сказанное,—ты сказал справедливо, и слова твои—золото! Мы с радостью присоединяемся к вам без всяких оговорок, вы этого заслужили. Не поймите меня превратно.

— Но не подлежит сомнению, что они угостились чем-то еще, помимо чая и бутербродов,—заметил адвокат, смягчаясь,—я подозревал весь вечер. Я сейчас...

Он приподнялся и крикнул в темноту с веранды, что теперь все должны удалиться из парка и разойтись по домам. Спасибо за сегодняшний вечер!

Ах, мудрому кади не следовало бы устраивать свой садовый праздник так близко к осени. Правда, было тепло и приятно, но зато и темно для очень многого. Пострадали посадки, пострадали газоны, гравий на дорожках во многих местах оказался разрытым. В ближайшем номере „Сегельфосской газеты“ была передовица о празднике, в которой говорилось, что адвокат Раш больше не будет открывать своего парка для народных увеселений.

Это весьма прискорбно,—писала газета,—господин адвокат и народ всегда находились в добрых отношениях, но теперь народ сам их испортил. После праздника, посадки оказались в значительной мере потоптанными, а в боскетах было найдено не более и не менее, как 18 дамских гребней, из них один с красным бисером. Что это отвратительно, не требует доказательств,—писала газета,—и мы полагаем, что народу следовало бы отчасти компенсировать господина адвоката Раша, отдав ему свои голоса на выборах. Все на выборы!

Выбирать адвоката Раша?

Но мудрому кади не следовало так долго медлить со своим праздником, вечера стали чересчур темны, а во мраке случается многое. Отчего это сороки подняли такой страшный крик? Ха, не более и не менее, как по случаю взлома, у господина Хольменгро, в то время как он сам и его домашние были на празднике, а дом оставался пустым. Налет на его кладовую, грубая кража свинины, мяса, сыра, копченой лососины и сластей в банках, чистейшей гастрономии, да мало ли чего! Вот об этом-то и возвещали сороки!

Вернувшись домой, фру Иргенс сейчас же подошла к шкапчику с ключами, и, конечно, все ключи были на месте. Фру Иргенс была замечательная хозяйка, а может быть ее грызло беспокойство,—во всяком случае, она никак не могла позабыть о пропавшем ключике от кладовой; она взяла фонарь и пошла в кладовую. Здесь она сразу и увидала, что случилось, и на крики ее прибежал весь дом, в том числе и ленсман, потому что он тоже как раз находился здесь; и ленсман взял фонарь, тщательно все осмотрел и выяснил, что было можно. К сожалению, это оказалось немного, возможные следы на дворе были затерты

другими следами, и вор не оставил после себя никаких примет. Но во всяком случае ленсман, а также, впрочем, и остальные установили, что в кладовой был отперт маленький висячий замок, американский замок, висевший в неприкосновенности на двери все время, но теперь носивший свежие следы на ржавчине вокруг замочной скважины. Замок был совершенно неповрежден, так что он был отперт ключом и опять заперт.

— Ах, если бы барин привез с собой замок из города!—говорила фру Иргенс, плача и ломая руки.— Но это я виновата!—говорила она и плакала все сильнее. — Я не должна была выпускать ключа из своих рук, а ночью надевать его на шею!

Да, смятение было большое, но сам господин Хольменгро отнесся к происшествию спокойно и мягко и полагал, что как-нибудь они сумеют раздобыть еще продуктов.

— Пойдемте же, пойдемте в комнаты! Пойдемте, ленсман!

Но пока они стоят, вдруг появляется Мартин-Работник, идущий из имения Сегельфос, и достаточно ему было услышать слово кража, как он говорит во всеуслышание:

— Да это Ларс Мануэльсен сделал!

Молчание.

— Ты это говоришь?—спрашивает ленсман.

— Да, говорю!—И Мартин-Работник очевидно не желает щадить Ларса Мануэльсена.

— Ты сам видел?

— Я встретил его с узлом. И Оле Иоган встретил, и Петер лопарь, что живет у нас, тоже встретил. Мы все трое его встретили, мы шли вместе.

— Где же вы его встретили?

— Здесь! —ответил Мартин-Работник и поспешно отмерил несколько шагов по дороге.

Ленсман поднял фонарь и осветил лицо господина Хольменгро, но не заметил на нем никакого вопроса. Господин Хольменгро ничего не сказал.

— Почему вы были здесь так поздно вечером?— спросил ленсман.

Мартин-Работник ответил:

— Да уж не для того, чтоб кого-нибудь обокрасть. Мы получаем харчи на усадьбе в Сегельфосе и от Виллаца Хольмсена. Нет, вот как это вышло: мы услыхали, что сороки очень раскричались, Оле Иоган и говорит—он как раз был у нас, а ему ведь непременно надо все знать—он и говорит, пойдемте, мол, посмотрим, чего это сороки так раскричались. Мы и пошли.

Опять осветил ленсман лицо господина Хольменгро, но господин Хольменгро только сказал коротко:

— Нечего здесь стоять и говорить об этом!— И пошел в дом.

Ленсман же задал еще несколько вопросов, как бы для заключения:

— Ларс, ты говоришь? Он разговаривал с вами, или вы сказали ему что-нибудь?

— Я сказал добрый вечер, но он только пробормотал что-то и поскорее прошел мимо. Больше никто ничего не сказал.

— Вы ясно видели, кто это был?

— Мы можем присягнуть, если вам угодно. Господи помилуй, нам ли не знать Ларса Мануэльсена, и его пуговицы, и его парик! Он нес под мышкой глиняную банку.

— Это банка с вареньем! — воскликнула фру Иргенс. — Малина! — сказала она. — Ах, боже мой, если б мне его встретить!

Фрекен Марианна увела ленсмана в дом, и остальные разошлись.

Но хотя господин Хольменгро и позже не говорил ни слова о краже и о виновнике ее, слух о ней распространился по местечку и окрестностям. Слишком многие о ней знали. „Сегельфосская газета“ тоже не могла промолчать и преподнесла новость в серьезной юридической статье, которую приписывали перу самого адвоката Раша. В статье сквозили ненависть и месть.

Шум поднялся большой. Но преступник, видимо, чувствовал себя в полной безопасности, во всем этом было нечто слишком явное, нечто почти угрожающее: гостиница Ларсена несомненно получила кое что из лакомых продуктов, потому что вдруг сделалась замечательно хорошей гостиницей, по крайней мере, несколько комми-вояжеров, приехавшие в Буа с осенними товарами, заявили, что они никак не ожидали найти в этих местах такую гостиницу и будут ее рекламировать. Каким образом гостиница Ларсена вдруг отважилась подавать первоклассную лососину, и свиную грудинку, и малиновое варенье своим постояльцам? Разве что это было в связи с последними ночными похождениями господина Хольменгро. Да, разве что так! Ларс Мануэльсен был отцом Даверданы, а Юлий, хозяин гостиницы, ее братом, может быть, они оба знали, на что могут отважиться.

Но Сегельфос преобразился: это был уже не тихий и безгрешный Сегельфос, каким он некогда был. Безгрешный? „Из Сегельфоса сделали всесветную яму,— говорил сам Ларс Мануэльсен,— и я пошлю об этом письмо моему сыну Лассену!“ А тихий? Нет, здесь было не тихо, здесь совершалось многое, пусть

в малом виде, и хотя местечко было маленькое, случались перевороты, роковые события.

Вот отпраздновали и праздник на острове у Теодора из Буа, тот самый праздник гагачьего пуха, который Теодор обмозговал в своей голове только для того, чтоб умалить и унизить праздник адвоката. Наконец пришло и его время. И уж если кто мог придумать сногсшибательный план праздника, так это Теодор. Но он отнюдь не собирался блеснуть на один день всем великолепием на пустынном острове, прежде всего его имя и его предприятие должны были засиять в местечке Сегельфосе, для этого он припас кое что невиданное и неслыханное в этих местах: он добыл фейерверк!

И чертовский же малый этот Теодор!

Он был теперь очень занят, его новая мелочная лавка была почти готова, и когда весь лак и позолота просохнут, можно будет переезжать. Ему уже некогда было самому торговать за прилавком. Какой-то человек пришел купить желатину, — он из горного поселка и уже покупал желатин и раньше:

— Дайте мне еще пять пакетиков, — сказал он, — такого сорта, как в прошлый раз.

— Подожди, пока мы вернемся с праздника, — отвечал Теодор, — разве ты не видишь, что я поднял флаг?

— А зачем вы подняли флаг?

— Узнаешь в свое время!

Он поднял флаг в честь Антона Кольдевина, он поднял флаг в честь праздника. Когда-то он два дня выдержал на сигнальном холме приказчика Корнелиуса и вымотал у людей душу своей таинственностью, в тот раз это было ради важного комми-вояжера с собственным пароходом, а нынче? О, нечто исключительное!

Пришел почтовый пароход, и Антон Кольдевин приехал, но Теодор продолжал махать флагом. Смотрите хорошенько, от Теодора всего можно ждать, он никогда не надувал народ начисто, во всех его выдумках всегда что-нибудь да было.

День выдался ясный и тихий, пять лодок были приготовлены для молодежи, и на набережной собралась толпа. Несколько молодых рабочих с мельницы тоже отпросились с работы и пришли со своими подружками, должно быть фрекен Марианна выхлопотала им этот отпуск на половину дня, потому что сама согласилась поехать. Да, вот и в самом деле она идет, в сопровождении Антона Кольдевина, она уступила без дальних разговоров и пошла с ним.

Без дальних разговоров? Как бы не так. Антон приехал вечером, остановился в гостинице и сейчас же пошел к ней. Не поедет ли она с ним завтра на праздник гагачьего пуха?

— Ах, господи, мне кажетса, вы сошли с ума! — сказала она.

На это он заметил:

— Я нахожу, что между моим промахом и вашим огромным изумлением нет никакого соотношения.

— Вы хотите сказать, что я должна была бы ожидать от вас чего-нибудь подобного?

— Да, да, скажем так. Я просто вернулся, как сказал.

И, в сущности, она, вероятно, прониклась восхищением перед решимостью и энергией этого человека. Он не тратил жизнь попусту на рассуждения и взвешивания, но говорил что-нибудь и действовал, как думал. И вот он перед нею, после трех дней пути.

— Я отвечу вам завтра, — сказала она.

— Благодарю вас, — ответил он. — И обещайте мне не испортить моего дела за ночь! — Этот Антон Кольдевин был вовсе не бессловесный, далеко нет.

А на утро они сговорились, и вот парочка явилась.

Теодор из Буа пошел им навстречу, раскланиваясь еще издали. Ах, Теодор даже дрожал от радости и беспокойства, и, разумеется, ему было из-за чего волноваться. И вот он решает, что самое подходящее будет принять полушутливый тон, и когда Марианна говорит: „Здравствуйте“, — Теодор отвечает:

— Как же, здравствуйте, здравствуйте и добро пожаловать!

Но, впрочем, он был чрезвычайно вежлив и говорил о благодарности, даже о высокой чести.

Когда лодки отчалили от берега, Теодор преподнес берегу и местечку огромный сюрприз: он закатил салют. Да не обыкновенными, простыми выстрелами заячьей дробью, а в десяти местах, в горах, он заложил в ямы динамиту и теперь взорвал его. Даже земля задрожала. Народ закричал „ура“.

— Словно король отправляется в путешествие! — сказала Марианна.

— Королева! — возразил Антон и поклонился ей.

— У меня еще десять выстрелов для обратного пути, — сказал Теодор из Буа, сняв шляпу.

И, мало того, открыл вдруг граммофон, и в трубу загремело:

God save the King [1])

— The Queen! [2]) — сказал Антон и поклонился. А Теодор взялся за шляпу.

---

[1]) „Боже храни короля“ — начало английского гимна.
[2]) Королева.

Бедненький коротышка Теодор, и он тянулся туда же! Бедный? Ха, он был сущее золото. Он суетился и немножко куражился, теперь в смущении своем он вообразил, что ему надо быть веселым и оживленным, бывают же такие странные фантазии; но парень имел вес в других делах, и там он стоил дюжины.

„Этакие выстрелы, и этакая музыка, и этакий праздник!“ думал он. А что весь Сегельфос сидит и завидует, в этом он ни на минуту не сомневался. Вот у него целая лодка с одними только съестными припасами и напитками, лодкой правят хозяин гостиницы Юлий, пекарь и Нильс-сапожник. Все трое будут прислуживать.

— За нами идет еще лодка, — сказала фрекен Марианна.

— Это наше продовольствие, — ответил Теодор, прикладывая руку к шляпе.

Он постоянно прикладывал руку к шляпе и держался, как солдат, отдающий честь. Он придумал это неожиданно, и это была чертовски бравая выдумка! Позже вечером он надумал еще другое: отдавая громким голосом приказания прислуге, он заканчивал их своим именем, словно подписывался: „Теодор Иенсен“, говорил он, весь бодрость и оживление. Он нарядился сегодня в новый полосатый костюм и был неотразим, на ногах башмаки — бог знает, откуда он их выписал, из Китая или из Вены. „Из Вены!“ говорил Теодор. А башмаки были страшно острые и расшитые, с гетрами из желтого бархата,—нет, это были специально придуманные башмаки, и на них не хватало только серебряных бубенчиков.

Двинулись в путь при всеобщем благодушии, с песнями, при ясной погоде. Барышни сегодня отли-

чались одной особенностью: почти ни у одной не было гребня в прическе. Но они были все же очень веселы, как будто гребни нынче совсем вышли из моды. И во всем царило такое же настроение. Море простиралось неподвижное и блестящее, как огромнейший, залитый солнцем, лист жести; от села подплывает еще несколько лодок, и все их радостно приветствуют.

— Мы слышали страшную стрельбу, — говорят с лодок.

— Вот и отлично, — отвечает Теодор.

Народу набралась уйма, и хорошо, что была целая лодка с провизией.

Но вот прямо против них появилась новая шлюпка, она шла от дальних шхер, а так как она была свеже выкрашена и блестела, солнце ударяло в нее, и она была похожа на маленький кораблик с золотой грудью. В ней сидели дамы из семейства Генриксен с дальних шхер.

— Мы услышали страшный гром и стрельбу, — сказали они.

— Вот и отлично, — отвечал Теодор, прикладываясь к шляпе, — мы едем на праздник, поворачивайте и поезжайте с нами, с почтением Теодор Иенсен.

Они поехали, все ведь поехали, хозяин был неотразим,

— Надо было известить Виллаца, — сказала Марианна Антону. — Может быть, он тоже поехал бы.

— Я вообще не решаюсь являться в этот раз к Виллацу, — ответил Антон. — Я повздорил с ним в прошлый раз. Нынче я буду здесь инкогнито.

— Почему не поехали ваши сестры, Теодор? — спросила Марианна.

Теодор забыл приложиться к шляпе:

— Мои сестры? Нет, фрекен Хольменгро, мои сестры только и думают, как бы вышвырнуть меня вон, они сумасшедшие, они погубят сами себя, а не меня. У меня ведь сейчас моя собственная фирма! — И Теодор разъяснил все обстоятельно и без всякого ломания, потому что здесь он чувствовал под собой твердую почву. В заключение он рассказал, что даже и не обедает дома, а ходит в гостиницу, все из-за сестер.

Солнце быстро снижается, и наступает пышный закат, румянец его ярче золота и крови, и словно беззвучный гром тонет он в море. На маленьком островочке сидят две большие чайки грудью прямо против вечернего багрянца, и кажется, будто они из розового шелка. Они поворачивают головки и следят глазами за лодками, но не снимаются с места.

Марианна чуточку задумчива, она говорит:

— Какой мистический вид у этих чаек, они живут в своем мире и, может быть, там они высокопоставленные птицы, всеми уважаемые птицы. Так что если б они сейчас умерли, о них, может быть, стали бы очень горевать в царстве чаек!

Странные слова, но Теодор почувствовал, что они ему очень приятны и удивительно мягки. Он захватил с собой маленький подарочек для фрекен Марианны за то, что она была так добра и поехала с ним сегодня, ах, просто маленький носовой платочек в тридцать пять крон, комми-вояжер сказал, что его не стыдно подарить и принцессе. Но теперь нужно, чтобы фрекен Марианна в течение вечера потеряла свой.

— Скоро мы приедем?—спросил Антон.

— Да. Это вон там, где флаг.

— Вы и там тоже подняли флаг?

— У меня не только флаги. Когда стемнеет, мы зажжем факелы и плошки.

Оказалось, что Теодор заранее послал людей все приготовить. Все высаживаются на берег и идут к избушке. Немедленно появилось вино, стаканы и печенье для подкрепления души. И пока повара и виночерпии разводят костер и накрывают столы, Теодор ведет гостей погулять по птичьему острову. Он здесь постоянный гость и все знает. „Когда-то это был наш остров!“ думают, верно, дамы с дальних шхер. И это правда. Но в свое время у Генриксена с дальних шхер был крупный и опасный долг, и таким образом птичий остров перешел к Теодору из Буа. Все переходит из рук в руки.

Остров сейчас необитаем, птицы улетели, гнезда их пусты, пух собран в последний раз, виднеются только маленькие крыши над гнездами, ожидающими прилета новых птиц на будущий год. Запоздалая морская сорока с писком проскакала на длинных красных ногах по обнаженному от прилива берегу, кругом острова покачивались на волнах чайки.

Всюду было одно и то же, и все осмотрели быстро, вечер затуманился, у избушки уже зажглись факелы и плошки. Трое приставленных к провизии работали по инструкции и работали хорошо, хотя пекарь пропил свою собственную пекарню за стойкой у старика Пера из Буа, так что нынче вечером ему доверили подавать только хлеб и печенье; напитками же заведывал хозяин гостиницы Юлий. Он уже расставил вино и красивые стаканчики для господ в избушке, и шипучку со спиртом на длинных столах на вольном воздухе.

— Настоящий виноградный спирт!—сказал Теодор, давая читать этикетку.

— Да, уж на Теодора можно положиться!—загудела молодежь.

А когда появились на столе закуски, то оказались они самыми лучшими, какие могла раздобыть гостиница Ларсена, и публика пила шипучку со спиртом и ела бутерброды с лососиной, и со свиной грудинкой, и с малиновым вареньем; и все ведь столько наслышались об этих лакомствах, что, пока ели, нахохотались до того, что слезы катились градом.

— Только бы нам не попало за это по парику!—говорили гости, пуская самые тонкие намеки. Но выпив побольше, расхрабрились и говорили:—Только бы нас не арестовали!—Юлий был занят в избушке и не слыхал никаких злых шуток, он подавал господам, какие там поместились, и для этого стола Теодор дал ему лучшие консервы, а кроме того были холодная птица и мармелад, и яйца в трех видах, и пирожки, и морошка. А по части напитков было пиво и красное вино, а к птице корзина шампанского. Юлий великолепно изучил весь порядок по поваренной книге и разузнал у комми-вояжеров.

Ах, что за праздник! Так что, когда люди вспоминали про праздник адвоката Раша, только уж самые робкие не говорили о нем с досадой и раздражением! Да уж, на Теодора можно положиться! Да и все вышло необыкновенно удачно, погода была достаточно прохладная, как раз по запасу виноградного спирта, то время года, когда кусты роняют листья. Девушки были прелесть какие хорошенькие, они цвели в последний раз перед осенью, и парни гасили факелы по мере того, как Нильс-сапожник их зажигал, потому что очень уж удобная была темнота без света. Парочка за парочкой разбредались куда вздумается, а так как было довольно прохладно, приходилось

бросаться на землю и прижиматься теснее друг к другу, чтобы не зябнуть. На небе вспыхнули редкие звезды, там и тут на острове попыхивали кончики папирос.

Нильс-сапожник опять ужасно исхудал и обнищал, он ничего не заработал с весны, когда был театр, и до сегодняшнего вечера, когда его назначили зажигать факелы и прислуживать на острове. А теперь сумасшедшие люди мешают ему добросовестно исполнять свои обязанности! Он идет прямо в избушку и жалуется:

— Они гасят мне факелы,—говорит он,—я зажигаю, зажигаю, а они все гасят!

Чтоб успокоить его, Теодор выходит вместе с ним и расследует дело:

— Да ведь здесь почти что никого и нет?—говорит Теодор.—Зажги снова!

Тут выходит из избушки Юлий, отводит Теодора в сторонку и шепчет:

— Я подобрал ее носовой платочек!

Значит, все идет, как по маслу, и Теодор заводит граммофон и играет мазурку, чтоб вызвать беглецов на танцы на лужайке; он даже не набрасывается на пекаря, который, улучив удобную минуту, стибрил бутылку спирта и уже вдребезги пьян.

И вот постепенно парочки возвращаются из окрестностей и, получив новое подкрепление для души, пускаются в пляс. Было невероятно весело, они хохочут, кричат, курят папиросы, ах, что за праздник, да уж, на Теодора можно положиться! Даже дамы с дальних шхер выходят из избушки, соглашаются потанцовать с парнями и готовы все послать к чорту!

Когда же мало-по-малу все разошлись из избушки, за неубранным столом остались только господа, только фрекен Марианна и Антон Кольдевин. Фрекен

Марианна прилегла на скамейке у стены, и Антон говорит ей:

— Наконец-то мы одни!

На это Марианна ничего не ответила, а только быстро взглянула на него. Тогда он опять говорит:

— Этот вот взгляд—только вы одна и умеете бросить его по настоящему!

— Неужели?

— Как вы думаете, увижу я в этот раз вашего отца?—спросил он.

— Вы и в самом деле не собираетесь заглянуть к нам?

— Да, благодарю вас. Но, на всякий случай, передайте вашему отцу, что мне посчастливилось с „Жар-птицей". Я распорядился правильно, и мне повезло, так и скажите.

Марианна кивнула головой. Антон придвинулся к ней и сказал:

— Мне хотелось бы итти с вами по дороге, чтобы нас захватил дождь и чтобы нам пришлось итти под одним зонтом.

— Вот как,—отозвалась она.—Так вам посчастливилось, вы заработали много денег?

— О да.

— В таком случае, не можете ли вы помочь одному здешнему человеку, уделить ему сколько-нибудь?

Это огорошило Антона:

— Одному человеку? Кому это? Я с ним знаком?

— Нет, право, не знаю. Ему нужны деньги, не знаю сколько, может быть тысяча крон.

— Гм. Да—это следовало бы сделать кому-нибудь, кто стоит ближе, чем я, ведь я даже не живу здесь. Но, разумеется. Есть у него имущество, обеспечение?

— Обеспечение? Нет, я имела в виду подарок. И анонимный подарок.

Тогда Антон улыбнулся:

— Это настолько неделовой подход, что я даже не могу в этом разобраться. Нет, для меня это уж чересчур замысловато.

— А-а,—протянула она.

— Для меня это отзывается актерством и минувшими столетиями.

— Я, во всяком случае, знаю человека, который не стал бы спрашивать об обеспечении,—сказала Марианна.

— Совершенно верно! — ответил Антон, вспыхивая. — Я тоже знаю. Но он не деловой человек, он просто ничего.

— Он — золото! — сказала Марианна, она опустила ноги и села на скамейке.

— Золото? Вот уж меньше всего! Он даже не серебро. Он вынужден рубить свой лес, чтоб как-нибудь свести концы с концами.

Марианна улыбнулась. Но Антон, ничего не замечая, продолжал:

— Золото? Нет. У него есть музыкальные инструменты, ножницы и щеточки, и много пар перчаток, и разные вещички из малахита и оникса, но золота, ценностей...

— Какого-нибудь обеспечения? — подсказала Марианна, и ее продолговатые глаза стали узкими, как ножички.

— Да, обеспечения — имеется ли у него что-нибудь такое? Имение не заложено? — спросил Антон.

— Как, разве вы не друзья? — удивленно спросила Марианна.

— Да, конечно. Но вы думаете, я не говорил ему то же самое прямо в глаза? Гораздо больше. Он

человек прошлых столетий, он мечтает об искусстве и природе, о государстве и этической жизни. Я этим не занимаюсь. Я принадлежу к этому миру, действую и работаю, зарабатываю деньги и трачу деньги. Тысячу крон какому-то человеку? Разумеется, раз вы приказываете. Я только хотел сказать, что такой образ мыслей устарел и глуп. Но само собой разумеется. Тысячу крон, если вам так угодно. Завтра утром я телеграфирую, чтоб их выслали. Разве после этого я не милый? — спросил он, придвигаясь еще ближе к ее скамье.

— Хорошо, тысячу крон, — сказала она необыкновенно умильно и вкрадчиво. — Нет, отодвиньтесь пожалуйста немножко, вон туда, — да, так! Вот видите ли, мне не хотелось бы вмешивать в это отца или Виллаца.

— Виллаца? — воскликнул Антон. — Да у него и не найдется тысячи крон!

— Неужели?

— Какое там! Можете мне поверить!

— У него гораздо больше, чем вы думаете, у этого самого Виллаца.

— У Виллаца? Вот что! Благо ему, если у него есть! И вообще я не понимаю, чего вы носитесь с вашим Виллацем. Можно подумать, что вы жалеете его, цените его безобидность. Неужели вы не понимаете, что он только запутает вас? Послушайтесь доброго совета, Марианна. Конечно, я приехал сюда для того, чтоб сказать вам это, а вовсе не на праздник. Я приехал ради вас, и вот я здесь! Да, я придвигаюсь к вам, я хочу упасть к вашим ногам, вот, смотрите! Это не годится? А по моему очень годится, и вы можете меня выслушать, я не хотел говорить раньше, но теперь с „Жар-птицей“ вышла

такая удача. Мне не пристало изливаться о своей любви и бессонных ночах и тому подобном, но я влюблен в вас с первых каникул, когда был в Сегельфосе, и сейчас вы непременно должны меня выслушать, Марианна. Я не стану утверждать, что у меня много заслуг, нет, этого я не стану, но кое что я могу предложить вам. Виллаца я совершенно сбрасываю со счетов, решение зависит от вас и от меня.

— Да нет же — что вы говорите? Да перестаньте же!

— Не отодвигайтесь. Я заканчиваю тем, что делаю вам сейчас предложение разумного человека: примите мою руку, я никогда не предлагал ее другой.

— Нет, — сказала Марианна. — И не будем больше об этом говорить.

— Я совершил этот длинный путь, чтоб добиться вас, чтоб завоевать вас.

— Вы с ума сошли!

— Поговорим серьезно, Марианна. Я предлагаю вам свою руку, в этом нет ничего безумного, мы знакомы с самой ранней юности, я ждал вас с тех пор и не навязывался. Виллаца я совершенно не принимаю в расчет.

— А я принимаю.

— Вздор. Вы отлично знаете, что это невозможно. Если бы еще это был тот купец — а может быть, это купец?

— Нет, это Виллац, — сказала она, вставая. — Пойдемте отсюда.

— Послушайте! — сказал он, тоже вставая; свет от лампы ударял ему прямо в лицо и мешал. — Послушайте, — эти пианисты без будущего — я не хочу говорить о нем лично, раз его здесь нет, но обо всех вообще. Для меня нет ничего нелепее, чем видеть,

как женщины сходят по ним с ума. Ведь это же стыд и позор! Женщине гораздо меньше толку от музыканта, чем от конфирманта. Они ничего не умеют, умеют только играть, они не мужчины.

— Вы болван!

Он задел лампу под потолком, они очутились в темноте. Что он затевал? Он не мог ее схватить, она сердито ворчала. Не помогала и настойчивая страстность, попытки применить насилие. Следующая минута кончилась полным его поражением, он лишил ее возможности сопротивляться, бросившись на нее и зажав ей рот поцелуями, обнял ее — и вдруг почувствовал укол, боль в бедре и разомкнул руки. Не пустила ли она в ход серебряную шпильку? У нее не было серебряной шпильки, она пустила в ход нож. Она лежала в его объятиях, она не хочет попасть ему в руки, так ли это? Но она что-то проворчала перед тем, как ударить.

В дверях стоял Теодор:

— Мне послышалось — что это, лампа погасла?

— Я разбил ее, — сказал Антон.

— Я сию минуту принесу другую!

Марианна вышла, и Антон последовал за нею. Возбуждение упало, оба оправили платье, Антон ощупывал свою рану и дышал тяжело. Марианна же не дышала тяжело, она уже совсем перестала волноваться.

— Не у вас ли мой носовой платок? — спросила она, протягивая руку назад и не глядя на Антона.

— Что? Ах, носовой платок? Нет, но я сейчас поищу.

Она разговаривала с ним, значит не возненавидела его, он ей не противен, дьявол разберет эту девушку, эту метиску! Но сейчас он был ей благодарен за это

спокойствие и изумлялся ее самообладанию. Она не закричала, только проворчала что-то перед тем, как ударить, а теперь спрашивает про носовой платок! Красота ее была вовсе не очевидна и не бесспорна, нет, она желта и похожа на индианку, глупого рисунка и глупой окраски, не-классична. Но, обнимая ее, он почувствовал, что она прекрасна, почувствовал, что в ее теле и в ее движениях огромная сладость. Он решил придерживаться ее тона и сказал только:

— Будьте добры, забудьте это!

— Конечно, — ответила она.

— Благодарю вас. Но, господи, это самое оригинальное из всего, что мне случалось видеть в жизни: вы пырнули меня ножом?

— Нет, вилкой, — ответила она, показывая, что все еще держит ее в руке. — Положите ее обратно на стол!

Он взял вилку и пересчитал зубцы:

— Один, два, — стало быть во мне — во мне четыре дырки.

Но нет, пусть дьявол разберет эту девушку, она обернулась к нему и сказала:

— Будьте добры, забудьте это!

Пришел Теодор с лампой, и Антон последовал за ним. Марианна осталась возле избушки и смотрела на танцы. Находила ли она извинение поведению безумца, или же считала его — отчасти понятным и разумным? Он был не из тех, что подбираются к своей цели окольными путями, нет, конечно, не из тех тысяч заурядных нолей, что действовали бы иначе; уж не склонил ли он ее до некоторой степени в свою пользу своей поразительной определенностью?

— Я не нашел вашего носового платка, — сказал Антон.

Теодор шагнул вперед, взялся за свой грудной карман, оглянулся, раздумал — отказался от чего-то.

Подали кофе для всех гостей — ну, и Теодор!

— Нет, спасибо, мы будем пить здесь, со всеми,— сказала Марианна.

— Вы не решаетесь вернуться в избушку? — спросил Антон.

— Я боюсь этого меньше, чем вы, — ответила она.

Кофе пили с пуншем, и Марианна спросила, который час: не пора ли нам собираться домой? Но когда молодежь напилась кофе с приложением, танцы пошли еще оживленнее и веселее, а те, что не танцовали, сидели за столом и продолжали распивать пунш, ничто не могло усилить или ослабить их настроения, даже Юлий с виноградным спиртом и закусками, — что ж, разве закуски из гостиницы Ларсена были не хороши? Юлий дал нам всем отведать тонких закусок из кладовой. А про Теодора я даже и не хочу говорить, потому что он выше всех! Короче сказать, все так развеселились, что опять стали гасить факелы и расходиться парочками, но тут Теодор скомандовал:

— Все в лодки! Точка. Теодор Иенсен.

И это прозвучало так бодро и весело, что публика подчинилась, и все направились к лодкам, крича „ура“ и „спасибо за праздник“ и, „ура Точке Теодору“. Пекарь, Нильс-сапожник и Юлий остались тушить факелы и убирать стаканы и посуду, хотя пекарь, впрочем, никуда не годился и спал, позабыв о бренности мира сего.

Обратный путь под граммофон и веселый смех, ни одна лодка не отходит в сторону, все эскортируют, все плывут тесной флотилией. На адмиральском судне

Теодора висят три зажженных фонаря, да несколько редких звезд мигают в синей чаще неба, так что не темно и не светло, одна приятность. Да, и Теодор галантно пригласил дам с дальних шхер в свою лодку.

Подплывая к Сегельфосу, он вдруг пустил в воздух ракету. Это был сигнал: десять динамитных взрывов вновь потрясли землю и берег, салют на весь земной шар.

— Да здравствует королева! — с бо́льшим чувством, чем обычно, сказал Антон Марианне. Теодор приложился к шляпе.

Вот взвилась в небо ракета с сигнального холма, другие ракеты с других холмов, начался сюрприз. Чудо свершилось. Люди в лодках опустили весла и смотрели, они слышали, как народ в местечке разразился криками, ракеты сменялись в воздухе огненными кострами, римскими свечами, золотым дождем, золотыми коронами, огненными павлинами — ах, господи! И так продолжалось долго, без конца, необыкновенно пышно и грандиозно, — Теодор, должно быть, заработал в этом году уйму денег на своей треске.

— Это положительно великолепно! — сказала Марианна. — Удивляюсь, как это вы сумели так все устроить, Теодор!

— Фейерверк-то? Да, мне хотелось, чтобы было, как в других городах, — ответил Теодор.

Он полез в грудной карман и достал оттуда пакетик. „Теперь или никогда!“ должно быть, решил он. Сорвал папиросную бумагу и сказал:

— Фрекен Марианна, извините, вы, кажется, потеряли носовой платок, так вот, у меня есть. Пожалуйста. Да, пожалуйста.

— Ах нет, благодарю вас, не надо, я сейчас буду дома.

— Посмотрите на него и возьмите!

Марианна посмотрела, поднесла к свету, пришла в восторг, кружева, боже мой! Но нет, спасибо.

— Почему вы отказываетесь? Если мне хочется подарить вам?

— Он слишком дорогой. Зачем мне? Нет, я не возьму.

Теодор быстро нашелся:

— Я ношу его в кармане, он получен моей фирмой, это образец.

Марианна только покачала головой.

Фейерверк погас, погас не только фейерверк, Теодор покорно умолк. К чему это жестокосердие! Что она отослала однажды обратно шаль — ну, положим, она не носит шали. Но ведь это же маленький носовой платочек!

Тогда он говорит дамам с дальних шхер — и бедный Теодор улыбался дрожащими губами, потому что был смертельно оскорблен:

— А вы тоже не хотите взять его?

Ах, нет, это не годится, раз фрекен Хольменгро отказалась. Они, конечно, с удовольствием взяли бы эту изящную вещицу, эту книжную закладку, но нет!

— Нет, спасибо, — сказали они, — у нас есть носовые платки.

— Похоже на то, что вам не удастся его сбыть, — сказал, смеясь, Антон Кольдевин.

И Теодор тоже засмеялся, но это была его манера скрывать свое горе и печаль, он был в эту минуту очень бледен. И вот он подобрал со дна лодки кусочки папиросной бумаги и старательно завернул драгоценность, но вид у него при этом был самый несчастный.

Потом пристали к берегу и вышли на набережную, а из эскорта, который должен был отправляться домой, опять стали кричать „ура“ Теодору, и он сам стоял и махал шляпой и кричал „покойной ночи“ и „спасибо за компанию!“ Марианна протянула ему руку и поблагодарила в сердечных словах, перед тем как уйти домой с Антоном Кольдевином.

Да, конечно, праздник гагачьего пуха был исключительным, единственным в своем роде, народ в местечке стоял на набережной, и все смотрели на Теодора, на победителя, и говорили о выстрелах на земле и знамениях на небе. Человек с желатином еще дожидался, и не жалел об этом, каких только чудес он не насмотрелся в этот вечер! — Но Ларс Мануэльсен качал головой и заявил, что напишет своему сыну Л. Лассену, не кощунство ли эти огнедышащие знамения и человеческие выдумки на небе?

XIII

— Я не видел тебя целую неделю, — сказал Виллац Марианне, — ты не пришла в тот день, когда обещала?

— Антон был здесь, — ответила Марианна.

— Я знаю.

— Знаешь?

— Я его видел. Ты не пришла ко мне в тот день, когда обещала?

— В таком случае, ты знаешь и другое. Я была с ним на празднике гагачьего пуха.

Этого Виллац не знал, и брови его неприметно дрогнули. Нет, он ни о ком ничего не знал это время, он работал очень прилежно, очень напряжен-

но, Марианна была ему нужна в тот день на прошлой неделе, чтоб прослушать кое что, изобразить публику и прослушать одно место, но она не пришла. Он работал очень напряженно, но очень плохо.

Зато он встретил на дороге ее отца и обменялся с ним несколькими короткими словами:

— Я вижу, — сказал Виллац, — что листья желтеют. Хорошо бы было, если б мне удалось обмерить лес.

— Это сделано, — сказал господин Хольменгро.

— Сделано? Я вам очень благодарен. Когда же?

— Только что. Я не позволил себе беспокоить вас, а сделал все сам, по своему разумению.

— Благодарю вас. И вы можете достать мне дровосеков?

„Удивительный человек этот новый Виллац Хольмсен! — подумал, верно, господин Хольменгро. — Во всем ему нужна помощь и опора! — верно думал он.—Вот и теперь: два человека несколько дней размечали лес, кончили, а новый Виллац Хольмсен ни словом не заикается о плате, даже не вспоминает о ней, может быть, и не приготовил. „Дровосеков!“ говорит...“

Чуть-чуть уловимым усталым тоном ответил господин Хольменгро:

— Дровосеков тоже можно достать.

— Благодарю вас,—сказал Виллац. Но он, верно, услышал, что господин Хольменгро утомлен и не хотел его задерживать: — Честь имею кланяться!

— Вы так усиленно работаете, Виллац, мы вас теперь совсем не видим.

— Да, я пытаюсь кое что сделать. Ну, что ж, у каждого свои заботы; я тщетно старался пролезть в игольное ушко, последний год пытался даже силой, — промолвил он с улыбкой.

— Ах, кстати, — заговорил господин Хольменгро,— вы не подумали о моей просьбе уступить мне часть вашего нагорного участка?

— Если вы разрешите мне быть откровенным, — ответил Виллац, — то мне бы этого очень не хотелось.

— А, тогда не будем больше об этом говорить.

— Дорогой господин Хольменгро, это может показаться нелюбезностью и неблагодарностью с моей стороны, но мой отец, старый земляной крот, просил меня в последнем письме скорее прикупать, а не сбывать землю.

— Не будем больше об этом говорить! — сказал господин Хольменгро. И никто не мог бы разобрать, что старый спекулянт в душе был страшно рад отказу. Он ответил с холодной вежливостью.

Это было в тот раз, что Виллац встретил господина Хольменгро на дороге.

А теперь Марианна сидит у него. Не намерена ли она продолжать холодность отца?

— Что это за праздник гагачьего пуха? — спросил он.

— Это был праздник Теодора из Буа. Помнишь, как-то вечером были выстрелы и фейерверк? Вот там я и была.

Она, верно, ожидала какого-нибудь иронического замечания: ведь не так-то редко она его обманывала! Но нет, он только кивнул головой.

— А теперь я пришла. Может быть, поздно? — спросила она.

— Мне хотелось, чтобы ты кое что прослушала. Потом я обошелся. Впрочем, теперь я это бросил.

— Ах, боже мой! Милый Виллац, если я не всегда могу прийти, когда ты меня зовешь...

— Я не только звал тебя, мне это было тогда очень важно. Я молил тебя прийти.

— Я очень огорчена. Так что, может быть, я буду виновата, что некая партитура никогда не увидит света?

В ответ он улыбнулся, холодность он мог отпарировать:

— Ну, до такой степени зависимости мне не следует доходить. И я таким не был.

— Да, неправда ли! — сказала она с подчеркнутой готовностью. Она встала и подошла к окну, как будто для того, чтоб поправить гардину. — Неправда ли, тебе ведь удалось написать две замечательных вещи.

Он опять улыбнулся:

— Разве ты не помнишь, что Григ назвал их гениальными?

— Да, это именно я и говорю.

Виллац был сегодня не такой, как всегда, неизвестно по какой причине. Он, наедине с ней обыкновенно обидчивый и чувствительный в отношении к своему искусству, теперь смеялся над ним; Виллац, так часто неистовствовавший от ревности — теперь сидел, словно железный.

— Между прочим, — начала она, потянувшись к складке на гардине и косясь на него из-под руки, — если ты хочешь, чтобы слава о твоей гениальности распространилась, ты, конечно, должен продолжать сидеть в одиночестве и молчать о ней.

Это попало в цель, так что он даже внутренно вздрогнул, сегодня она нападала на него без жалости! Но, словно решив не давать ей никакой победы, он опять улыбнулся, сидел, лениво поглядывая на свои сложенные руки, и улыбался.

— То, что я говорю, правда, — продолжала она,— но по мне, можешь поступать, как тебе угодно. Антон еще здесь, ты знаешь?

— Да, — ответил он.

Она быстро повернулась от окна:

— Знаешь?

Ах, как он раздражал ее сегодня своим спокойствием! Он ответил:

— Ты нисколько этим не изумлена, Марианна, твое лицо не принимает сейчас ни малейшего участия в твоем волнении. Разумеется, я знаю, что Антон здесь, что же из этого? И я все время отлично знаю, что ты стоишь у окна и хочешь заставить меня посмотреть, зачем ты там стоишь.

Это тоже попало в цель, ее глаза почти закрылись. Но в следующую секунду она опять овладела собой. Она могла вспылить, могла пырнуть вилкой, но умела и мастерски скрыть свои чувства. Но, увы, все это коварство сегодня было ей, пожалуй, не на пользу, а только во вред.

— Я не понимаю, на что ты намекаешь, — сказала она. — Послушай, а ты не можешь сыграть это, только хоть кусочек оттуда?

— Уволь сегодня. Еще не все готово.

— Я уволю тебя на все дни, — ответила она, искренно оскорбленная. — Навсегда!

Ах, какие они наносили друг другу удары! Виллац, железо, сидел попрежнему непримиримый и спросил:

— И теперь ты больше не хочешь?

— Нет, — ответила она. И в эту минуту казалось, что это ее непоколебимое решение. — Собственно говоря, нас всегда связывала только какая-нибудь соломинка.

— Перестань.

— Не правда? — спросила она.

— Мы оба и тогда бывали на праздниках, — ответил он.

Вот тут-то он выдал себя, выдал свою ревность в секунду необдуманности. Заметила ли она это?

— Поклонись от меня Антону, — сказал он, чтобы поправиться. — Когда он уезжает?

Да, Марианна отлично заметила его оплошность и ответила резко:

— Не может же он уехать до прихода парохода.

— Конечно. А когда это будет? Но все равно. Поклонись ему и скажи, что я очень занят эти дни, — сказал Виллац, беря нотную тетрадь.

— Что это? Давно ли она у тебя? — спросила она, указывая на саблю с золоченой рукоятью.

— Сабля моего отца висела здесь все время, — ответил он.

— А, в таком случае, извини! — И как бы случайно взглянув в окно, воскликнула: — Ну вот, потерял, — ведь он же не может ходить без перчаток. Ну, прощай!

С этими словами Марианна выбежала из комнаты, даже не затворив за собой как следует дверь.

Виллацу пришлось встать и затворить ее. И в то же время Виллац, конечно, невольно покосился в окно. Тьфу, только Антон! Но он был в перчатках — Марианна выдумала. Во всем обман!

Ну, и конечно, Виллац не мог после этого работать, невозможно, а петь он не умел, он не унаследовал голоса своей матери. В сущности, он был, верно, скучный малый: он умел рисовать карандашом и красками, как мать, умел одеваться изящно

аккуратно, как отец, но это и все, что он умел. А ревновать к Антону! Извините, это просто смешно!

Теперь дорога наверное свободна, и ему можно выйти.

Сегодня с ним должно было случиться еще кое что; случилось, что Конрад стоял на дороге; бывший поденщик, бездельник, стоял и поклонился, а его товарищ Аслак сидел на камне и тоже встал и поклонился; Конрад с минуту повозился со своими манжетами, а покончив с ними, протянул руку. И тут Виллац нахмурил брови сильнее, чем за весь день.

— Я хотел вас поблагодарить, — сказал Конрад.

Виллацу это было неприятно, несносно, он сказал:

— Тебе не за что меня благодарить, запомни это на будущее время. Чего еще тебе нужно?

Конрад понял, что надо быть кратким, и сказал:

— Мы хотели спросить, не найдется ли у вас работы.

Виллац смерил его глазами от шляпы до сапог, точь в точь, как, бывало, делал его отец:

— Работы?

— Да. Мне, и вот ему, Аслак.

Виллац смерил и Аслака. Вот стоит человек, которого он однажды проучил, ну, конечно, и заплатил за то, что оказал это благодеяние самому негодяю и людям.

— Вы можете рубить лес, — сказал Виллац.

— Это хорошо, — ответил Аслак. — Так вы хотите рубить лес? А не рано ли еще?

Виллац не стал разговаривать, никаких лишних слов, он коротко кивнул и сказал:

— Идите на усадьбу и явитесь к Мартину-Работнику. — С этими словами он прошел дальше.

Это было не плохо, даже хорошо, он мог избавить господина Хольменгро от труда подыскивать ему дровосеков. Разумеется, начинать рубку леса еще рано, но в таком большом хозяйстве временная работа для двух человек всегда найдется. Вышло прямо великолепно, и он решил сейчас же сказать об этом господину Хольменгро.

Господин Хольменгро был опять мягок и приветлив:

— Вот как? Ну, дровосеков, во всяком случае, было бы нетрудно найти. Значит, вы свезете по зимнему пути, а весной сплавите, а лес—это деньги!

Совершенно верно, но Виллац все-таки вздрогнул: деньги не раньше весны! Разве это не правда, что лесная торговля дает необычайно быстрый оборот, и можно получить сколько угодно денег под размеченный лес? Может быть, господин Хольменгро ждал прямого обращения? Он его не дождется!

— Не останетесь ли вы поужинать? — спрашивает господин Хольменгро. — Нам было бы это так приятно, мы с Марианной очень одинокая пара. Правда, за последние дни нас немножко развлекал Антон Кольдевин.

Виллац не мог остаться, не смел, господин Хольменгро, как бы ему этого ни хотелось!

Он пошел тою же дорогой, какой пришел, но тут с ним опять случилось нечто: несколько выше моста росла ивовая рощица, она начиналась прямо от края дороги, Виллац хорошо знал место, здесь он поцеловал Марианну в последний блаженный раз перед своей первой поездкой в Берлин,—теперь он увидел там Марианну и Антона. Что же из этого? Ничего. Антон ведь предупредил, что хочет отбить у него Жар-птицу. А может быть, парочка стояла

здесь и когда Виллац шел на гору, к господину Хольменгро; только тогда он не бормотал ничего и не разговаривал сам с собой, как с ним иногда случалось!

Вот Антон становится на колени. Становится на колени! Он без шляпы, наверное делает предложение, напрямки, Марианна хочет уйти, но он обнимает ее юбку, это очень смешно, обнимает ее ноги. Делает предложение, что ли? Это было более чем смешно, оба говорили одновременно, Виллац видел по их движениям, что они всецело заняты собой, а шум от реки мешал им слышать чье-либо приближение. Они считали себя в полной безопасности.

Одну минуту Виллац хотел было повернуть обратно, сделал шаг назад, но в это мгновение Марианна взглянула на него. Она сказала несколько торопливых слов, Антон вскочил и уставился на него. Приятели смотрели друг на друга растерянно и недоуменно, словно из двух разных миров, потом Антон поднял свою шляпу, поклонился Марианне и пошел к лесу.

Он бежал? Это было на него непохоже. Должно быть, Марианна сказала ему что-нибудь решительное.

Она отошла от ивняка и зашагала по дороге, грудь ее высоко вздымалась. Несмотря на большое смущение и старания не расплакаться, она все-таки сумела кивнуть головой и улыбнуться Виллацу. Молодчина эта Марианна, все-то она может! Она сказала:

— Ты видел? Ничего не поделаешь, мне все равно. Но досадно, что ты видел. Он сумасшедший. Послушай, ну, как ты, удалось тебе поработать? Посмотри, вон лежит его тросточка, конечно, я не стану поднимать ее. Что ты делал у папы? — Она

вынимает носовой платок: — Ах, ну вот, я наверное простудилась, у меня уже начинается насморк. И глаза слезятся. Видал ли ты когда что-нибудь подобное? И так внезапно! Скажи мне, тебе неприятно? Это нехорошо? Но разве ты не видел, что он... я не могла пошевелиться.

— Прощай, — сказал он и пошел.

Он не оглянулся ни разу, — заставил бы кто нибудь Виллаца Хольмсена повернуть голову! — поэтому, когда он дошел до кирпичного завода и хотел войти в дом, а Марианна очутилась в двух шагах позади него, он сильно вздрогнул. Ее скользящая, беззвучная походка привела ее сюда.

— Прости, — сказала она, увидев, что испугала его.

— Иди домой! — попросил он. — Не стой здесь, иди домой!

Простуда прошла, платок спрятан, она проглотила свои слезы:

— Конечно, я пойду домой. Но согласись, что это чересчур бессмысленно с твоей стороны: разве я виновата, что он схватил меня?

Спору нет, это было так далеко от здравого смысла, что на мгновенье он не нашел ответа. Но ведь они ссорились не впервый раз, оба были на это мастера, и, не долго думая, он сказал:

— А заметила ли ты, что мы с тобой дали друг другу слово вот в этом доме?

Она не ответила.

— Ты очень удивила бы меня, если б ответила иначе, чем молчанием.

— Почему бы нам не войти? — проговорила она.

— Ну, конечно, почему бы нам не войти? Раз ты приказываешь, мы должны преклонить колени,

да еще сердце у нас должно захолонуть от счастья! Разумеется, мы можем войти. Куда же девался Антон? Вот был бы для него афронт, если бы мы с тобой вошли сейчас в дом и сели вместе. Как ты полагаешь?

— Нет, это не было бы для него афронтом. Он говорит, что хочет на мне жениться, и говорил он мне это сегодня не в первый раз. Но я не хочу выходить за него, я ответила, что я не свободна.

— Что же это у тебя не свободно? Я ничего такого не знаю.

— У меня не свободно то, что называется сердцем.

— Удивительно! Неужели твое сердце не свободно? Нет, нет, разумеется, ты связываешь и развязываешь его по своему желанию. Впрочем, ты вольна располагать своим маленьким достоянием, как тебе заблагорассудится.

— Войдем же в дом, Виллац!

— Но если Антону не помогло преклонять пред тобой колени и валяться у тебя в ногах — с моей стороны это нескромно, но что ж! все мы норовим подставить друг другу ножку! — так же ли это безнадежно и для меня? Что, если б я стоял здесь и распинался битый час и просил бы тебя, молил бы о том, что ты называешь своим сердцем — привело бы это к чему-нибудь?

— Замолчи! Ты сам пожалеешь, что был так зол.

— А если бы я вместо этого расхохотался и сказал: покорно благодарю, прощай! — тогда что?

— Ах, эта простуда, вот, глаза опять слезятся! — сказала Марианна и опять вынула носовой платок.

Он видел, как она дрожала, но храбрилась и опять подавила слезы. Это вышло у нее хорошо.

— Иди домой! — сказал он.

— Иду, — ответила она и пошла. Конечно, она подавила слезы, но зато они и не показались, никто не увидел, что она поддалась слезам. Она повернулась, обиженная и разозленная, и крикнула через плечо: — И если осенью ты уедешь со своей оперой, скатертью дорога!

Снова он с минуту не находил слов. Потом ответил:

— Ах, пожалуйста, не напоминай мне перед уходом, чтобы я завтра утром послал тебе цветов!

Они здорово поранили друг друга ужасными словами, с чисто военной или разбойничьей злобой — и это в дни помолвки! Да, но ведь потом не будет хуже, не может быть хуже. По крайней мере, им не грозит неприятность прожить жизнь в супружестве и испытывать тошноту при воспоминании о былой приторной сладости. Они были незаурядные влюбленные.

Простуда и носовой платок снова по боку, Марианна скользила по дороге, как всегда, могла говорить и думать. Вот стайка кричащих сорок преследует человека на дороге, навстречу идет Ларс Мануэльсен в двубортной куртке с восемью пуговицами, он до такой степени чувствует себя отцом великого человека, что полагает, будто может останавливать всех, он останавливает Марианну:

— На месте вашего отца, я перестрелял бы всех этих проклятых сорок, — говорит он.

— Тебя все еще не оставляют в покое сороки?

— Нет. Сороки гоняются за мной, куда бы я ни пошел, это сущий крест, люди смеются надо мной, а мне это не нужно. Это ваши сороки.

— Не следовало тебе ссориться с сороками, Ларс.

— Почему это? Тварь и нечисть, вот я им всем до одной положу отравы!

— Говорят, они мстят.

— Они уж и так отомстили. Я у всех на языке, просто некуда деваться. Люди обвиняют меня в краже у вашего отца, только бы мне найти против них свидетелей! Но я уж написал моему сыну Лассену, чтоб он вызволил меня.

— А, так Лассен приезжает?

— Он, Лассен, такой человек, что приедет, если найдет для этого досуг и время...

Марианна встречает Антона. Он нашел свою палку и идет проводить Марианну. И он тоже полон насмешек?

— Ну, что же, все уладилось с золотом?

— Нет, не уладилось, — отвечала она. — И я убедительно вас прошу не подвергать меня впредь таким неприятностям.

— Униженно прошу вас простить меня!

— Мое прощение зависит от вашего будущего поведения.

— Мое поведение будет исправлено. Позвольте мне надеяться на вашу благосклонность!

Низко поклонившись, Антон пошел по дороге на пристань и в гостиницу. Но дойдя до поворота и убедившись, что Марианна не следит за ним, он свернул к реке и направился берегом к кирпичному заводу. Там он без церемоний отворил дверь и вошел к Виллацу.

— Здравствуй, — сказал он. — Вот я. Я тебе нужен за чем-нибудь?

— Нет, — ответил Виллац. — Разве только, чтоб попросить тебя не приходить сюда и не мешать мне.

— Ты хочешь отделаться словами, — раздраженно сказал Антон. — Это тебе не удастся!

— Твои грубости оставляют меня совершенно хладнокровным, они меня не волнуют, — ответил тот.

Раздражение Антона было велико:

— Это не удастся, хотя бы даже один из нас остался на месте!

— В том, что ты говоришь, есть известная доля смысла, — сказал Виллац раздумчиво и пуская в ход все свое благоразумие. — Потом можешь лечь вон там на диван и выспаться.

— Опять болтовня! Положим, я не привык к боксу, к работе английской мясорубки, но я умею фехтовать.

— А я не привык к французским вязальным спицам.

— Хорошо, но ведь мы оба умеем стрелять?

Виллац громко засмеялся и сказал:

— Разумеется, ты смешон! Ну, да ладно, ты захватил с собой из чего стрелять?

— Нет. Да вот у тебя револьверы на стене. Правда, какие-то жалкие огрызки вершков по шести длиной.

— Восьми вершков, — беспристрастно поправил Виллац. И он подробно описал револьверы, не горячась, без высоких фраз: — Посмотри на них, они блестят и опасны.

Но Антон все же был недоволен и злился:

— Ты наверное испортил их, потому что ожидал меня, — сказал он.

— Разве только для того, чтоб ты не пришел и не наделал себе вреда, сумасшедший ты человек. Могу я узнать, зачем ты пришел ко мне?

— Тебе это все еще не ясно! — в бешенстве спросил Антон. — Я пришел поколотить тебя.

Бледность разлилась по лицу Виллаца. Он встал и ответил:

— Если б я не знал тебя, я мог бы принять это всерьез.

— Я пришел поколотить тебя за то, что ты ходишь и подсматриваешь! — закричал Антон, окончательно выйдя из себя и подпрыгивая. — Ты потерял всякий стыд, ходишь и подсматриваешь...

И тут случилось, что Виллац — этот человек, умевший говорить и молчать с дурацким спокойствием, умевший стерпеть многое, умевший ударить, умевший и спустить — на этот раз ударил. И ударил очень основательно. Но Антон только одну секунду пролежал у стены. Вскочив, он дикими глазами уставился на Виллаца и прохрипел:

— Мясорубка!

Потом схватил свою палку и швырнул ее, от взмаха палки упал стоявший на полке флакон. Он оглядывается, чем бы еще бросить, но, увидев, что уже попал, что ему страшно повезло, и лицо друга разбито в кровь, отказался от намерения швырнуть старинным пистолетом, очутившимся в его руке. Он отбросил пистолет и сказал, весь дрожа:

— Смотри, я щажу даже мясорубки! Впрочем, ты был достаточно противен и без раны. Жалко флакона, ты же получил от меня все, что следовало. Сколько стоит флакон?

Не получив ответа, он засопел от презрения, даже фукнул носом с насмешкой и отвращением:

— Merde! — прошипел он и вышел.

Потом вернулся, чтоб сказать:

— Сейчас явится дама! Ты, разумеется, попросил ее прийти защитить тебя. Фу, чорт!

Антон опять пошел вдоль реки, чтоб не встретиться с Марианной, спускавшейся с горы. Он еще дрожал, храбрость у негодяя была, но он болтал и шипел, у него не было чувства меры.

Куда ему деваться до прихода почтового парохода? Похоронить себя в гостинице? На минуту он подумал, не сходить ли на часок к Теодору из Буа, но отказался от этой мысли и пошел в гостиницу.

Да и не очень кстати вышло бы, если б он как раз сейчас явился в Буа. Он попал бы в страшный хаос ящиков и боченков, громких приказаний и распаковки товаров. Теодор перебирался сегодня в свой новый дворец-лавку. Ему помогало несколько мужчин, среди них Юлий.

Разумеется, все находили, что новая лавка до смешного велика, но Теодор был умнее всех: он уже теперь предвидел тот день, когда ему придется расширять даже и эту новую лавку! И этого нельзя было отрицать, он получил несметное количество товаров, и требовалось много места.

А старая лавка, мелочная лавка фрекен Иенсен и адвоката? Она стояла стена об стену с новой и продолжала существовать, Теодор не пожелал ее уничтожить, пусть остается семье, говорил он. Однако дело обстояло и так, что она принадлежала и Теодору, у него были вложены в нее деньги, она служила ему обеспечением впредь до выкупа, а потому у него были все основания оставить старую лавку в неприкосновенности. Но это не надолго! Милые мои, ведь последние комми-вояжеры ничего не продали барышням Иенсен, а все Теодору. Они побывали у дам и оставили с величайшей вежливостью свои карточки, но дальше дело не пошло: товар они

отдали молодому господину Иенсену, который был их давнишним клиентом, они принципиально не продавали двум конкурентам в одном месте. Барышни Иенсен только оскорбленно сначала потупили, а потом вскинули головки, дескать, милые мои, об нас не беспокойтесь, мы получим все товары, какие нам надо, мы покупаем за наличные! Барышни не теряли бодрости. Но у них не было коммерческой жилки, как у Теодора, они слишком часто вскидывали головки и не обладали добродушием, которое могло бы это компенсировать. Если к барышням Иенсен приходила какая-нибудь из сегельфосских девиц купить полотна для рубашек, она могла услышать такую отповедь: „Мы сами берем на белье такой материал, а тут вдруг тебе такое полотно недостаточно тонко!“ Теодор сразу понял, что так не годится, он поступал лучше, он завел заборные книжки для солидных девиц, имевших заработок. Так что девушка могла сказать другой, что вот, мол, не дальше, как вчера, Теодор предложил мне забирать у него на книжку и расплачиваться каждый месяц; и еще сказал: потому что так гораздо удобнее, фрекен Палестина!

Лавка Теодора Иенсена была прямо заглядение, большие окна с большими стеклами, светлые стены и стеклянные шкапы с медными брусьями. „Как полагаешь, сколько это все стоило?“ говорил Теодор. Он придумал все сам, чтоб было как в других городах, хотя, положим, ему очень помог начальник телеграфа Борсен. Этот удивительный праздношатай и лодырь все больше и больше заинтересовывался энергией Теодора — хорошими качествами молодежи, говорил он — и часто давал ему отличные советы. «Смотри, чтоб медные брусья у тебя всегда блестели!— говорил он, — а не то, выбрось стеклянные шкапы»!

Теодор помнил также, что это Борсен устроил все чудеса на празднике гагачьего пуха, хотя у того же самого Борсена не было платья, чтоб поехать на остров.

Праздник гагачьего пуха — люди до сих пор вспоминали о нем. „Как полагаешь, сколько он стоил?“ говорил Теодор. Он называл сумму, сотни, хо-хо, кучу денег! Проверки нечего было бояться, кому была известна стоимость иллюминации? „Но вы сами видели, что я наделал с небом!“ говорил Теодор.

И все же со дня праздника гагачьего пуха Теодор был уже не тот человек. „Хоть бы этого праздника никогда и не было!“ верно думал он не раз. Огорчение, овладевшее им теперь, было нехорошего свойства, оно захватывало дух, портило ему настроение. Увы, Теодор, который, по совести, должен бы быть совсем другим, частенько сидел один и делал, что мог: отчаянно ругался. Психологи и знатоки человеческого сердца подивились бы такой мелочности и ограниченности умного парня. Чего он добивался? Не полагается дарить дорогие носовые тряпочки на празднике гагачьего пуха, Борсен отсоветовал бы всякую попытку такого рода, засмеял бы его до смерти, „Чем бы он ей помешал!“ без конца повторял про себя Теодор. Он не понимал, что можно поблагодарить за булавку, но от тридцати пяти крон надо отказаться. Нет, он не понимал ничего, кроме этого пренебрежительного отказа.

— Будь счастлива, вот чего я желаю! — следовало бы ему сказать теперь, как и раньше, и перестать думать. А время превосходно залечивает все раны. Да, так и следовало бы говорить и делать.

Да и вообще, знаменитый праздник не дал того, что должен был дать: коллега Антон Кольдевин уехал,

не превратившись в закадычного друга и завсегдатая, а „Сегельфосская газета“ не обмолвилась о празднике ни единым словом. Причин для огорчения было достаточно. И все это надо принять в расчет при обсуждении дальнейшего образа действий Теодора по отношению к его сестрам: в течение нескольких дней он предоставил им торговать и продавать то немногое, что им удавалось, а затем явился однажды с ленсманом и наложил арест на наличность кассы. На те самые наличные, на которые бырышни и адвокат собирались закупить товары.

— Вот разважничался-то! — говорили сестры.

Послали за адвокатом.

— Давайте, потолкуем немножко! — сказал адвокат.

— Деньги на бочку, а не то ленсман опишет все, что есть, и закроет лавку! — ответил Теодор.

А ленсман стоял и кротко и уныло взирал на происходящее, не проявляя желания приступить к исполнению и заработать деньги, нет, он начал уговаривать:

— Так и так, всем понемножку, ведь обе стороны — одна семья.

— Родственники! — поправил адвокат. — Здесь нет того, что подразумевается под семьей.

— Надо откинуть ежедневные расходы, — продолжал ленсман, — но постепенная необременительная выплата...

Обе стороны одинаково недовольны, Теодор наотрез отказался, и адвокат тоже.

— Это попытка парализовать дело, — заявил он.

А ленсману с раздражением сказал:

— Вы, ленсман, и здесь предлагаете свои необременительные выплаты, ну, да теперь уже довольно:

банк должен получить свое через двадцать четыре часа. Слышите?

Ленсман слышал. И хотя ему не следовало бы бормотать, потому что это было прямо позорно со стороны человека, имевшего лошадь, которую он мог продать, и хотя это, конечно, не могло произвести хорошего впечатления на такого человека, как адвокат, ленсман только сказал:

— Я постараюсь — ясно, что надо что-нибудь придумать — у меня есть лошадь...

И вот смирение, как и прежде, произвело хорошее впечатление на адвоката Раша, его раздражение немножко улеглось, и он сказал:

— Лошадь! Кто станет покупать лошадь и кормить ее на зиму глядя? Вы могли бы продать ее весной.

— Да. Но тогда предстояли полевые работы...

— Ну да, ну да, я сказал свое слово!

Но перед уходом ленсман все-таки успел немножко уломать обе стороны и примирить их на том, что известный процент с торговли поступал в платеж Теодору. Ладно. Но это только отсрочка, лавка была приговорена.

Ленсман отправился к Хольменгро, по своему обыкновению. А кроме того, вчера он получил записочку от фрекен Марианны, что ей надо поговорить с ним, как только он будет в этих местах, и она не желает ждать до бесконечности!

— Ленсман, — сказала Марианна, приступая прямо к делу, она, видимо, была очень счастлива, она улыбалась, — ленсман, я получила письмо, хотите посмотреть конверт? Что на нем написано?

— Одна тысяча крон.

— Да. Оно пришло третьего дня. И вот, вы получаете эти деньги на двадцать лет. Видите, здесь

расписка, расписка на тысячу крон, вы занимаете их у меня на двадцать лет и возвращаете мне две тысячи. Вы понимаете, ленсман?

Нет, ленсман не понимал.

— Деньги мои. Я могла бы показать вам и самое письмо, оно от одной фирмы, я сделала дело, но это секрет, я не покажу вам письма. А теперь я сказала все, что надо, я прорепетировала, когда увидела, как вы поднимались в гору, и постаралась изложить как можно короче. Потому что очень неприятно долго разговаривать о таких вещах, — сказала Марианна.

— Я не проживу двадцати лет, — сказал ленсман.

— Еще как, — ответила Марианна.

Ленсман пробормотал какую-то благодарность — что это несомненно такая крупная помощь, такая сумма...

В эту минуту отец прислал за Марианной и выручил ее. Может быть, это было заранее условлено, господин Хольменгро часто играл со своей дочерью.

— Интересно, чем это папа опять будет меня мучить,—сказала она,—этакий брюзга,—сказала она.— Она сейчас же скользнула к двери и крикнула с порога: — Ну, прощайте, ленсман. Извините, мне надо итти. И приезжайте скорей, слышите!

Ленсман пошел вниз с пригорка со своим богатством, думал разные думы, считал и подсчитывал и не продал лошадь. Такого коня не продают, ему цены нет. Но он не мог прийти к адвокату с билетом в тысячу крон,—всякий бы догадался, откуда они, эта бумажка выдала бы его, скомпрометировала бы; он пошел к Теодору лавочнику и разменял билет.

— Где вы были после того, как ушли отсюда? — с изумлением спросил Теодор. В смышленой голове

его все было ясно; но так как он не имел никаких причин распространяться о щедрости семейства Хольменгро, он вдруг смолк и сказал только: — Это меня не касается. Разменять билет в тысячу крон? С удовольствием. Два, если вам угодно!

Теодор был в хорошем настроении:

— За этот час, что вас не было, у нас тут кое что случилось, — сказал он ленсману. — Отец узнал про наши дела, и с ним опять случился удар. К сожалению, — сказал Теодор. — Я послал за доктором.

— Опять удар.

— К сожалению! — ответил Теодор. — И я жду, что адвокат явится очень скоро, может еще сегодня же, он придет просить пардону. Куда ему деваться? Приперт со всех сторон! Что, он не придет и не сдастся?

— Я только подумал, что это было бы на него не похоже.

— Ну, я уж устрою, чтоб было похоже! — заявил Теодор. — Что за чорт — чтоб такое пузо расселось торговать рядом со мной! Да кстати, послушайте, ленсман: что, надо иметь разрешение, чтоб играть в театре? Они мне пишут, что опять собираются приехать.

— Нет, можно просто играть. Вот как, они опять приезжают?

— Проездом на юг. На этот раз у них будет другая пьеса, она называется „За садовой оградой“, и там много пения, они спрашивают, достал ли я рояль. Натурально, я достал рояль.

Теодор рос все выше и выше, казалось, этот последний час был особенно благоприятен его росту. Разменять билет в тысячу крон? С удовольствием, два! Рояль? Он давно уже добыл рояль и был

в настроении предложить второй. Теперь он решил сейчас же отрядить рабочих чинить дорогу к театру, чтобы фрекен Сибилла Энгель опять не свихнула себе ногу. Он решил послать и к Нильсу-сапожнику—сказать, что бедняга опять может заработать две кроны.

— Поднеси Юлию и другим по стаканчику виноградного спирта вечером, когда пошабашат!—крикнул он в дверь конторы приказчику Корнелиусу.

Огнь и пламя, сама энергия! И хорошо, и отрадно было людям знать, что есть человек, который — огнь и пламя.

Разве Нильс-сапожник не нуждался в поощрении? Еще как! Добрая фру Раш не забывала его, она часто давала ему на дом детский башмачок в большом пакете и наказывала принести веников. Но Нильс-сапожник как будто не жирел от этого, нет, по нем этого не было видно, наоборот, чем дальше, тем отчаяннее он тощал. Фру упросила молодого Виллаца написать мистеру Нельсону в Америку, но ответа не было. „Может быть, Ульрик уже едет домой“, говорил Нильс-сапожник. Он долго ждал базара в пользу Благоденствия Сегельфоса, облизывался на него, как собака, молил о нем бога, но базара все не было. Нет, дело не выгорало из-за помещения. Адвокат не мог побороть себя и снять театр у Теодора, у этой лавочной крысы, выскочки, да, впрочем, пусть никто не воображает, что у него театр, просто навес для рыбных сетей. Союз Благоденствия Сегельфоса не снимает для своего базара навес для рыбных сетей, мой милый Нильс!

— Ну, понятно! — согласился Нильс, тускло улыбаясь и поддакивая. Но зато он ничего и не заработал.

Ленсман опять зашел к нему. Да, а ведь раньше ленсман зашел к адвокату и заплатил свой долг.

— Вот видите, как полезно быть строгим! — сказал адвокат. — Справитесь ли вы также и с ревизией, когда она будет?

— Надеюсь справиться, теперь, как и до сих пор, — ответил ленсман.

— Ах, вот как вы стали храбры! — сказал адвокат, задетый за живое самоуверенным тоном жертвы. — Но, в таком случае вам следовало бы и со мной расплатиться пораньше.

— Я постараюсь никогда больше не быть вам должным. Таково мое намерение, — ответил ленсман.

Значит, наконец-то он понял, что должен зарабатывать деньги и держать свою кассу в порядке. Нельзя сказать, чтоб особенно рано! У него был очень твердый и решительный вид, когда он покинул адвоката и направился в гостиницу, чтобы потребовать у Юлия аукционные деньги в двадцать четыре часа. Но подойдя к двери, он посмотрел на свои часы и увидел, что сегодня ему некогда заходить в гостиницу, тогда он отправился домой и заглянул к Нильсу-сапожнику. Ему хотелось еще раз попробовать засадить сапожника за работу. Но опять потерпел неудачу.

— Я больше не сапожничаю даже для себя, — ответил Нильс и показал, что на нем покупные башмаки из Буа. Да, это была последняя его покупка на фантастические, таинственные деньги, полученные летом; он купил эти башмаки. И вот они уже начали расползаться на швах, и подметки проносились, но это все-таки очень легкие и приятные летние башмаки, хотя стояла осень. Нильс-сапожник бегал в них, как ветер.

— В Буа много таких башмаков, — сказал он ленсману.

— Да, но эти башмаки не для меня, Нильс.

— И уж коли на то пошло, — сказал Нильс, — я как раз сейчас получил извещение от Теодора, что опять будет театр, а кроме меня некому поручить билеты и всю счетную часть.

— Сколько же ты получаешь за такой вечер продажи билетов? — спросил ленсман.

— Две кроны, — ответил Нильс-Сапожник, не задумываясь.

Должно быть, он сбился с пути в один туманный день, и с тех пор у него не все были дома.

Ленсман встретил шарабан доктора и снял фуражку.

— Здравствуйте, ленсман! — ответил доктор Муус и остановился. — Позвольте мне воспользоваться случаем и кстати проститься с вами, я уезжаю на этих днях. Спасибо вам, ленсман, и поклонитесь вашим от доктора Мууса. Что ж, я могу сказать, что исполнил свой долг и честно отслужил свое время здесь на севере, пусть теперь другие сделают то же! На боку я никогда не лежал, да и сейчас я, так сказать, на ходу и еду к больному. Да, к Перу-лавочнику, к старику Иенсену из Буа, несчастный человек, болен бог знает сколько лет. Я сделал все, что может сделать наука, у него то, что у нас называется гемиплегия, паралич одной половины тела. Сегодня я получил сообщение о том, что произошло что-то новое, но я не решаюсь высказываться до подробного исследования. Можно предположить, что это паралич мозга. Ну, прощайте, ленсман! Можете поверить, я предвкушаю сладость возвращения на юг, в Христианию, и свидания с моими родными. Только надежда на эту

минуту и поддерживала меня здесь все эти годы. А теперь я, слава богу, накопил порядочную сумму опыта, который пригодится моей родной области.

Доктор уехал, прибыл в Буа, поднялся в светелку, понюхал затхлый воздух, приказал отворить окно, снял пальто, потер руки и стал исследовать пациента. Разумеется, Пер из Буа был болен, но нет, нового удара у него не было, да он и не допустил бы себя до этого. Он был чем-то возмущен и страшно ревел: немудрено, что несчастье Буа потрясло его и на минуту затемнило его разум; трудно отказаться от блестящего плана мести, не испытав потрясения. Но Пер из Буа вовсе не находился в агонии. Однако, он был еще ужасно возбужден: „Буа! — говорил он. — И еще эта проклятая коза!“ говорил он.

— Хорошо, хорошо, а теперь мы дадим вам чего-нибудь, чтоб вы уснули! — сказал доктор, успокаивая его.

Он отвесил с необыкновенной тщательностью бромистого калия, как будто один лишний гран грозил смертью.

— А вот это пусть примет вечером, — сказал он барышням Иенсен, стоявшим тут же, — и принесите мне столовую ложку, чтоб я видел, какой она величины, — сказал он. — Да, эта годится. Сейчас я дам ему сам, чтобы вы научились, как вам это сделать вечером!

Когда доктор кончил и вышел на двор, там стоял Теодор, дожидавшийся результата.

— Нет, это не новый паралич,—сказал доктор,— но больному нужен покой. Если наступит ухудшение, немедленно пошлите за мной.

И доктор Муус направился к своему кабриолету, ступая ногами с поразительной аккуратностью.

Теодор не двинулся с места. Новое испытание, постигшее отца, должно быть, несколько смирило и несколько придавило его: придя к себе, он держался тихо и отменил данное приказчику Корнелиусу приказание: не стоит подносить парням нынче вечером,— сказал он, — раз отцу стало хуже, — прибавил он.

— Он помирает? — спросил приказчик Корнелиус.

Теодор ответил:

— Больному необходим покой. А впрочем, — сказал он, — я никогда не слыхал, чтобы какому-нибудь больному покой был не нужен.

Теодор был далеко не в том же настроении, как утром, и если бы не народ, он, вероятно, завел бы граммофон и послушал бы Коронационный марш. Но уныние его продолжалось недолго, явился посланный от адвоката Раша. Явилась горничная Флорина.

— Вы знаете, где находится Дидриксен? — спросила она, заботясь прежде всего о своих собственных делах.

— Дидриксен? Зачем он тебе понадобился?

— Я уж давно написала ему и не получаю ответа. Я только хочу узнать, где он.

— Зачем это? Деньги здесь, и я сказал, что в свое время ты их получишь.

— Да, но я не хочу ждать. Можете это ему сказать.

— Так я это и сделал!

Пауза. У горничной Флорины, должно быть, не особенно много стыда, она говорит:

— Так, так. Ну, тогда я напишу его невесте, я знаю, как ее зовут.

— Это ты оставь, Флорина, вот что я тебе скажу! — торжественно заявил Теодор. — Если ты

откроешь рот или возьмешься за перо и напишешь благородной даме, дело твое пропало!

— Я не желаю вас знать! — сказала Флорина и с бешенством посмотрела на него.

Но хуже этого ничего нельзя было бросить Теодору в лицо, он не выносил этого, это низводило его до степени чего то обыденного и ничтожного.

— Я вышвырну тебя вон! — раздраженно крикнул он и побледнел. — И чтоб ноги твоей здесь больше не было!

Флорина поняла, что дело серьезно, и сказала:

— Я пришла с поручением от адвоката. Он велел вам прийти в контору.

Теодор подумал с минуту:

— От адвоката? Чтоб я пришел к нему? Нет.

— Он так велел сказать.

— Можешь передать от меня своему адвокату, что если ему от меня что-нибудь надо, пусть придет сюда сам!

Горничная Флорина могла сколько угодно фыркать по поводу важности коротенького человечка, — Теодор схватил ее за руку и потащил к двери.

— Уж я передам ему ваши слова, будьте спокойны! — угрожающе сказала она.

Но адвокату, повидимому, было важно повидать Теодора еще сегодня же, он действительно приковылял в лавку и начал с того, что нынче вежливости от молодежи трудно ожидать. Теодор стоял как раз перед прилавком с аршином в руках, а ведь хороший аршин бывает обыкновенно из ясеневого дерева. Он шагнул к адвокату и спросил, не надо ли ему чего-нибудь?

— Да, — ответил адвокат и сразу же сказал, что старой лавке приходится сдаться.

— Так скоро? Господи помилуй...! — Ха-ха, Теодор видел толстяка насквозь: адвокат наверное решил, что его гонорар в опасности — ага, но на это Теодор только улыбнулся, он лучше знал старую лавку.

— Тут нечему улыбаться, — сказал адвокат и погремел ключами. — И вообще я не желаю разговаривать с вами здесь, разве мы не можем переговорить наедине?

— Нет, — ответил Теодор, — я хочу разговаривать с вами при свидетелях.

Адвокат злобно усмехнулся при этих словах и сказал:

— Теперешняя молодежь не блещет благовоспитанностью. Вы нахально приказываете передать мне, чтобы я пришел к вам для переговоров, неужели вам не стыдно! Если бы не ваши родители и не ваши сестры, вы бы напрасно дожидались меня. Впрочем, я больше ничего не имею сказать вам, и у нас с вами не будет никаких дел. После сегодняшней перемены к худшему в положении вашего отца, я посоветовал вашим сестрам уладить самим отношения с вами. Результат, к которому вы придете, должен быть окончательным, и то, что надо будет закрепить письменно, то я напишу. По моему мнению, для всех вас будет выгодно помириться на минимуме. Разумеется, вы заберете все товары в лавке?

— Да.

— И по приличной цене. Разумеется, вы это сделаете. И купите и самую лавку.

— Нет, — ответил Теодор.

— Вот как?

— Это старый хлам. Как видите, у меня есть собственный дом, а как вы полагаете, сколько он

мне стоил? Нет, вы и остальные выгнали меня из старой лавки, и я в нее больше не пойду.

Но это, конечно, была только хитрость со стороны Теодора. Неужели он так-таки зря выстроил новую лавку стена об стену со старой? Разве он не собирался соединить оба дома в один, когда придет время?

— Но я могу арендовать старую лавку, — сказал он.

Тогда адвокат не на шутку испугался и, может быть, подумал о своем гонораре:

— Единственное, что меня беспокоит — это ваши родные, — сказал он, — что будет с ними? Если им не удастся сколько-нибудь выгодно сбыть свое имущество, то я не знаю, чем они будут жить в дальнейшем.

— Мои родные могли бы жить так, как жили раньше.

— Я согласен, — сказал адвокат, — что при теперешних обстоятельствах это было бы самое лучшее.

Ага, заевшийся адвокат раздавлен, окончательно растоптан, пузо, свинья! Теодор властвует над ним. Он спросил снисходительно:

— На всякий случай, сколько вы хотели бы получить за старую лавку?

— Я говорил об этом с вашими, мы полагали — ваш отец полагал — три тысячи.

Довольно странно, горничная Флорина вызвала на божий свет господина Дидриксена; как поступил бы в подобном случае он?

— Я дам три тысячи, — сказал Теодор.

Адвокат счел это своей личной победой и сказал:

— Вот видите, очень полезно поговорить с вами! Я не зря представил вам беспристрастное изложение дела.

Что такое, он опять за свое и начал побрякивать ключами!

— Вы вовсе не представили никакого изложения, — сказал Теодор, — и можете убираться, когда вам будет угодно.

— Да, — оторопело проговорил адвокат. — Ну, да, желательно, чтобы ваши родные в дальнейшем действовали по намеченным мною принципам. В конце концов образуется одно помещение и одно имущество, счета вычитаются, мое маленькое вознаграждение тоже вычитается; но остается еще многое: часть ваших родителей, и другая — ваших сестер. Вы сами попрежнему отказываетесь от наследства?

— Натурально.

— Отлично, это-то я и хотел выяснить. Когда товары будут подсчитаны и вы установите между собой ценность имущества, я готов предложить свои услуги. Вы согласны?

— Нечего вам стоять и болтать! — сказал Теодор. — Я дам своим родным все, что полагается, и еще больше без вашей помощи.

XIV

Можно ходить в жилете с золотыми пуговицами и не уметь сочинить оперу. Виллац Хольмсен ходил в жилете с пуговицами из золота.

Чего только он не придумывал! Если б в один прекрасный день он остановился и подсчитал все, что придумывал для того, чтоб привести себя в настроение, он сам удивился бы. Он гулял и запирался у себя в комнате, пил вино и постился, стремился к людям и бежал от них, работал днем и работал ночью — получалась только работа, только крах.

К отчаянной бесплодности прибавилась ужасная и неугомонная ревность.

— Покушайте же, пожалуйста! — говорила Полина, устремляя на него темно-голубой взгляд.

— Спасибо, — отвечал он, даже не поворачивая головы.

Он работал. Разумеется, он отлично играл, он научился этому искусству с самых ранних лет и, кроме того, был счастливчик, родился в сочельник, но теперь это не помогало, скорее, это его изводило. Нет, ему и в этом году не следовало приезжать в Сегельфос, все пошло плохо с самого начала. Даже первую встречу он в глубине души, верно, представлял себе немножко по иному: с безмолвным изумлением, с любопытной толпой на набережной. Ведь он же известный в стране человек, многообещающий музыкант. А как вышло на самом деле? Встретила его на набережной экономка его родителей, милейшая фру Кристина. Сегельфос видел туристов поважнее его, англичан, объездивших земной шар, принца Бонапарта, направлявшегося на Шпицберген. Один раз приезжал государственный министр, ужасно ломался и притворялся, будто интересуется жизнью и стремлениями народа, за что карьерист адвокат Раш прокричал ему „ура“ на набережной. Приезд Виллаца Хольмсена произошел в полной тишине. Несчетное число раз он собирался уехать, но оставался. Он прирос к месту.

Антон Кольдевин, разумеется, давно уехал домой. У господина Хольменгро все идет своей обычной чередой. Марианна изредка показывается на пригорке, когда идет с отцом на мельницу или возвращается оттуда. Она в ярко красной накидке. Может быть, Антон скоро опять приедет к ней. На здоровье!

Опасное и ужасное время! Виллац достает глины и лепит — чего только он ни придумывал! Ему хочется вылепить летящую фигуру, великолепную ростральную фигуру, украшение для галиона. Оказалось, что он не разучился лепить, совсем не разучился, даже был сейчас искуснее, чем в детские годы в Англии, когда обучался лепке. Но делать ростральные фигуры было безусловно трудно. Виллац вытащил рисовальные принадлежности, кисти и тюбики с красками, а почему бы и нет! Его мать тоже рисовала, и он научился от нее. Потом опять играл. Потом собственноручно пришил золотые пуговицы к своему жилету и разгуливал с ними в честь самого себя и в память отца, от которого их получил. Во всяком случае, было очень приятно красоваться с золотыми пуговицами на груди, и Виллац гулял так по своим комнатам на кирпичном заводе, даже ходил в лес к своим дровосекам.

В лесу Аслак и Конрад рубили деревья, и когда Виллац подходил ближе, они кланялись. Еще бы они забыли поклониться! Он разговаривал с ними не много, но смотрел на их работу твердыми серыми глазами и высказывал свое мнение. Бог знает, что было сначала на уме у этих двух людей, когда они попросились на работу к Виллацу Хольмсену, не хотели ли они ему повредить или отомстить за что-нибудь. Но, прожив у него некоторое время, они утихомирились, а кончив порубку в лесу, оставались вновь и вновь и постоянно получали работу в большом хозяйстве. Они перестали покупать провизию в Буа, хотя у них завелись и деньги, они имели приличные харчи, постель и стирку, оба поправились и раздобрели.

Каждому свое. Виллац разгуливал с золотыми пуговицами, а работал, как каторжник, и худел от

горя и страсти. „Вот увидишь, я посредственность! думал он по временам. Он переносил это хорошо, переносил, как настоящий Хольмсен. Нет, этому никогда не будет конца, посредственность засела в нем крепко, впиталась в кровь; но Виллац не сдавался. Только этого недоставало! Дома, на усадьбе, он притворялся, будто интересуется животными, курами, было бы слабостью забыть обо всем остальном из-за музыкальной пьесы. Он часто наблюдает петуха, великолепного бойца со шпорами на ногах: вот он загорается любовью, распускает крылья, выступает боком, хорохорится, выгибается на левый бок и чуть не падает — ах, чего только он ни проделывает! Но потом снова становится повелителем и победоносно разгуливает по двору. Вот так петух — так и кажется, что он щеголяет с цветком в петлице.

Виллац сам мог ходить с цветком, с розами и гвоздикой. Он возвращался в свои кирпичные комнатки и играл, злился и мучился. Неужели он так и не дождется взрыва? Чем он заполнял свои дни? Мелочами. Кое когда нож, но не меч, рой звуков, но не голос. Жантильности. Три раза под ряд он подходил к зеркалу и всматривался в свое отражение, чтоб хорошенько убедиться: да, у него появился седой волос, два седых волоса. Отец его не начинал седеть в такие молодые годы. Антон Кольдевин не поседел. На здоровье, пусть себе едет к ней!

— Пожалуйста, покушайте!

— Спасибо, я приду через минутку. Нет, я не пойду. Оставьте меня одного.

Что это? Несчетное число раз он обманывался — и вот пришло! Волна подхватила его! Стоял вечер, но в его глазах занимался рассвет, небо начало струить золото, и земля под ним розовела. Волна,

волна! Долго же мы ждали ее, но теперь нам нечего жаловаться, совершенно нечего жаловаться, и чувствовать влагу на глазах, и дрожать. Этого не надо.

Звуки льются и льются из переполненной души, льются, не переставая; он сидит, как слепой, и воспринимает их извне, записывает же словно в ярком свете. Пишет, пишет, пишет. По временам ударяет рукой по роялю, опять пишет, подпевает, чувствует тошноту и сплевывает, пишет. Так длится долго, часы бегут, о, эти часы на волне! Опять кантата, песня, музыка для танцев? Нет, опера, о боже, шедевр! Сейчас, как никогда раньше, в нем происходит взрыв — так что, пожалуй, и вышел кое-какой толк из того, что ревность так долго кипела в нем.

На заре потихоньку начинается отлив, лампы выгорели досуха, шатаясь, он подходит и задувает их. Потом падает на диван и засыпает ничком, уткнувшись лицом в свои руки.

— Здравствуйте! Не придете ли вы покушать?

— Нет, спасибо. Иди домой, я приду попозже.

Он еще не кончил. Слава богу, не кончил. При взгляде на работу прошлой ночи он чувствует, как душа его словно взмахнула крыльями, опять начинается, звуки из неведомого царства песен, они с какого-то острова, они увлекают его за собой, опускают — волна! И сегодня продолжается то же, волна распоряжается им, необузданно и неэкономно, тошнота его становится сильнее, слезы чаще, он бросается на пол и пишет коленопреклоненно, молитвенно, а звуки все льются, льются, наполняя отрадой...

— Пожалуйста, покушайте хоть немножко!

— Спасибо, поставь здесь.

В двое суток он преодолел все трудности и напитал свое произведение волною. Он жил один, на

огромной высоте над землей, жил лишь одним собою, высасывал самого себя, спал урывками, ел совершенно рассеянно, поглощая все, что находилось на тарелках, безудержный и всем существом своим пьяный от поэзии. Двое суток. Затем волна медленно отхлынула.

Из глубочайшей бесплодности и унижения — с головой в величие! Он зачал и сотворил в одном длинном беге.

Молодой Виллац — у предков его были слуги, помогавшие им одеваться по утрам — молодой Виллац не нуждался в помощи, он лежал свернувшись калачиком. А никто не спит крепче художника, когда после удачного дня он погружается в сон, подложив под голову собственные руки, вместо подушки.

— Я уезжаю, — сказал он. — Но этого никто не должен знать, кроме тебя и Мартина-Работника.

Полине некому было и сказать-то. Она посмотрела на него своим милым, робким личиком, и глаза ее подернулись бархатом:

— Вот как, вы опять уезжаете!

Мартину-Работнику он сказал, чтоб Аслак и Конрад всю зиму выбирали камень. Весной он собирается строить, пристройку к скотному двору, беседку в саду, амбар для силосованного корма — большие планы, неужели молодой Виллац Хольмсен так богат!

Полина видела, как он сел на пароход. Она украдкой выпила воду из его стакана. Выходя, погладила рукой гвоздь, на который он обыкновенно вешал шляпу. Потом заперла комнаты на кирпичном заводе и пошла назад на усадьбу, к хозяйству, надзору за работницами и продаже молока от тридцати с лишним коров. Маленькая Полина была большим молодцом.

А Виллац повернулся спиной к набережной и не смотрел на берег; он был изящен и молчалив, в новых перчатках. Он уезжал так же тихо и гордо, как и приехал, никакого парада, никаких „ура". Да вышло так удачно, что, проездом на юг, на берег высадились актеры, что примадонна Лидия, и фрекен Сибилла, и актер Макс опять сошли на берег в Сегельфосе, и они-то и привлекли всеобщее внимание.

Теодор встретил труппу на набережной и проводил в гостиницу Ларсена.

— Большие перемены с того времени!—сказал он и сейчас же рассказал, что стал единоличным владельцем Буа и скупил все.

Актеры слушали с преувеличенным вниманием и притворялись, будто очень интересуются радостями и горестями владельца театра. Фрекен Сибилла распрашивала о подробностях:

— И теперь ваши сестры не будут жить дома?

— Мои сестры? Нет, они уехали обратно, на свои места. А я сам, — сказал Теодор, — несколько недель обедал в гостинице, но теперь я опять перебрался домой. Потому что теперь я владею всем.

— Подумать только, неужели вы владеете всем! — воскликнула фрекен.

Но тут дело зашло, должно быть, уж чересчур далеко, потому что актер Макс заметил с удивительной язвительностью:

— Как бы ты скоро опять не свернула себе ногу, Сибилла?

Фрекен Клара, пианистка, осведомилась о Борсене.

А где же был Борсен? Неужели он не пожелал показаться на набережной шикарным приезжим? Разумеется, он моментально исправил свою оплошность, пошел в гостиницу и явился к фрекен Кларе.

Радостная встреча и теплая дружба, описания путешествия по северной Норвегии, переживания, забавные приключения на пароходах и в гостиницах, артистические триумфы в городах. „За садовой оградой“ — старинная прелестная пьеса, перевод со шведского; они ее сильно исправили и прибавили новые песенки, Макс мастер сочинять куплеты. Сюжет „За садовой оградой“ — печальный, герой и героиня не женятся, нет, она его закалывает, убивает, и это замечательно подходило к фрекен Кларе, она вся пылала, когда в конце они ссорятся. Она сама могла бы выйти замуж за богатого и все такое.

— Вы играете в этой пьесе?

— Разумеется. Это самая большая роль. Я не только играю, но я пою и аккомпанирую себе на гитаре. Никто другой этого не умеет, и потому ни о ком не было таких замечательных отзывов — вот, посмотрите! Не правда ли? И, разумеется, в Сегельфосе тоже сойдет хорошо, ведь нам так страшно повезло этим летом. Как вы думаете, господин Борсен?

Удивительный Борсен, глупый Борсен, чего он ожидал от фрекен Клары? Ничего; но в прошлый приезд в ней был здравый смысл, в ней была горечь, она решительно покидала искусство, в котором не могла достигнуть ничего крупного, — теперь горечь исчезла, улеглась оттого, что она получила роль в какой-то неведомой пьесе с пением. С пением — а может ли фрекен Клара петь?

— Да, отчего же, — ответил он.

— Потому что нам ведь приходится. А что же иначе делать? — смеясь сказала фрекен Клара. — У нас мало денег. Правда, мы заработали недурно, но расстояния между городами такие большие.

А потом, мы покупали разные разности, когда были деньги, наступили холода, пришлось купить верхние вещи. Кроме того, мне нужен был пеньюар, хотите посмотреть? Капот, толстый шелковый шнурок вокруг талии...

Борсен сказал:

— Виллац Хольмсен уехал с этим пароходом. Говорят, он последнее время компонировал днем и ночью.

— Вот как, — сказала фрекен Клара. — Ну, я больше не интересуюсь музыкой, я поняла, что мне это ни к чему. Я теперь интересуюсь только драматическим искусством. Послушайте, господин Борсен, ведь это, конечно, была только шутка, — то что вы говорили о драматическом искусстве летом? Вы не отвечаете?

— Не помню. Но не считаю невозможным, что летом я пошутил насчет так называемого драматического искусства.

— Ах, боже мой, какой вы скучный! Простите, что я так говорю!

— А где все остальные? — спросил Борсен.

— Ушли в театр, господин Иенсен хотел показать рояль и граммофон. Вы хотите видеть остальных?

— Пианистка не интересуется попробовать свой рояль?

— Нет! Вы слышали. Но подождите, дайте мне одеться, и я пойду с вами. Можно итти в таких галошах?

— А что с ними такое?

— Они не блестят и не новые, мне надо другие. Уверяю вас, люди стали иначе смотреть на меня с тех пор, как я купила себе шикарные платья в Тромсе. Знаете что, господин Борсен, эта ваша шляпа скандальна. Извините, что я так говорю.

Борсен улыбнулся:

— Если б я надел одну из моих новых шляп, я не посмел бы взглянуть в глаза своей старой шляпе.

— Вы не носите пальто? — спросила фрекен Клара.

— Нет.

— Да, но, в общем, начальнику станции следовало бы быть хорошо одетым.

— Дорогая фрекен, все равно никогда не будешь так изящен, как оберкельнер в какой-нибудь большой гостинице.

— Вот это, наверное, возвращаются остальные,— сказала фрекен Клара и сняла галоши. Но тут миленькая дамочка, должно быть, испугалась, что обидела начальника станции, подошла к нему и начала застегивать его пиджак, приговаривая: — Боже мой, какая прелесть, какой вы большой, я достаю вам только до этих пор, посмотрите! Но убей меня бог, если я понимаю, зачем вы торчите в этом Сегельфосе! Сколько времени вы уже здесь? Слушайте, вот как вы должны завязывать галстук, подите, посмотритесь в зеркало. Нет, это не они вернулись. Но мы с вами все-таки не пойдем — хорошо? Послушайте, господин Борсен, хотите быть ужасно милым? Я один раз видела у вас кинжал, такой, что уходит в рукоятку, когда им ударишь, подарите его мне?

— С удовольствием.

— Спасибо. Вы прелестнейший в мире человек! Зачем он мне? Да для пьесы же, ведь я же его закалываю, и было бы замечательно хорошо, если б можно было ударить изо всей силы. Ах, „За садовой оградой“ очень глубокая пьеса.

Фрекен Клара замурлыкала, схватила гитару и запела. Кончив, она сказала. — Никто другой так не умеет! Как вы находите, господин Борсен?

Молчание.

— Для меня не подлежит сомнению, что вы играете лучше, чем поете, — ответил Борсен. — И я не сомневаюсь также, что вы сами это знаете. Вы искажаете себя перед самой собой.

— Ах, вы опять говорите загадками. Я не хочу вашего кинжала! Послушайте, неужели я в самом деле так гадко пою? Пусть, но поверьте, что я пою хорошо, что у меня выходит, поверьте, слышите! Разумеется, я не умею петь, но не говорите этого другим, вы обещаете? Потому что иначе у меня отнимут роль, а это великолепная роль...

Наконец вернулись остальные актеры, и опять произошло радостное свидание. И фрекен Сибилла проявила такой же интерес к радостям и горестям начальника телеграфа, какой она проявила к радостям и горестям Теодора: „Как вы поживаете? Как приятно снова видеть вас!“ Глава труппы спросил Борсена о видах на исход представления. И полагает ли он, что первоклассный спектакль может рассчитывать на достойный прием в этом местечке.

Борсен находился в глубоком затруднении, никто не знал театральный мир Сегельфоса меньше, чем он. Но ведь о труппе были такие хорошие объявления, перспективы, можно сказать — светлые?

Фру Лидия, примадонна, принесла рабочий ящичек и сказала:

— Извините, мне надо зашить дырку!

Она открыла ящичек, и между швейными принадлежностями обнаружились две бумажки по десяти крон.

— Господи, какая ты богачка! — воскликнул кассир труппы. — Хорошо, что мы узнали!

— Ты хочешь, чтоб я спросила, откуда у тебя такая куча денег, Лидия? — сказала фрекен Клара.

— Да, спроси, спроси! — поддержал актер Макс.

Примадонна метнула на фрекен Клару презрительный взгляд и ответила без тени смущения:

— Подожди, пока добьешься моего жалованья, дружок, тогда и у тебя тоже будет оставаться два-три десятка крон!

И все кивнули друг другу, что знают, мол, старую штучку фру Лидии, которую она всегда проделывает при посторонних. Но фрекен Клара не удовлетворилась кивком, она дала понять примадонне — да, без всякого снисхождения, она заставила примадонну взглянуть на лист нотной бумаги, заявив при этом:

— Посмотри, ты не можешь разобрать даже этих безобидных значков! Потому что бог не дал тебе ни капельки голоса!

— Не ссорьтесь, дети! — остановил антрепренер.

Фрекен Сибилла не интересовалась ссорой, ах, ей совершенно безразлично, кто сейчас опять ссорится: фрекен Сибилла интересовалась только собой. Она была мастерица изобретать разные фокусы для украшения и одевалась смело и красилась, сегодня она нашла два белых пера чайки по дороге в театр и сейчас втыкала их в волосы.

Начальник телеграфа ушел из гостиницы беднее, чем пришел. Он спешил туда, чуть ли не как юноша, как мальчик, еще слабо взволнованный своей летней влюбленностью; но теперь он уже не был юношей и безумцем, — куда девалось его смешное и упоительное настроение? И тотчас же мозг его заработал, начал, так сказать ворочаться, философствовать, и кое что получалось в возвышенном стиле, в роде: „Жалкая жизнь, глубокое унижение!“ а кое что в низменном: „Прекрасная Клара, ты играешь лучше, чем поешь, и сама это знаешь, ты поешь, как замоч-

ная скважина. Может быть, ты захочешь знать, составил ли я себе об этом определенное мнение? Прекрасная Клара, никакого определенного мнения, но одно мнение и об этом, и о тебе, и обо всех вас — убеди меня, что оно неверно! Вы фигляры, скоморохи, и такими вы останетесь. А надо ли, чтобы кто-нибудь был фигляром? Хорошо. Нужно ли, чтоб некоторые люди были кастратами? Хорошо. Ведь ваше ремесло стирает половое различие между тобой и мужчиной, вы разговариваете и действуете на равной ноге, хотя вы и не равны, это искусственность и заблуждение: в жизни горный козел отличается от горной козы. Фрекен Сибилла несомненно беспола, актер Макс по всем вероятностям немножко обоего пола. Он ни на что не способный бедняк в мужском платье. А что такое ты?

„Прекрасная Клара, ты застегивала мой бывший пиджак и дышала на меня, это ничего не означало, но ты привыкла, что мужчина должен получать награду за свою любезность, и ожидала, что я захочу, как в прошлый раз. В твоих движениях не было „нет", но где был угар? Неужели ты думаешь, что угар это — становиться на одну ногу с актером Максом и говорить непристойности и притворяться распущенным, как он. Ты ошибаешься, это бездарность. Ты не годишься для сладострастия, ты только играешь, будто годишься. Прекрасная Клара, я отвернулся от тебя, потому что ты бездарна, я отвергаю тебя, твоя игра проиграна. Если ты идешь по улице, то не для того, чтоб куда-нибудь прийти, а для того, чтоб хорошенько выставлять свои ноги, чтоб спрашивать знатоков, хорошо ли ты их выставляешь. Ты кичишься легкомыслием, которого у тебя нет, ты разочаруешь всякого настоящего мужчину. Не надо

выносить сладострастие на рынок, сладострастие священно, поцелуй и объятие ни в каком отношении не имеют связи с улицей.

Почему люди находят, что вы, актеры, бесстыдны? Потому что люди — скоты. Вы не бесстыдны, вы дрожите от стыда за свою бездарность. Если вам во всякое время приходится притворно вызывать в себе эротический пыл, то это происходит ради „искусства“ и ради вас лично, ради сегодняшнего представления. Вот, этим-то вы и позорите себя, и это совершенно правильно и справедливо. Вы, дамы, играете в презрение к домашнему хозяйству, притворяетесь равнодушными к малому личному уважению, какое внушаете, вы не матери, или же только чрезвычайно плохие матери, не воспитательницы, или же воспитательницы до плачевности дурные — каждый божий день погружает вас во все больший стыд перед этой бездарностью. Это правда. Актриса стыдится больше, чем люди, которые могут быть названы скотами. У скота есть свои способности, и он не стыдится.

Прекрасная Клара, извинить ли мне вас? Не правда ли, вскинем головку в знак того, что мы в этом не нуждаемся! Вы слышали, что и это тоже „артистично“, это входит в игру. Кто твои отец и мать? Происходите ли вы, актеры, от людей загнанных и впавших в заблуждение? Вы редко бываете красивы и быстро делаетесь безобразными, вы прикрываете все недостатки своего тела специально придуманными костюмами, которые затем общество перенимает от вас, как заразу. Прикрасы господствуют, а Венера низводится с пьедестала. Венера? Да простит мне богиня, что я произнес ее имя здесь! Разве Венера была фигляркой? Разве она не стесня-

лась отпустить вольность с подмостков, сальную шуточку для театральной черни? Разве она прибегала к разным хитрым приемам? Она была святая.

Я извиняю тебя, прекрасная Клара. Ты состоишь в бродячей труппе, вам приходится жить в дешевых гостиницах и стараться не выйти из бюджета, приходится притворяться, будто дела идут гладко, будто швыряние контрамарок происходит исключительно от хорошего состояния кассы, вам приходится разыгрывать состоятельных людей перед каждым человеком и в каждой лавочке: „Я бы взяла этот шелковый корсет, но мне не нравится цвет! Отложите для меня этот скунсовый мех, мы послезавтра получаем жалованье!“ Жалкая жизнь!...

А чего лучшего вы заслужили? Чему вы учились? Немножко судьбы, чуточку больше, может быть, школьной науки, чуточку больше, может быть, „воспитания“ — ярмарочный фигляр, тот умеет есть горящую паклю и жонглировать кинжалами. Вы явились в театр бог весть откуда и безо всяких данных или с любыми данными: талантом, честолюбием или нуждой. Талант? На то, чтоб показывать себя, чтоб актерствовать. С седой древности, со времен фараонов и Великого Могола — ремесло рабов, в наши дни — мастерство, столь же распространенное, как школьные науки и „воспитание“, а в некоторых городах и странах — заразная болезнь, которой не в силах прекратить никакой бог или дьявол.

И вот вы у цели — в доме с тремя стенами. Можешь ли ты, прекрасная Клара, представить себе, как искажается весь дом?

На сцене царят болтовня и махание руками. Но ни один порядочный человек не болтает и не размахивает руками, это случается с ним только в те

минуты, когда он утрачивает часть своей порядочности. О том, что в тебе есть самого лучшего, благородного, ты не говоришь, ты только думаешь, но ты молчишь об этом. Если ты слышишь, что театральная чернь хохочет, будь уверена, что ты выкинула ногой коленце, над которым никто не рассмеялся бы в доме с четырьмя стенами, но все молча извинили бы. Или сойди вниз и присутствуй в качестве одинокой зрительницы при коленцах, какие выкидывает твой собрат по фиглярству, — и посмотри, засмеешься ли ты! Это свет, люди и музыка превращают театр в место сборища, они, и единственно они, превращают пустейшее препровождение времени в необходимую потребность для взрослых людей. Сидеть и притворяться перед другими, будто ты взволнован. Внушать сидящим вместе с тобой, будто ты превосходишь их в понимании искусства.

А понимаешь ли ты искусство? Что если твое понимание просто на просто не признают? Вот являются критики! Посмотри на них, когда они входят, они решат все, поистине это они заставят данное сборище черни сказать, правильно ли повернулась фрекен Сибилла и хорошо ли зевнул актер Макс. А потом почтенные старцы высказываются об этих проблемах письменно. И один говорит да, а другой говорит нет, все на основании глубокого знания дела.

В антракте мы идем в буфет. Нам это почти необходимо, мы ослабели, истощены. И тут на нас глазеют, и мы тоже глазеем, чернь раскланивается перед чернью нынче вечером, как вчера, мы рассматриваем туалеты и выслушиваем мнения: пойдет пьеса или провалится?

Фараон и Могол — они были тираны по убеждению, театральная чернь — тиран по наивности. Она

пишет в „Сегельфосской газете“ и сама читает это с радостью.

Так называемое актерское искусство есть искажение по рецепту. Это промежуточная форма, возникшая не для усовершенствования произведения, но паразитирующая на нем. Высшей победы актерское искусство достигает в изделиях специалистов, родившихся с особой сноровкой, и оправдание свое актерское ремесло ищет в том, что вкладывает содержание даже в худшие из этих изделий: это значит, что оно углубляет и разъясняет то, что недостойно никакого объяснения. Достойное назначение актерство могло бы иметь в фарсе: заставляя чернь плакать вместо того, чтоб хохотать во все горло.

Согласна ты? Составила ли ты себе определенное мнение относительно того, что мое мнение не верно? Прекрасная Клара, послушаем!..

Фрекен Клара могла бы, пожалуй, ответить на это, что если он тот самый Борсен, сын известных Борсенов, который не желал быть никем, то всякий ответ излишен. Он попытал счастья в качестве актера и не обнаружил таланта, писал пьесы и потерпел фиаско. Ха-ха, фрекен Клара могла спокойно играть, и ее труппа тоже.

Но Сегельфос — увы! — уже не был алтарем искусства и городом для приезжих трупп. Кто мог бы это понять: актеры те же самые, а „За садовой оградой“ — прелестная пьеса. Несколько редких зрителей в театре Теодора, они громко разговаривали и перебрасывались шутками через огромный зал: иди, мол, сюда, садись, занимай один целую скамейку! А когда представление кончилось, они опять громко говорили, что такого жульничества они еще не видали! И уходили разозленные.

В чем же было дело? Актеры поместили объявление в газете, и редактор написал заметку, Теодор из Буа вывесил флаг на лавке и на театре. Нильс-сапожник добросовестно сидел на своем месте и продавал билеты. И сама труппа сделала все, что от нее зависело: мужчины ходили гулять и анонсировали о себе шляпами на шнурках, а дамы новыми пелеринами. Но все равно! Так, может быть, Сегельфос не мог выдержать два театральных представления в один и тот же год? Или, может быть, сама пьеса оказалась не столь подходящей? Она кончалась печально, герой был замечательный человек, во всех отношениях, но, благодаря недоразумению, возлюбленная закалывает его кинжалом, и тут Сегельфосские парни заревели и хотели за него вступиться. На этот раз в театре не было ни адвоката Раша, ни доктора Мууса, которые могли бы их образумить; не помогло и то, что невеста потом ужасно горевала и пела, заливаясь слезами — парни чувствовали себя оскорбленными, они заплатили деньги не за то, чтобы присутствовать при поражении.

На следующий день начальник телеграфа Борсен пришел в гостиницу и застал всю труппу в крайнем угнетении, только актер Макс был довольно бодр, но и то из нахальства.

— Устроим маленький праздник! — сказал Борсен.

Ответственные уныло улыбнулись на это предложение, а неответственные встретили его рукоплесканиями. Когда же Борсен вышел и вернулся с вином для дам и виски для мужчин, то недолго спустя все сделались несколько менее ответственными.

— Хорошо, если бы праздник продолжался до тех пор, пока не придет пароход и не увезет нас из этого противного места! — сказал глава труппы.

— Да ведь пароход придет не раньше завтрашнего вечера, — возразил кассир.

Часы шли, веселые часы. Борсен, ангел-спаситель, лично принес еще водки, и добыл он ее, верно, от того же Теодора из Буа, потому что его фирма стала способна на все. Кассир воскликнул:

— Если б у нас были деньги на все это!

— Не хватит! — ответил один из актеров, — нам все равно было бы мало!

Но шеф был благоразумен и сказал:

— Давайте вести себя так, чтоб нам можно было еще раз вернуться в Сегельфос!

— Нет, мы никогда больше сюда не поедем! — закричали одни.

— Да, мы еще приедем и опять увидимся с начальником телеграфа! — закричали другие.

— Да здравствует Борсен! — закричали все.

Борсен был непоколебимо щедр и спокоен, прямо отец к детям, прямо провидение. Ставя на стол новую бутылку, он сказал:

— Здесь все будет заставлено ими, я защищу вас от сквозняка бутылками с водкой!

Ах, и веселый же дьявол этот начальник телеграфа Борсен, он не мог бы быть лучше, если б его украшали ракушки и мантия гамадрила.

Разумеется, никто уже не печалился. Фру Лидия вспомнила, что у нее болезнь сердца, и принесла свои капли, фрекен Сибилла столь же бесцеремонно сходила за своей железной микстурой, царило полное дружелюбие, они посылали воздушные поцелуи висевшему на стене пастору Лассену и поднимали в честь его стаканы, чокались друг с другом и прощали друг другу всевозможные оскорбления.

Борсен подсел к фрекен Кларе так, словно бы на вечные времена, словно наконец-то добился настоящего свидания с нею. Это рассердило актера Макса и довело его до бешеной ревности. Актер Макс был ненормальный и никуда не годный, он ревновал, как евнух, ко всем, а тут напрямик заявил, что начальник телеграфа домилуется до того, что станет на голову короче, если не пересядет!

Фрекен Клара закричала:

— Отстань, Макс! Я не выношу твоих противных синих рук!

— Что ты говоришь? — грозно спросил Макс.

— Мы все это говорим! — ответили фру Лидия и фрекен Сибилла.

Макс поднялся бледный, как смерть, и вышел из комнаты.

Словом, все было широко задумано и хорошо выполнено. Борсен потребовал ужин для компании; покушав, все опять пили. Борсен попрежнему оставался невозмутимым. С уст его то и дело сходили возвышенные и оригинальные фразы, и он удивлял фрекен Клару тем, что говорил ей столько нежных и кровоточащих слов:

— Мои губы жаждут ваших уст, — говорил он, — мне приходится закусывать их, чтоб удержаться! Как вы себя чувствуете, фрекен Клара? Если в любви не подвигаешься вперед, то пятишься назад. Таков закон.

Принесли письмо, написанное пером и чернилами, оно было от актера Макса. Он спрашивал, можно ли ему вернуться в компанию. Борсен достал свой карандаш и хотел ответить.

— Нет, не карандашом, — сказала фрекен Сибилла, — Макс очень щепетилен на этот счет.

— Неужели карандаш не годится, чернильный карандаш?

— Чернильный, великолепно, ха-ха-ха, — захохотал кассир. — И ответьте, что если он придет, его, так и быть, потерпят.

— Нет, не так, — сказала фрекен Сибилла,—это его не удержит.

— А на это господин Макс не щепетилен?—спросил Борсен.

— Напишите, что я ушла, — предложила фрекен Клара.

— Ты воображаешь, что это по тебе он стосковался? — вскричали обе остальные дамы и начали спорить из-за негодного мужчины.

Но тут он сам появился в дверях, поклонился и спросил, разрешается ли ему войти.

— Натурально! — ответили все.

— Да, но ты, Клара, выгнала меня вон.

— Разве я с тобой говорила? — ответила Клара.— Ни слова. Здесь много народу, кроме тебя, Макс. Садись! Ты не ел?

Но тут кутеж зашел уже чересчур далеко, да и вечер был уже поздний. Фру Лидия и фрекен Сибилла, смеясь, пили друг у друга лекарства и никогда не испытывали такого облегчения. Тогда шеф в последний раз проявил благоразумие и сказал:

— Ведите себя так, чтобы нам можно было сюда вернуться, прошу вас!

И вот тогда-то фру Лидии стало дурно. Сначала она подумала было упасть в обморок, но поневоле пришлось изменить обморок на тошноту и выбежать из комнаты.

Остальные продолжали сидеть за столом, Борсен в повышенном настроении и очень довольный. Он

говорил, что хотел бы обладать фрекен Кларой, как дорогим бархатом и вышивкой, говорил, что она смотрит на него взглядом, от которого он погибает—ах! Это опять стало не под силу бедному Максу, и он скрежетал на них зубами.

Фрекен Клара вспомнила про кинжал, волшебное оружие.

— Не забудьте завтра кинжал, господин Борсен!

— Не забуду!

Шеф предложил расходиться.

— Поблагодарим начальника телеграфа за эти незабвенные часы, спасибо и ура!

— Я еще не ухожу, — сказал Борсен.

Актер Макс застонал от ревности и спросил:

— Разве вы не слышали, что наш глава просил вас уйти?

Но Борсен был стоек и велик и продолжал сидеть. Казалось, будто он ожидал от этого момента чего-то важного, будто надеялся на какую-нибудь несдержанность в том или ином направлении.

Актер Макс растерянно выкатил глаза и обратился прямо к Борсену:

— Нас здесь семь человек, вы один, не можете ли вы подать нам хороший совет, как нам от вас избавиться?

Борсен продолжал сидеть.

— Пойдемте, прогуляемся! — предложила ему фрекен Клара.

Борсен сейчас же встал и ушел с нею.

Но кончилась и эта ночь, и занялся новый день, о, печальный день, с головной болью и множеством забот. Серьезность вступила в свои права, антрепренер и кассир вели ответственные разговоры. Труппа попала в беду, она застряла в Сегельфосе, приехала

сюда с пустыми руками и ничего не имела про запас. Ах, новые пальто стоили страшно дорого! Если б они смогли расплатиться здесь, им, может быть, удалось бы получить бесплатные билеты на палубе до ближайшего театра.

Шеф и кассир отправились депутатами к примадонне и с тысячью извинений попросили одолжить им ее двадцать крон.

— И речи быть не может! — ответила примадонна.

Они выждали час и пошли к ней снова.

— А чем же я расплачусь сама? — спросила примадонна. — И зачем вы так мотаете, когда у вас заведутся деньги? — спросила она. — Я видела, как ты купил почтовых марок на пять крон.

— Мне приходится писать во много мест и вкладывать вырезки и наклеивать марки, — ответил антрепренер. — Но у меня еще осталось на две кроны, я их присчитаю.

Примадонна смягчилась:

— Вот деньги! — сказала она. — А теперь мы справимся?

— Не совсем. Но мы посмотрим, не наберем ли еще немножко у других!

И оба пошли депутацией к остальным.

Антрепренер считал долгом своей чести, чтобы труппа расплачивалась в каждом месте и могла вернуться туда еще раз. Жалкая жизнь. Актеры были доверчивы и беспомощны, они лепетали, как дети, и словно куры жались друг к другу. Их можно было надуть и потопить, ничего не стоило напоить их и заставить кривляться; но при правильной постановке, они сияли красивым светом, озарявшим их мрачный фон. Случалось, они сидели и чинили свое

платье, штопали дыры, зашивали иголкой и ниткой свои рваные башмаки. Фрекен Сибилла готова была помочь труппе всем, чем могла; после совещания с фрекен Кларой она принялась стирать и вывешивать на видном месте для просушки тонкие воротнички и сорочки с ручной вышивкой, чтобы люди поразились великолепием этих странствующих артистов. Когда депутация пришла к фрекен Кларе, она сейчас же расстегнула корсаж и вытащила помятый медальон на шнурочке, и, конечно, горделиво полагала, что расчиталась в чистую, уж один шнурочек стоил дороже цепи любого короля.

— Денег у меня нет, — сказала она. — Но у меня есть вот это! — С этими словами она отдала медальон. А может быть, она получила его в подарок дома, в какой-нибудь рождественский сочельник, в давно минувший сочельник, на елку.

Начальник телеграфа Борсен явился с кинжалом, вежливо раскланиваясь направо и налево. Он был величествен и крепок сегодня, как вчера, и казалось, не имел никаких забот, должно быть, он уже устранил их. Фрекен Клара поблагодарила за кинжал, но не была расположена поучиться обращению с ним.

— Мы в страшном затруднении, — сказала она,— нам нечем расплатиться!

— Пустяки! — ответил Борсен.

Она объяснила положение, дефицит, это очень серьезно; Борсен улыбнулся и сказал:

— Эти гроши вы можете занять у меня!

Она всплеснула руками и воскликнула:

— Ах, господи, да вы же прелестнейший человек в мире, и я никогда не слыхала ничего подобного! Лидия! — закричала она в дверь,—знаете, что? Борсен спасает нас, начальник телеграфа.

Борсен принес деньги и опять устроил кутеж, — он не мог бы быть лучше, будь у него даже лавровый венок на голове. Дамы целовали его, а мужчины кивали головой и говорили, что будут помнить его до самой смерти и что поступок его станет известен всюду, куда их ни занесет судьба! Денег было много, целая куча, и фрекен Клара так разошлась, что побежала за кинжалом и пожелала поучиться, как с ним обращаться — вот так? Борсен взял кинжал в руку, нажал пружинку в рукоятке и передал ей со словами:

— Вот, теперь пронзите меня!

В следующее мгновение кровь, безмолвная оторопь, крики — много криков, вопли и суматоха, стоны.

Сам ли Борсен направил кинжал для удара? Или он только потрогал пружинку и не отпустил ее хорошенько? Он сам растерялся, когда злополучное оружие стали извлекать и оказалось, что оно довольно крепко засело в хряще. Потом он опустился на стул.

Крики и суматоха продолжаются. Является Юлий.

— Доктора! — сказал он;—доктора здесь не будет до прихода парохода, Муус ведь уехал!

— Отведите меня на станцию! — сказал Борсен.

Он сильно побледнел, но настолько владел собой, что зажимал кулаком рану. Фрекен Клара, не переставая, стонала:

— Это я виновата!

Борсен ответил ей, улыбаясь:

— Перестаньте, деточка, я сам виноват. Я этого хотел.

День вышел очень печальный. Стоял порядочный мороз, и Борсену приложили к ране льду, но труппа искренне отчаявалась по поводу несчастья. Борсен сказал:

— Я мог бы умереть, но сейчас у меня нет внутреннего кровоизлияния, это просто колотая рана, я залечу ее карболкой.

Однако фрекен Клара была безутешна и упрекала себя за то, что ударила так сильно.

— Плохо то, что вы не туда попали, — ответил Борсен, — в следующий раз цельтесь немножко ближе к боку!

— И вы еще в состоянии шутить!

— Я не шучу.

— Как, неужели вы хотели, чтоб я вас убила?— воскликнула актриса.

— Да, — сказал Борсен.

— Но зачем же? Я ничего не понимаю.

— Я хотел пасть от вашей руки.

Это слышала вся труппа, и дамы, Лидия и Сибилла, испугались, что больной начал бредить.

Да, печальный день.

Когда же свечерело, фрекен Клара надела пелерину и галоши и вышла из дому. Часа два она была тиха и молчалива, словно обдумывала что-то в своей маленькой головке, и вот теперь она пошла в „Сегельфосскую газету". Редактор стоя набирал свой листок. Она попросила его телеграфировать в газеты о катастрофе, о трагедии, и редактор ничего не имел против того, чтобы первым преподнести новость своим коллегам, тем более, что дама вызвалась сама оплатить телеграммы.

— К сожалению, Борсен лежит с зияющей раной, а то он сам бы это сделал, — сказала фрекен Клара.— Любовное горе, — сказала она. — И придется, пожалуй, упомянуть мое имя, что делать, этого никак не избежать, да впрочем, ему это нисколько не повредит. Да, конечно, это была попытка самоубийства. И на-

пишите — кинжалом. И напишите, что я в этом совершенно неповинна, потому что богу известно, что это так, но есть надежда, что он оправится, напишите.

Но фрекен Клара не отправила телеграмм из Сегельфоса, со станции самого Борсена, неизвестно почему — должно быть, не успела; телеграммы она взяла с собой на пароход до следующей станции. Однако она в последний раз сходила перед отъездом к Борсену, узнать о его самочувствии, и когда она стояла склонившись над ним, больной опять стал шутить с ней и сказал:

— Ах вы, бедняжка, когда днем убьешь человека, вечером не очень-то хорошо себя чувствуешь. Но поезжайте с богом, фрекен, я непременно поправлюсь, к сожалению.

И фрекен Клара очень обрадовалась этой шутке и оживилась. Ведь она не была бессердечной.

XV

Что такое — на гостинице Ларсена появился флаг? Он не с иголочки новый, но хорошо развевается, это один из флагов Теодора-лавочника, и Ларс Мануэльсен выпросил его на время. Он вывесил его в честь своего сына Лассена. Великий день!

Против Ларса Мануэльсена так и не затеяли никакого дела за его кражу по осени, но сороки преследовали его по дорогам и кричали, и люди были не многим лучше их и тоже кричали. Но хуже всего была, пожалуй, статья в „Сегельфосской газете“, она даже попалась на глаза пастору Лассену и пробудила в нем его прирожденные мужичьи свойства: трусливость и страх. На отца его намекали так откровенно, что ошибка была невозможна, не оставалось

никаких сомнений, и вот такой отец мог помешать карьере блестящего сына. Пастору пришлось совершить длинный путь на север страны из столицы и попытаться уладить дело.

Он приехал. Он был высокий и костлявый, длинноволосый, бритый и серьезный. Одет он был тепло. Он сходит на берег и встречает своего отца, здоровается, говорит о своем багаже, видит Юлия, здоровается и с ним и опять говорит о своем багаже, что он стоит вон там. Потом идет в гостиницу с отцом, Юлий следует за ними по пятам. Пастора беспокоит одна галоша, задник у нее то и дело сползает, но другая тащится за ним с собачьей преданностью.

Он входит в дом и видит свою мать:

— Здравствуй, матушка! Мир дому сему!

Мать от волнения не может вымолвить ни слова, но счастлива до слез. Бедная старушка по своему добрая, ей выпала на долю тяжкая жизнь с плутом мужем и дурными детьми, и вот сегодня к ней вернулся знаменитый сын. Великая минута, обожание в сердце, детская наивность в старых глазах — точь в точь, как шестьдесят лет тому назад, когда ей подарили медную пуговицу.

— Ну, что ж, вот посмотри, как живется простому человеку, — говорит Юлий.

И наверное он ожидал, что брат ответит немножко иначе, чем он ответил, а он только кивнул. Смотрите-ка, брат, должно быть, остался недоволен, он не особенно милостив, нет; не успела еще мать принести кофе, как он сказал:

— Что это я слышу провас? Я читал „Сегельфосскую газету". И ты тоже, Юлий, уж ты-то мог бы быть поумнее!

— В чем дело? — спросил Юлий.

— В том, что ты открыто подаешь приезжим краденую провизию, — сказал старший брат, не затрудняясь в словах.

— Что до этого, так за это в ответе отец, — сказал напрямик Юлий.

— Отец... очень хорошо сваливать на отца!

Должно быть, в Юлии проснулся шутник, в его дерзости всегда была своего рода честность, и он дал волю своему необузданному языку без мелочных оговорок:

— Я сразу же сказал отцу: этого тебе не следовало делать, раз у тебя есть такой сын, как Л. Лассен, сказал я. Спроси отца, правду ли я говорю.

— Ох, я нынче стал уж стар, — ответил Ларс Мануэльсен сыновьям, — вы умнее меня, теперь ваш черед жить, это моя единственная мысль. Что же ты не нальешь кофе Лассену?

Старуха мать очнулась от своего обожания и вышла в величайшем смущении.

— Эта история мне во всех отношениях противна, — сказал пастор. — И вот мне пришлось бросить свои научные занятия и свою работу и ехать в такую даль на север. Это совершенно бессмысленно.

— А правда ли, что ты стал доктором? — спросил Юлий, заминая неприятную тему.

— А как мои вещи? — спросил пастор. — Кто нибудь принесет их?

— Я сейчас схожу, — говорит отец и не без радости спешит к двери.

Пастор устремляет свои очки на брата и спрашивает:

— Неужели ты позволишь старику отцу тащить сюда багаж?

Юлий усмехнулся было, но не от веселости.

— Сдается мне, что ты малость глуповат, — сказал он.

— Я?

— Что у тебя ума на скиллинг, а глупости на целый далер. Да, я утверждаю, что так оно и есть.

Вошла мать, неся кофе.

— Уж не знаю, понравится ли тебе наш кофей.

— Спасибо, матушка. И, разумеется, матушка, ты не при чем во всей этой греховной истории с кражей, — сказал сын. — Но ты, Юлий, не заслуживаешь никакого оправдания.

— Это сороки! — сказала добрая мать, стараясь сгладить. — Я всегда говорила, не трогай сороку, Ларс, потому что, говорю, она отомстит всем нам. Но отец ваш сбросил гнездо и нашел в нем ключик от кладовой, от этого и вышла вся беда.

— У вас каждый день флаг на гостинице? — спросил пастор.

— Флаг? У меня даже нет флага, — ответил Юлий.

— Это отец вывесил флаг в твою честь, — ответила мать. — Он сам сходил в Буа и выпросил там флаг.

— В этом не было никакой надобности, — сказал пастор.

Он стал пить кофе. Пришел отец с вещами. Юлий сказал:

— Если хочешь умыться, как прочие приезжие, пойдем со мной!

Пастор последовал за ним. Несколько крутых ступенек вело наверх, и пастор сказал:

— Вот так крутые ступеньки!

Комната оказалась не совсем в порядке, какая-то свинья комми-вояжер валялся в постели и плевал на стену.

— Это Энерсен, — сказал Юлий,—он был пьян раз утром!

Отец шел за ними с чемоданами в обеих руках, он сказал:

— Мать отмоет!

— Боже мой, ты тащишь багаж, отец, а ты, Юлий, идешь с пустыми руками! — вскричал пастор.

Юлий находился далеко не в кротком настроении: Полина с барской усадьбы отказала ему в последний раз вчера вечером, а тут еще является этот важный братец; который, может быть, даже и в мыслях не держит, чтоб заплатить за постой.

— Почему же ты не взял и не понес сам свой пархаж? — сказал он.

— Юлий, Юлий! — с упреком воскликнул отец.

— Много он тебе послал, твой Ларс? — спросил со злостью Юлий. — Парик да сборник проповедей!

Пастор отнесся снисходительно к такой необразованности и ответил:

— Весь свой заработок я тратил на свое образование. И вот достиг того, чем стал.

— Да, правда ли, что ты доктор? — спросил опять Юлий. — Верно, просто враки?

Брат ответил:

— Ты в этом ничего не смыслишь. Конечно, я доктор, но я не врач. Я получил докторскую степень по своей науке. Послушай, нельзя ли мне переменить воду в графине? Ведь она совсем застоялась. И кстати, что, эта кровать с пружинным матрасом?

— Да, с пружинным, — ответил Юлий. И вдруг плюнул так, что попал на выступ печки, и сказал:

— А впрочем, можешь делать, как тебе угодно, хочешь ложись на эту кровать, хочешь — нет. Но должен тебе сказать, что здесь жили люди почище тебя, и карманы у них были тоже немножечко потолще. И Теодор из Буа долгое гремя ходил сюда обедать, а он, на мой взгляд, достаточно важен, и средств у него побольше, чем у нас с тобой вместе.

Пастор опять пропустил мимо ушей огромную необразованность и стал умываться, вымыл руки и лицо, не вымыв ни шеи, ни ушей, достал щетку и почистился, переменил воротничок и манжеты и принял опрятный вид. Потом сел и задумался о том, что вот, какая удивительная у него судьба: рыбак-гребец, священник, ученый, кавалер ордена св. Олафа, доктор философии, кандидат в епископы, в дворцовые проповедники, если таковой понадобится, и даже его прочат в государственные советники, если освободится вакансия — поистине, пути господни неисповедимы! И вот сейчас он здесь, для спасения воровatого отца, письмом просившего у него помощи. Разумеется, пастор мог сделать только одно: появиться и своей репутацией поддержать отца. Сегодня нет, но завтра он пойдет к господину Хольменгро и в газету. Сегодня он будет кушать и отдыхать. Он вынимает из чемодана свой пасторский сюртук и вешает на стену, на сюртуке орден св. Олафа, на случай если понадобится.

У парня Ларса сильная воля и железная настойчивость — эти важные качества у него есть.

У него есть руки, для чего они ему? Они созданы для работы, для тяжелого труда, суставы расчитаны на что-нибудь чрезвычайное, нелепо огромные,

но эти руки бледны и болезненны от бездействия, это невероятно нелогичные руки, они не принесли ему никакой пользы в жизни. Честолюбие его не залетало особенно высоко, оно удовлетворялось служебным положением, он метил в администрацию, в управление тем, что создали другие. Цель достигнута, и у него нет сомнения в том, что все это достойно его стремлений. Он хранил в своей голове школьную премудрость, как его деды прятали скиллинги на дне сундука, и теперь он много знает, он ученый. Он недостаточно духовно развит, чтоб тяготиться этой жалкой жизнью, он будет стремиться приобрести все больше книжной учености, еще немножечко больше, тогда игра его будет выиграна. Такова была его миссия на земле. И вот он сидит с дряблыми мускулами и с мозгом, подточенным школьной зубрежкой в юности и в зрелые годы, но он уважаемый человек, его можно спросить о многом и получить ответ, он читал о том и о сем и знает, где что написано, он обладает ученостью попугая. Докторская диссертация его трактовала о норвежском духовенстве в шестнадцатом столетии и была скомпилирована по датским журналам, норвежским государственным росписям да по Diplomatarium Norvegicum—и по норвежским журналам, прибавил бы он, если бы слышал это перечисление, ибо исследователь он добросовестный. Следующим его трудом было сочинение о великом Nomen Nescio, заключавшее много важных научных открытий, между прочим то, что герой отправился „за лучшим устройством“ не в 1512 году, а в 1513, затем, что за два года до своего отъезда по вышеозначенному делу, имел доселе неизвестный исследователям судебный процесс с одним членом Гамбургского совета—то был четырнадцатый его про-

цесс. Этим произведением парень Ларс стяжал себе лавры, и так как он уже давно был членом ученого общества, пришлось пожаловать ему орден св. Олафа—и вот, он уже величина. Ах, он улыбался, вспоминая, как в семинарские годы ходил, побрякивая серебряной цепочкой от часов, теперь он побрякивал рыцарским орденом; кто мог сравняться с ним? Неужели такому человеку быть пастором в Норрландии, неужели надо вообще напоминать ему, что он родом из этой области! Постепенно кругозор его расширялся, глаза становились жаднее и охватывали все больше почетных должностей и высоких положений, он начал кротко жаловаться, что его обходят, что к нему несправедливы, газеты недостаточно пишут о нем, государство не делает того, что ему следовало бы сделать. Так продолжалось несколько лет.

И вдруг—молниеносная перемена: оценка его сразу начала приходить в большее соответствие с его заслугами, он получил несколько голосов на выборах в епископы, газетные корреспонденты называли его возможным кандидатом в министры церкви. Кто теперь мог сравняться с ним?

Отныне о нем позаботится время, оно одно, ему остается только ждать. Парень Ларс приободрился, ему захотелось проявить вольномыслие, он примкнул к народническому направлению семидесятых годов, стал говорить на народном языке и сделался необычайно обходителен, и он, такой знаменитый человек, имел к этому и внутреннее предрасположение, это подходило к нему лично: ведь он рыбак с гребной скамьи, родился в мусоре, работал в пыли. Ни один ученый не заботился о чистоте тела и платья, Гераклит тоже не отличался изяществом.

Итак, все складывалось очень благоприятно для парня Ларса. Он мог с некоторой надеждой выжидать очередной кончины кого-нибудь из епископов, а тем временем продолжал учиться, приобретал все больше познаний по части книг, грамот в кожаных переплетах и пергаментов. Время шло, его народничество вошло в поговорку, он услышал, что надо собирать древности, и сделался специалистом по части церковной утвари, резных деревянных предметов, оловянных купелей, серебряных чаш. Он обладал широкой культурой, народной и научной.

И вдруг всплывает история с отцом. Неужели она действительно будет иметь какое-нибудь значение?

Когда мать пришла звать обедать, он встал со стула с таким лицом, как будто обед—ну, да, разумеется, отчего же, но требуется не только это. Плут, ведь он еще на пароходе съел лишний бифштекс перед тем, как сойти на берег, так что не был голоден! И в столовой вел себя таким же небожителем и говорил: „Мда, довольно вкусно, матушка, дай-ка мне еще тарелочку супу!“ Пообедав и прочитав молитву — боже мой, то-то было зрелище: огромный датский дог, выдрессированный сидеть со сложенными лапами, — прочитав молитву, он велел позвать отца и Юлия.

Они пришли.

— Чем я гарантирован, что меня накормили не краденой провизией? — спросил пастор.

Отец и мать молчали, ошеломленные. Юлий ответил:

— Так ты бы и не ел!

Но пастор, конечно, отнюдь не имел в виду, что оба грешника отделаются этим мягким вступлением,

они были его близкие родные, но один вор, другой укрыватель; правосудие должно свершиться в полной мере.

— С тобой, Юлий, я не разговариваю, — сказал пастор, — но должен заявить тебе, что если тебе удастся отвертеться от земной кары, ты не избегнешь кары небесной.

Старуха мать свесила голову на бок и сложила руки, а непочтительный Юлий спросил, зачем его позвали.

— Но ты, отец, должен одуматься! — сказал пастор. — Господь не позволяет над собой смеяться, — сказал он, — скоро может быть поздно раскаяться, дня и часа никто не ведает.

Юлий испортил все, спросив:

— Правду ли говорят, будто ты собираешься сказать проповедь в церкви?

Великий брат остановился, Юлий не мог придумать ничего лучше, чтоб сбить его. Он ожидал и надеялся, что его попросят сказать проповедь, для того-то он и взял с собой облачение и орден. Господи, да ведь это и было главное средство, которое он хотел пустить в ход против людской молвы — известный всей стране оратор на церковной кафедре!

— Кто говорит, что я буду произносить проповедь?

— Люди. Многие говорили.

— Об этом мы потолкуем после, — сказал пастор. — Сейчас я говорю о греховном и непристойном поступке, в котором вы оба обвиняетесь и о котором даже пишут в газетах.

— Это сорока отомстила! — прошептала мать и фанатически кивнула каждому в отдельности и посмотрела на всех.

Отец обратился к сыну:

— Я старый и необразованный человек по части учености и всего такого. Но вот, что я хотел бы узнать: хорошо ли по твоему, чтоб во дворе были сорочьи гнезда или же это скверная и безобразная вещь? Молчите только и услышите! — сказал он остальным.

— Не трогай сорок! Не трогай сорок!— предостерегающе проговорила старуха-мать.

— А ежели дело обстоит так, что ты хочешь проповедовать, — сказал Юлий, — я могу сказать Оле Иогану, он сейчас же всем разблаговестит.

Выговор совершенно испорчен. Но пастор ведь добр, терпелив и настойчив:

— Во всяком случае, эта статья в газете оторвала меня от науки и работы и заставила проехать чрез всю страну на север, — сказал он.

— Не стоило из-за этого беспокоиться, — сказал Юлий. — Тут ни одна душа об этом больше не заикается.

— Тогда тебе не следовало так молить меня о о помощи, отец. Это непростительно, — сказал пастор. Но почувствовал огромное облегчение, узнав, что газетная статья позабыта.

Отец стал оправдываться, что это Давердана написала так невоздержно. Да, все аккурат так, как сказал Юлий, никто уж этим больше не интересуется.

— Но сороки гоняются за мной и кричат, — сказал Ларс Мануэльсен, — и если у тебя есть против них какое-нибудь средство, если ты можешь отвадить сорок...

Пастор покачал головой.

— Нет, не можешь? А вот я хотел спросить у тебя еще одну вещь. Правда ли, что фармазоны

носят такие кольца, каких нет ни у кого из прочих людей, и вот говорят, будто у барина Хольменгро такое кольцо...

Пастор знал своего отца, он знал, что грешник старается выпутаться болтовней. Ничего с ним не поделаешь, а старик уж перешел к кощунственным знамениям на небе, какие устроил Теодор из Буа — „Разве не правду я говорю“?

Пастор обернулся к брату и сказал:

— Я специально не очень собирался произносить проповедь. Но если у здешних прихожан есть действительно потребность послушать меня, то мой долг говорить. Во всяком случае, предложение должно исходить от здешнего пастора и причта. Я не пойду навязываться.

— Еще бы! — усмехнулась мать. — Слыханое ли дело!

На следующий день пастор Лассен отправился с визитом к господину Хольменгро. При этом он преследовал не одну только цель, ведь однажды, в свободную минуту, он послал фрекен Хольменгро письмецо. — Дорогая фрекен Марианна, бывшая моя ученица! — и теперь хотел получить на него ответ. Теперь он стал кое-кем поважнее, чем когда давал ей уроки; правда, она была не бог знает какая красавица, и не так-то уж образована и начитана, но, конечно, она не могла не слышать о том, каким важным человеком стал Лассен. И вот он здесь. Довольно странно, самой фрекен Марианны он не очень боялся, другое дело, будет ли им доволен богач Хольменгро, ведь помещик тоже был не особенно просвещенный и развитой человек, ценивший ученость. А Марианна, бывшая ученица—что ж, к ней он отнесется немножко по-наставнически, немножко по-оте-

чески: заговорит о книгах и древностях, резной купели из жирового сланца, которую ему удалось выменять в Сетердалене. Это наверно понравится, в пансионах он заинтересовал собой не одну незамужнюю особу, а сейчас он шел к своей бывшей ученице. Да, и тут же он перейдет к тому самому, намекнет — положение, мол, таково, что он многого достиг в жизни, но он одинок. „Одних книг мало, Марианна,—зайдите как нибудь посмотреть мою библиотеку в следующий раз, как приедете в столицу, уже сейчас несколько тысяч томов, и все прибавляется и прибавляется. Но, как сказано, нехорошо человеку быть одному, — так вот, что же вы ответите на мое почтительнейшее послание?“

Сегодня он идет собственно затем, чтоб убедиться в восторге самой Марианны, а завтра он переговорит с ее всесильным отцом.

Но Марианны не было, она уехала. Вот как, значит, это не ее невинный лепет и смех он слышал в кабинете?

— Нет, — сказала фру Иргенс,—фрекен Марианна уехала.

Вышел господин Хольменгро. С минуту они стояли, смотря друг на друга. Потом Лассен представился, поспешно и со смехом, словно ему пришла в голову великолепная идея:

— Я понимаю, что вы не узнаете меня, — сказал он,—Лассен, ваш бывший домашний учитель.

— Такой ученый и знаменитый человек и путешествует?—сказал господин Хольменгро.

— Да. Я пробираюсь на север и заглянул в свои родные палестины.

— Вы едете еще дальше на север?

— В Финмаркен. С научной целью. По вопросу о лестадианизме.

— Не присядете ли вы?—сказал наконец господин Хольменгро, указывая на стул.

— Я пришел к вам по весьма печальному делу,— сказал пастор.

О нем, к сожалению, было много разговоров, и он сам наслушался вдоволь... Он говорил не очень складно, но кое-как объяснил, в чем дело, и очень удивился, когда оказалось, что господин Хольменгро ничего не знает о краже, ни малейшего представления, никогда не слыхал о ней, вообще не слушает никаких сплетен.

— Но ведь об этом было напечатано в „Сегельфосской газете“, — сказал пастор.

— Неужели?—спросил господин Хольменгро. — Да ведь я не читаю этой газеты.

Все шло великолепно, поразительно. Когда он явился в „Сегельфосскую газету“, редактор и наборщик Копперуд тоже, повидимому, ничего не знал о краже.

— Нет, это, должно быть, недоразумение, — сказал он; — если у нас и была когда-нибудь маленькая заметочка, то во всяком случае, писал ее не я.

Все шло божественно.

— Зато в ближайшем номере у нас появится маленькая статейка о господине пасторе, — сказал редактор. — Не хотите ли взглянуть на корректуру?

Пастор прочитал. Вот как, даже и здесь в Сегельфосе знали, что его прочат в государственные советники!

— Кто это писал? — спросил он.

Редактор ответил:

— В сущности, не следовало бы это говорить; но такому человеку, как вы... Адвокат Раш.

Замечательная мысль произвести пастора Лассена в государственные советники подействовала больше всего прочего даже на Сегельфос, даже на карьериста адвоката Раша. Пастор притворился совершенно равнодушным к необычайно раболепному тону заметки, которую держал в руке, но в душе он был рад: „знаменитый пастырь прибыл в Сегельфос, — говорилось в статейке, — и остановился в гостинице Ларсена".

— Вы можете прибавить, что я еду в Финмаркен с научными целями, — сказал он редактору. — А библиотеку мою здесь исчисляют от одной до двух тысяч томов — в действительности, она приближается к трем тысячам и постоянно увеличивается. Будьте любезны исправить это!

Разумеется, все шло божественно.

„Теперь остались только сороки!" — с улыбкой подумал он.

У него уже не хватало духу бранить своих родных, он вернулся в гостиницу и был ласков со всеми. Отец спросил:

— Что же сказал Хольменгро?

— Что он сказал? Разумеется, он не мог быть со мной нелюбезным.

— Еще бы он попробовал! — пригрозил Ларс Мануэльсен. — Я бы спросил его тогда, зачем он шатался к Давердане.

Сын не слышал или не хотел слышать, он был спокоен и кроток. Несколько сегельфосских мальчишек торчали под окнами, прижавшись носами к стеклам, и Ларс Мануэльсен стал их прогонять.

— Оставь их, — сказал пастор Лассен. — Может быть, впоследствии, в дальнейшей своей жизни, эти малютки будут вспоминать, что видели меня собственными глазами!

— А-ах! — выдохнула мать и, подавленная, покачала головой.

Дня через два он получил приглашение от приходского священника произнести в Сегельфосе проповедь,—было бы лучше, если бы пастор Ландмарк пришел сам, вместо того, чтоб посылать своего причетника, подумал пастор Лассен, — и приглашение навестить больного Пера из Буа.

„Пера из Буа? — подумал он, — того самого, на которого я уже пробовал повлиять раньше и безуспешно, но, конечно, это не причина отказываться сейчас!“

Пер из Буа, видимо, доживал последние дни. Он был уже не только дряхл, он в серьез собрался помирать. Но смерть была ему нежеланна, он не хотел ее знать, у него было закоренелое отвращение к смерти. Он попрежнему лежал в жилетке, хотя от нее издали разило десятилетней ноской, все еще оглушительно ругался, но глаза его уже не принимали в этом участия, не были тверды и полны яда, они стали пусты и остеклели. Но умирать? Он был уже настолько плох, что чувствовал привкус земли в воде, хотя стояло только начало зимы, а его пронизал луч надежды, что скоро весна и тогда он сможет встать и по настоящему приняться за дело! Однако смерть энергично обрабатывала его и подтачивала его крепкое здоровье, глаза были обведены черным кольцом, а лицо посерело.

— Не хочешь ли ты повидать перед смертью пастора? — спросила жена.

— Коза! — ответил муж.

Это „перед смертью“, в разговоре с больным, было жестоко и прямо-таки нахально, и Пер из Буа отказался от пастора, которого, впрочем, ему было

отчасти любопытно повидать. Правда, что если кто-нибудь мог разозлить Пера из Буа и вызвать в нем упрямство, так именно его жена, у нее была какая-то особенная, нудная манера раздражать его, да еще с таким видом, как будто она решительно ничего не сделала. С другой стороны, муж должен же быть благодарен за то, что она изредка заходит к нему, обмывает и вытирает, особенно под носом, когда он плачет, потому что сам он, как малое дитя, и ничего не может сделать своими руками, разве только, когда приходит в ярость. И, право же, ему следовало бы ценить, что она вообще отваживается заходить к нему, потому что это вовсе не безопасно. И уж, конечно, коза — неподходящее слово для такой минуты.

— А кому останется твоя одежа? — спросила она. — У тебя ведь хорошая фризовая тройка и кожаная куртка, кому они пойдут?

— Тебе! — с бешенством ответил Пер из Буа. — Носи на здоровье!

Он был вовсе не безжизнен, и так как в сущности было несправедливо, что он умирал, то он делал все, что мог, чтоб оттянуть этот момент. Он лежал курьезно уродливый, почти доисторически безобразный, скрюченный, словно только что вылупившийся из большого яйца, лежал и размышлял о том, как бы ему встать. Со времени последнего визита доктора Мууса он был очень озабочен, не повредил ли ему свежий воздух,. Проделав обратную эволюцию к зверю, он научился с наслаждением вдыхать вонь, но теперь ему захотелось отворить на минутку дверь. С большим трудом он отворил ее палкой. Он лежал и около часа прислушивался к своим ощущениям, но не выздоровел. А что если прибавить еще? Он стал лаком-

кой, его сладострастие приняло такие эксцентричные формы, что ему захотелось отворить окно, даже дверцу у печки, для сквозняка. Он встал. Разумеется, упал. „Ну, да, — подумал он, — неосторожно вставать на обе ноги, когда одна не действует!“ Он сам вскарабкался на кровать, приподнимая поочередно то один конец туловища, то другой, словно камень, ворочающийся сам при помощи лома, а очутившись в постели, подтянул парализованные члены и бросил их кое как, не приведя в должное положение.

И вот теперь Пер из Буа должен был бы сдаться, но нет, он уходит из жизни без всякого достоинства, а пятясь задом и упираясь. Внимательно и упорно он изучает, как бы ему вывернуться, что-нибудь надо сделать, не может же он так-таки просто лежать и мириться с этим. Начинается борьба с невозможным, с высшими силами,—ну, что ж, а хоть бы и так? С неустанным трудолюбием подкапывается он, лежа в постели, под смерть, хочет подмять ее под себя и победить, он дерется, вот схватил мертвую руку живою, стал трясти ее и кричать: „Подожди, я тебя выучу!“ Вцепился в парализованную ногу, заколотил по ней изо всей силы и сбросил с постели. Но смерть—утомительный компаньон, она ослабляет. Пер из Буа выдохся и должен был снова собирать свои члены. „Где же вы были?“ — спрашивал он, воя от горя и злобы. Но прежде чем простить им их отсутствие, он, скрежеща зубами, требовал, чтоб они ожили. Тогда он возьмет их к себе, говорил он.

Это была истерика камня.

Он отказался от священника, и отказался из злобы на жену. Но узнав, что приехал пастор Лассен, соседов Ларс, сын Ларса Мануэльсена, что приехал

он, Пер из Буа надумал попросить помощи у него. Забавная выйдет штука, у него будет пастор, но не женин пастор, он обманет ее, козу! И когда Лассен пришел, Пер из Буа долго вел себя прилично и смиренно и сказал, что хочет подготовиться к смертному часу. Пастор тоже отвечал ласково, и даже для того, чтоб быть понятнее этой глубоко страждущей душе, перешел на народный говор и стал изъясняться на нем, как умел. Дело шло великолепно, Пер из Буа оживился, любезно усмехался, говоря, что весело слышать такие странные слова. Но, впрочем, ему надо быть посерьезнее, потому что он хочет подготовиться к смертному часу, — сказал он.

Эта мысль о „подготовке“ крепко засела в нем; повидимому, он связывал с нею надежду на выздоровление: вино и хлеб ведь чудо, может быть, он от них поправится! И узнав, что в этот раз пастор не может дать ему хлеба и вина, так как совершает научное путешествие в Финмаркен, Пер из Буа испытал некоторое разочарование.

— Но я могу побеседовать с тобой и подготовить тебя к причастию, — сказал Лассен, — и приходский пастор допустит тебя к господней трапезе!

Нетрудно было видеть, что Перу из Буа это совсем не понравилось, потому что при таком обороте дела, он ведь не имел верха над женой; но пастору Лассену не могло не понравиться, что его предпочитают приходскому священнику, и потому он решил хорошенько заняться этой душой.

— Нет ли у тебя чего-нибудь особенного на сердце, друг мой? — спросил Лассен.

— Нет. Я маленько почитал молитвенник. Я не хочу, чтоб другие его видели, но он у меня здесь,

в кровати. А кроме того, я часто думаю о боге. Но я не молюсь.

— Неужели не молишься?

— Нет еще, пока не молился. Это не хорошо?

Пер из Буа не знал, достаточно ли осторожно он обращался с богом. Он продавал оконные стекла, рюмки и кофейные чашки, но, может быть, бог—материал более хрупкий.

— Если б я мог добыть из Христиании свои книги, я дал бы тебе почитать одну книгу: руководство к молитве, — сказал пастор.

— У вас, верно, много книг?

— О, тысячи, целая библиотека от пола до потолка. И я бы дал тебе одну книжку.

Пер из Буа продолжал высчитывать немногое доброе, что сделал: он хотел уничтожить танцульку, хотел набить ее спичками для лукавого. Вот когда лукавому стало бы жарко!

Пастор улыбнулся.

— Разве это тоже нехорошо?

— Я сказал бы, что это фантазия, наивная выдумка, милейший Пер. Это ни хорошо, ни плохо.

— Ах, вот что! — Пер из Буа вспомнил про лебедей: они кричали так громко и пугали его, проклятые птицы, но он никогда не ругал их.

Пастор подумал, не использовать ли ему страх больного в разумных целях, но отказался от этой мысли:

— Лебеди, белые творения божьи! — сказал он. — Брорсон написал про них свои прелестные лебединые песни! — Но вообще, как-то ничего не выходило, никакой исповеди, ни покаяния, ни раскаяния. Умирающий, который ставит себе в заслугу, что не ругал лебедей! Пастор Лассен посмотрел на часы и ска-

зал: — Что же у тебя лежит на сердце, Пер. Ведь ты же послал за мной.

— Я хочу приготовиться.

Пастор покачал головой.

— Приготовить тебя по настоящему к причастию я, вижу, сейчас не могу. Не такое у тебя настроение. Ты должен сначала раскаяться в своих великих грехах...

— Ну, какие это уж такие великие грехи, — скромно ответил Пер.

— Ты огорчаешь, ты пугаешь меня, — сказал пастор, — я положительно боюсь за тебя. Как ты полагаешь, куда ты попадешь, когда умрешь? Что ты будешь делать?

— Да, — пробормотал Пер из Буа. Но он лежал в кровати и, видимо, не придумал, как вести себя в опасных случаях. — Нет, — сказал он, помолчав.

— Вот видишь! — сказал Лассен. — Ты малодушен и растерян, ты даже не выяснил самому себе, что ты великий грешник.

„Так пусть же мина взорвется!“ подумал, верно, Пер из Буа. Что у него особенного на сердце? Об этом он до сих пор молчал: он хотел выздороветь, встать и отобрать лавку у Теодора. Больше ничего. Лавка — его.

— Я думал, что вы сжалитесь надо мной и приготовите меня, — сказал он. — Потому что, может, от этого мне станет легче. Я лежу здесь год за годом и мучаюсь, и ноги и руки делаются у меня все хуже и хуже, господь без меры наказывает меня своим тяжелым крестом, он совсем погубит меня раньше, чем исцелит.

— Замолчи! Ты кощунствуешь, Пер! Господь карает тебя в меру твоих грехов, можешь быть уверен!

— Ну,—сказал Пер из Буа,—да ведь вы не знаете, что здесь произошло. Я бесприютный: у меня нет крова над головой в собственном доме, Теодор отнял его у меня. Куда как прекрасно! Отец и мать выброшены к чужим людям, можно сказать, и я не могу выздороветь, чтоб встать и повернуть все, как должно быть!—Пер вдруг сделался красноречив, и в глазах его появилась прежняя жесткость. — Не можете ли вы хоть пойти в лавку и выгнать его? — спросил он.

— Нет. Это дело светских властей. Нет, нет, не говори мне ни о чем подобном!

— Я говорю это ради него самого, потому что он мой сын и мое дитя. Если б вы вышвырнули его за дверь, он, может быть, одумался бы, щенок проклятый...

Пастор молчал. Он вдруг почувствовал в Пере из Буа крестьянина, ту расу, к которой принадлежал он сам. Так вот зачем послал за ним умирающий. Он молчал. Несколько кратких лет тому назад мысли Пера из Буа были не чужды и ему самому; теперь, слава богу, он стал другим!

— И мало того, что он нас, своих родителей, доводит до богадельни и нужды, он забрал и долю своих сестер и пустил их голыми по миру, — продолжал Пер.—Теперь он допустил до того, что местечко отобрало у нас право винной торговли, все идет прахом, а мать его все равно, что коза, не смотрит ни за бочками с парафином, ни за кадками с патокой в кладовой. Куда мне кинуться? Теодор выстроил новую лавку стена об стену со мной, и теперь я слышу, будто он снес стену прочь и устроил одну общую большую лавку. Эх, посмотреть бы мне только!

— А разве адвокат Раш не может помочь тебе в этом деле? Я не могу вмешиваться, — сказал наконец пастор Лассен и встал. Какая полнокровная злоба и жажда мести у паралитика — поистине, Лассен был рад, что отошел от сословия, где царит один грех и грубость!

— Прощай, — кратко проговорил он. — Постарайся исправиться!

Пер из Буа хитро посмотрел на него. Ах, будь это в дни его молодости, когда он мог двигаться! Нынче он был бессилен.

— Я понимаю, — сказал он, — вы уж поговорили с Теодором, что меня не надо соборовать, и что я не встану.

— Я не говорил с Теодором,—ответил пастор. — Исправься, Пер, советую это тебе, как духовник. Чего ты хотел? Чтоб я отпустил тебе грехи именем самого бога, когда у тебя такое направление мыслей? Я этого не могу.

— Нет, нет, — сказал Пер из Буа. И у него уже не было зубов, чтоб вцепиться в икру Лассену.

Вернувшись в гостиницу, пастор Лассен сказал, что визит к больному вышел не совсем приятным. Это могла бы быть великая минута: после исповеди и покаяния больной испытал бы облегчение и в душу его снизошли бы мир и благодать, но, к сожалению...

В воскресение он произнес проповедь в полном облачении и при ордене. Церковь была переполнена. Проповедь совершенно исключительная. Хотя он был ученый и великий знаток в области богословия, он не стал этим кичиться. Церковь,—христова невеста, он — ее смиренный служитель. И он сказал буквально:

— То, что вы слышите, дорогие друзья, это только мой голос. Представьте же себе, когда голос божий возглаголет к вам из тернового куста!

Вообще же это была бодрая проповедь в народном духе, кое что на диалекте, но остальное на понятном языке. Присутствовала вся пасторская семья, за исключением самого пастора. Присутствовал и адвокат Раш.

Пастор Лассен так и сыпал изречениями, сентенциями, то ли он сам сочинил их, то ли вычитал из какого-нибудь журнала для семейного чтения. Шесть из этих изречений гласили следующее:

„Человек слабее, когда он расчитывает на других, нежели когда полагается на самого себя; но надо полагаться на бога".

„Если на телескопе пятна, то и на самом ясном небе увидишь тучи".

„Делай добро ради добра и не заботься о том, что из этого выйдет".

„Доброта — утес в море, добродушие — зыбучая песчаная дюна".

„Никто не может растопить каменные сердца, но божий мельник может их размолоть".

„Талант без дисциплины — дворец без крыши".

После проповеди фру Ландмарк с дочерьми явилась в гостиницу поблагодарить. Это великое событие! Ах, что они пережили!

Лассен спросил про пастора.

— Его задержали, — ответила фру, — но он просил кланяться.

— Папа ужасно занят другими делами, — сказала одна фрекен Ландмарк и хихикнула.

— Он изучал чертеж молотилки, — подхватила сестра и тоже хихикнула.

Обеим девицам был показан кавалерский крест ордена св. Олафа и было разрешено подержать его в руках. Пасторша и Лассен сошлись на том, что жить надо непременно на юге.

— Так возвращайтесь поскорей в Христианию!— сказал он. — Надо же вам наконец побывать у меня и посмотреть мою библиотеку и мои древности.

XVI

А потом пастор Лассен уехал. Он продолжал путь в Финмаркен, чтоб изучать лестадианизм на месте его родины. Он был искренно рад возможности выбраться из уголка, где прошло его детство, из этого Сегельфоса в Норрландии; он сам понимал, что не подходит к таким людям, как Ларс Мануэльсен, Юлий Ларсен и Пер из Буа, и решил никогда больше сюда не возвращаться.

— Прощай, мать! — сказал он. — Не плачь, мне лучше будет в Христиании,—прибавил он.

Юлий ничего не получил от брата за постой и не скрывал, что этот же брат увез с собой две книжки, бывшие в гостинице, которых он, Юлий, не отдал бы и за две кроны каждую.

— Я не стану на него жаловаться в суд, — сказал Юлий, —но я его не уважаю. Ни вот столечко!

Да, Юлий не понимал брата, достигшего такого величия, и сестра Давердана была тоже немногим лучше.

— Ну, а про меня Ларс не спрашивал?—спросила она, — и не помянул? Что ж, скатертью ему дорожка, — сказала Давердана. Она была замужем, жила своим хозяйством и шила мешки на мельницу, так что

зарабатывала лишние деньги; вдобавок, была рыжеволосая и имела много поклонников.

Но вот настал день, когда никто уже не стал шить мешков на мельницу. Этого нельзя было ни оттянуть, ни предотвратить, ни избегнуть, нет.

Фрекен Марианна опять нагнала своего отца на дороге, она была в своей красной пелерине с мехом. Она сказала ему:

— Я пошла за тобой, чтоб показаться тебе.

Отец улыбается:

— Какая на тебе хорошенькая шляпка!

— Ты находишь? Но зато она очень дорогая.

— Да, наверное. Но она большая и красивая.

— Разве мельница сегодня не работает? — спрашивает она.

— Совершенно случайно, — отвечает отец. — Мне пришлось взять Бертеля из Сагвика и Оле Иогана на другую работу.

— Я вижу, они что-то роют на пригорке, что это будет: колодезь или погреб?

— Это будет алмазная пещера, — ответил отец, напуская на себя таинственность, как и много раз раньше. — Милочка Марианна, иди домой и не заглядывай в пещеру.

— Помнишь, когда Феликс и я были маленькие, ты переносил нас на руках как раз на этом месте, — сказала она, — потому что здесь всегда было очень топко.

— Да. Мне кажется, что это было совсем не столько лет тому назад. А теперь скоро вы с Феликсом сможете перенести меня.

— Время идет! — сказала Марианна.

— Время идет, милый мой мудрец! — ответил отец, улыбаясь.

Подходит Мартин-работник, он опять начал охотиться и идет из леса, неся через плечо дичь.

— Я шел к вам с этими птицами, — говорит он, кланяясь.

— Это Виллац Хольмсен приказал тебе?

— Да.

— Поблагодари его, когда будешь писать, — сказала Марианна.

И тут Мартин-работник спрашивает, он ведь так давно знаком с господами, что может себе это позволить, — он спрашивает:

— Неужто Ларса Мануэльсена не засадят за кражу?

Марианна не отвечает, а господин Хольменгро говорит:

— Как ты думаешь, что сделал бы лейтенант?

— Ну, — приходится Мартину-работнику ответить, — лейтенант пустил бы вора на все четыре стороны, потому что не захотел бы мараться с такой дрянью.

— Вот видишь! — сказал господин Хольменгро.

На обратном пути Марианна была очень задумчива. Хитрость ее оказалась неудачной, она не сумела заставить отца открыть перед ней свое сердце, как ни старалась. И не удалось также вызвать его на выговор по поводу ее шляпы, он ничем не выдавал себя. А шляпа была совсем не новая и не дорогая, она была куплена два года тому назад, и Марианна сама переделала ее. Это была уловка, ей хотелось вызвать отца на маленький упрек, но нет! Ей же самой было совсем не до шляп.

Дома она застала ленсмана из Ура, который мимоходом спросил ее про отца.

— В чем дело, ленсман?

— Нет, ничего, фрекен Марианна, решительно ничего. Просто два слова, раз уж я попал в ваши места...

В следующие два дня в Сегельфос явились какие-то странные приезжие, городские господа, но не комми-вояжеры; они остановились в гостинице и вызвали туда господина Хольменгро для переговоров. Там же находился и толстый адвокат Раш, и ленсман из Ура, но тот, повидимому, стремился поскорее уйти. Все они беседовали при запертых дверях.

Мельница продолжала стоять, и господин Хольменгро объяснял это тем, что двое заведующих мельницей понадобились ему для другой важной работы. А Бертель из Сагвика и Оле Иоган копали какую-то таинственную яму, и предполагалось, что это одновременно и погреб, и яма, безопасная от огня и с замечательными приспособлениями против взлома и обвала. Стены изнутри выложены толстой каменной кладкой.

— Как думаешь, что он там собирается прятать?— спросил любопытный Оле Иоган. — Говорят ведь, что ему и прятать-то больше нечего.

— Кто это говорит?

— Я слыхал. В лавке говорили.

Бертель из Сагвика всегда на стороне хозяина, так всегда было, он родился с этой редкой слабостью, он отвечает:

— Ну, уж наверно у него побольше, чем знают в лавке.

— Сказывают, будто сюда приехали с юга какие-то важные господа, и они переписывают все до капельки, что имеется у Хольменгро, — заявляет Оле Иоган.

— Мать твоя родила такого же переписчика,— отвечает Бертель своим обычным присловьем.

Да, в Буа догадывались, в чем дело; у молодчика Теодора был особый нюх, природное чутье, и он не находил причин щадить дом Хольменгро от подозрений. Фрекен Марианна проявила к нему такое жестокосердие и пренебрежение, может быть, теперь она удостоит заметить его на поверхности земли.

Может быть. Но Теодору из Буа не следовало бы на это расчитывать, Марианна была такая же, как всегда, в красной пелерине и большой шляпе. А новые события? Они, как будто, не были для нее неожиданностью, возможно, что она догадывалась о положении своего отца, она была хитрая и смышленая, умела перехватывать письма и телеграммы. Зачем же она и ускорила летом свою помолвку с Виллацем Хольмсеном, если не для того, чтобы предупредить крах и катастрофу?

Но одна вещь, как будто, сбила фрекен Марианну с толку: Борсен, начальник телеграфа, который как раз в эти дни лишился места и которому только и оставалось, что шляться по дорогам, этот самый Борсен часто встречался ей и ее отцу, когда они выходили гулять, и всякий раз Борсен кланялся помещику, как королю. В чем тут дело? Если кто-нибудь знал положение ее отца и просматривал его телеграммы Феликсу и от Феликса из Мексики, то конечно, Борсен. И он попрежнему кланялся помещику низко и почтительно.

— Что же это, неужели отец не разорен?—думала Марианна. — Или Борсен находит, что он достоин почета и уважения и после своего падения?

Она поймала своего старого друга, ленсмана из Ура, и сказала:

— Почему вы ответили, что ничего нет, когда было так много?

— Я тогда не знал,—ответил ленсман.—Я получил телеграмму, но не понял ее.

Теперь она знала наверное.

Ну да, совершенно разорен, он был на дне, игрок поставил на карту свой последний скиллинг и проиграл. Так вот каков был этот господин Хольменгро, приехавший в Сегельфос и сыгравший роковую роль для себя самого и для других. Он был явлением из незнакомого мира, из глубины, он был король, превративший жизнь в загадку, какова она и есть.

Он не жаловался, не разговаривал. Раньше, когда ему случалось понести крупный убыток, он иногда напивался, как матрос, и жаловался, теперь он вел себя с большим достоинством, он копал замечательный погреб, который собирался чем-то наполнить, он даже улыбался и был приветлив и ласков, как будто и сейчас он мог лечь и проспать четверо суток одним духом и проснуться богатым и беззаботным. Странный человек! Однако адвокат Раш с изумлением заметил, что при первом свидании с приезжими городскими господами помещик снял с пальца свое таинственное кольцо, франкмасонское кольцо, и спрятал его в карман. Почему это? У одного из приезжих господ было тоже франкмасонское кольцо на пальце, но он его не снял. Может быть, помещик не хотел обнаруживать свое высокое звание теперь, когда он пал? Или же, может, он вовсе и не франкмасон? Адвокат Раш впал в сомнения.

Да, адвокат Раш впал в сомнения и относительно некоей телеграммы из Порто-Рико, от некоего Феликса, касавшейся продажи некоего судна, огромной суммы. Может быть, это тоже выдумки?

„В сущности,—думал адвокат Раш,—чего же и можно ожидать от человека его происхождения, при недостатках его образования!“

Но вообще-то? Судьба господина Хольменгро? И каким образом совершилось его падение? Это знал он сам, он один. Его богатство, может быть, никогда не было особенно велико, но он уехал на родину и блистал тем, что имел.

Это было и нехорошо, и хорошо. И он блистал так усердно, так ярко, что в конце концов ему пришлось закладывать свои поместья, самую мельницу и, постепенно, пристань, набережную, барский дом; он закладывал все чаще и чаще, закладывал все, выжимал деньги изо всего, вплоть до машин, вплоть до оборудования. Он был банкротом уже много лет, но отстранял разорение и делал это очень искусно, превосходно, гениально. Разумеется, он мог бы приостановить свою деятельность во-время, но тогда кредиторы моментально набросились бы на него; он, может быть, спас бы значительную часть своего состояния, но тогда жизнь его не была бы фантастичной, сказочной. Царствовать изо дня в день над мельницей и ее рабочими — разумеется, это было смешно! Он не любил регулярности, работа не доставляла ему удовлетворения; если он не мог блистать, он был бессилен. Он и блистал.

И такой-то человек мог поселиться в Сегельфосе и бессмысленно тратить годы за годами в этом месте, пока не наступила старость? А почему же нет? Человек таит в себе свою собственную судьбу и судьбу других людей. Человек с Кордильер, должно быть, решил, что на это он имеет средства, на большее же — нет; он обуздал свои порывы и полетел ближе к земле. Впрочем, Сегельфос не был захолустьем, когда он основался там: в ту пору в имении жили господа, люди, в сношениях с которыми радостно было быть богатым, он не жалел ни об одной сделке с ними,

ни об одном сделанном им подарке. Лейтенант и его супруга были аристократы и дворяне. С их смертью для господина Хольменгро, в сущности, все кончилось, ничего нет фантастичного сиять среди аллеи обыденщины, это может сделать и адвокат Раш в красном клетчатом жилете. Но у господина Хольменгро была уже мельница, моловшая муку; приходилось продолжать молоть, мельница стала его властелином, он молол напропалую, молол до старости, пока спина его не согнулась и глаза не стали водянистыми. То был рок. И в довершение всего, ему еще приходилось бороться ради поддержания положения владельца мельницы, надо было прибегать к хитростям и уловкам, таинственными перстням, таинственным телеграммам, все для того, чтоб предприятие не лопнуло и рабство его не кончилось. Что еще он предпринимал? Ничего. Его кувыркания и прыжки по аллее, его внезапные срывы — то, что он напивался и гонялся за женщинами — было проявлением неизрасходованных природных сил: матрос был ведь человек и мужчина. Преступление его заключалось не в этом, его преступлением было молоть муку.

А как невероятно хитро работал мозг этого человека, намеками, почти незаметно, неслышно! Пастбище на две тысячи овец для вывоза — это звучало грубо и мощно, но это был тончайший, хитроумнейший план. Господин Хольменгро хотел купить эту пустошь, потому что ее нельзя было купить! План был связан с милой Марианной и Виллацем Хольмсеном, с помолвкой, которую надо было ускорить. Впоследствии, после краха, Виллац Хольмсен узнал бы, что две крупные спекуляции в Тихом океане временно не удались.

Мельница стояла, но дни шли, Бертель из Сагвика и Оле Иоган копали и обкладывали камнем яму.

Вероятно, об этом телеграфировали в газеты, все громко говорили об этой затее, вся округа знала о ней. Фрекен Марианна получила с прошлой почтой новое пламенное письмо от Антона Кольдевина, сегодня она получила от него телеграмму, что его последняя операция с „Жар Птицей“ сорвалась, и он не смеет больше настаивать на своем почтительном предложении! Практичный человек уклонялся, и против этого ничего нельзя было возразить; при чтении в индейских глазах Марианны мелькнуло что-то в роде улыбки. Зато она не улыбнулась над письмом Теодора из Буа, оно было немножко хвастливо, но наивно и беззлобно:

„Высокоуважаемая фрекен! Если мне будет разрешено прийти в ваш дом на консультацию, я почтительнейше предлагаю свои услуги в отношении дел вашего папаши. В ожидании благоприятного ответа, остаюсь, с совершенным почтением Теодор Иенсен“.

„Милый Теодор, вы не можете помешать неизбежному, — написала она в ответ,—но благодарю вас за ваши любезные строки. Ваша Марианна Хольменгро“.

Но вот вышла „Сегельфосская газета“, в ней была передовица о крушении господина Хольменгро, написанная твердо и уверенно, с разъяснениями из „осведомленного источника“. „Мы давно это предвидели,— писала газета,—но не хотели обнаруживать; наконец-то Немезида обрушилась на предприятие, которое было гнило в самой своей основе и потому могло существовать, лишь благодаря постоянным повышениям цен на муку!“ Статья была очень длинна, шедевр по образованности и стилю; всякий понимал, что в Сегельфосе был только один человек, который мог так распоряжаться словами. „Мы с ужасом думаем о рабочих, оставшихся без хлеба среди зимы, — писал этот че-

ловек,—и не можем отделаться от надежды, что мельница будет продолжать работать, хотя бы временно и в убыток. Нам стало известно, что из источника, которому близко благо Сегельфоса, настоящим владельцам предприятия было сделано указание на необходимость продолжать производство, а если новые хозяева не поймут этого, их заставят понять. Рабочих много, и требования их справедливы".

Другая статья в газете была, вероятно, составлена самим редактором и наборщиком Копперудом; она не блистала эрудицией, но тоже была хороша и полезна для Сегельфоса и окрестностей.

„В чем дело? — писал он. — После той практики, которую помещик Хольменгро установил своим юбилеем, рабочие несколько лет несли тяжкий труд в ожидании нового юбилея. И что же, неужели его не будет? В прошлый раз помещик пожертвовал пять тысяч крон, а теперь, почти накануне нового юбилея, он бросает свое поместье. Это имеет вид заранее обдуманного намерения, и обманутыми являются опять-таки рабочие. Запомните это, наемные рабы!"

И наемные рабы запомнили это и еще многое другое, у них были развязаны руки, развязан язык — полная свобода. Все могли нападать на короля, „Сегельфосская газета" не пожалела его ни одним словом, рабочие осудили его многими словами. Начать с того — чего ради он сюда явился? Под предлогом слабого здоровья, ради соснового воздуха. Как будто в Мексике нет хвойных лесов! Как будто на всем свете только в Сегельфосе и есть хвойный лес! Чего ему здесь было надо!

Покуда он мог удовлетворять сильный и слепой аппетит пролетария, все шло хорошо, он должен был давать народу муку, по преимуществу пшеничную,

по дешевой цене, всего лучше даром. Неудовольствие началось с того момента, когда он потребовал платы, когда он захотел иметь труд за плату. Они не ставили ему в вину, что он развратил местечко своей фантастикой, своей безудержностью, пасть народная всегда была разинута и требовала все больше и больше. Король ввел наличные деньги, деньги стали цениться все меньше и меньше, деньги побрякивали в кармане у всех и каждого, король раздавал их щедрой рукой — дай бог здоровья королю! Но понятия смешались, в домах появился другой дух, король ввел роскошь, справляться с которой не у всякого хватало ума и характера.

Теперь все это прекратилось. Что это значит? Значило ли это, что консервы, часовые цепочки и папиросы сделаются недоступны? Быть рабочим становится все труднее и труднее, капиталисты проматывают капитал и оставляют рабочих без куска хлеба; мы с ужасом думаем о зиме! Многие горько жаловались, они купили лошадей для возки на мельницу, теперь они оказывались им ненужными. Что им делать? От серьезной работы они отвыкли, им страшно было за нее приняться, и вот они предпочитали шататься, часами торчать у прилавка в Буа, обсуждать вопрос о диалекте и шансы на выборы адвоката Раша.

— А не может ли Теодор купить лошадей?—Отчего же, за товары. — Теодор покупал и продавал все, лошади перешли к нему, он разослал их на пароходе по разным местам. Теодор невольно выступил теперь в роли общего помощника, люди в Буа не голодали, лошадь съешь не скоро. А к Новому году будет Лофоден, а к лету, глядишь, что-нибудь да найдется. А на Хольменгро — наплевать!

— Не смей так говорить! — сказал вдруг Теодор.

— Еще что!

— Да. Потому что он, Хольменгро, превратил Сегельфос в город, а этого не сделал ни ты, ни адвокат!

Смотрите-ка, Теодор из Буа за последние дни переменил свое отношение и переметнулся к врагу! Он получил письмо от фрекен Хольменгро, говорил он, и после этого увидел все в совершенно новом свете.

Ах, это письмо, эти две строчки: Дорогой Теодор, ваша Марианна Хольменгро; только это и требовалось, чтобы Теодор переменил свое отношение. Жениться на ней он не собирался, для этого она была слишком уж высокопоставлена; но его уже не отвергали с презрением, он был восстановлен в своих правах; она писала ему. Он сотни раз перечитывал записку, оставаясь один, целовал ее, играл ей на граммофоне, произносил прощальные речи и плакал. Таков был парень Теодор, не хуже, вот какой он был хороший. Разумеется, он хвастал письмом, он был бы дурак, если б не сделал этого, Теодор даже давал понять, что ему одному, и никому другому, в точности известны все обстоятельства падения господина Хольменгро.

— Есть тайны, которые тебе неизвестны, — сказал он Ларсу Мануэльсену.

— Я и не нуждаюсь их знать.

— Погреб его скоро будет готов, в него еще попадут драгоценности и сокровища!

— Тогда ему следовало бы вспомнить Давердану и отблагодарить ее хоть чем-нибудь за все оскорбления, какие она перенесла, — сказал Ларс Мануэльсен, соблюдая интересы семьи.

Была ли доля правды в том, что господин Хольменгро собирался зарывать в землю сокровища? Люди пришли в сомнение,—разве узнаешь все про короля? Сам он находился еще здесь, не говорил и не жаловался; мельница не работала, но погреб становился все прочнее и надежнее, и теперь вот он уже и готов.

Что же будет дальше?

Ленсман из Ура почти ежедневно приезжал к господину Хольменгро и оставался там на правах друга; может быть, он выступал и в качестве доверенного другой стороны и заведывал домом. Он доставлял много удовольствия своим присутствием, и они с фрекен Марианной опять весело шутили, невзирая на обрушившиеся испытания. Старый ленсман очистился от долга в кассу, не имел и частных долгов, вдобавок пользовался всеобщим доверием и вот сейчас получил телеграмму от Виллаца Хольмсена.

— Я получил сегодня телеграмму, что Виллац Хольмсен опять едет, — сказал ленсман как бы мимоходом.

— Кто едет? — спросила Марианна. Но она была так ужасно хитра, что усидела смирно на стуле и продолжала разговор. — Послушайте, ленсман, ведь если мы стали бедные, никто не захочет теперь на мне жениться. Впрочем, может быть, пастор Лассен захочет? А может быть, и Теодор-лавочник! Но если не захочет он, то Лассен-то уж возьмет, как вы думаете?

— Он едет, — сказал ленсман. — Молодой Виллац уже выехал.

— Вот как? Да, правда, ему все возят бревна. Так вы получили телеграмму от Виллаца?

— Да. И ответил, что бревна возят, — сказал ленсман, усмехаясь.

— Можно посмотреть телеграмму?

Совершенно верно, Виллац Хольмсен подал о себе весть, срочная телеграмма с красной наклейкой: Срочно! Что же это так срочно? Задержать ее, если она собирается уехать, просить сейчас же выехать на юг и взять его таким, каков он есть, хотя опера все еще не совсем готова. „Дорогой друг Марианны, позондируйте почву, могу ли я надеяться, но не показывая этой телеграммы!“ Длинная и кипучая телеграмма, выразительная и бестолковая, влюбленная телеграмма: он не решается показаться сейчас из чувства рыцарства и порядочности, — еще бы, посмел бы он сейчас просить ее руки! — но он боится, что она исчезнет и он никогда больше ее не увидит. „Я еду сейчас на север, не для того, чтоб быть ближе, но потому, что здешние мои две комнатки должны быть вымыты к моему возвращению. Отвечайте в Тронгейм“.

— Что же мне ему ответить? — спросил ленсман.

— Вы ни в каком случае не должны показывать такую телеграмму, — ответила она, вспыхнув до корней волос. — Да, вы смеетесь, а я вот ему расскажу!

— Значит, вы с ним увидитесь? — спросил он с величайшей серьезностью.

Она проворно подбежала к зеркалу и обеими руками спустила на лоб волосы, чтоб быть поинтересней.

— Увижусь ли я с ним? Покажите-ка мне еще раз, разве там не написано, что он встретит меня в Тронгейме?

— Я не могу показывать такую телеграмму, — сказал ленсман.

— Вы спрашиваете, что вам ответить. Я отвечу сама, — сказала Марианна.

Ленсман покачал головой:

— Ведь вы не знаете, сколько свезли бревен.

— Как вы думаете, где мой милый папочка? Мне надо . . . я хочу только.

В дверях она обернулась и еще раз спросила ленсмана, действительно ли он получил эту телеграмму.

— Нет, я ее купил, — ответил он, и оба засмеялись.

Впрочем — как бы фрекен Марианна ни радовалась, и ни смущалась, и ни хотела сию же минуту ехать на юг, — почтовый пароход отходил не раньше, чем через два дня. За это время она послала и получила очень много телеграмм и уложила платье и вещи в сундуки. Отец помогал ей, он был молчалив и счастлив, должно быть от удовольствия, что алмазная пещера готова и может быть использована.

Наконец, пришел большой пароход. Господин Хольменгро подал сигнал флагом, судно пристало к его пристани, оно и шло в его адрес. Теперь люди уже окончательно ничего не понимали: что это, новый корабль с зерном, и король, значит, не пал? Господин Хольменгро только кивнул головой, что, мол, он давно ждал этого корабля, и вот он пришел. Стало быть, какое-нибудь чудо да случится? Корабль не может сдавать зерно банкроту и не может принимать на борт вырытый в земле несгораемый погреб и уходить с ним в море.

Господин и фрекен Хольменгро взошли на пароход и долго оставались там; флаг торжественно развевался все время, пока гости находились на судне, а когда они сошли на берег, капитан отправился с ними. Он был высок и желтолиц, должно быть из чужих стран, фрекен Марианна шла с ним под руку, он говорил на незнакомом языке, но сказал и

несколько ломаных сегельфосских слов, над которыми все смеялись. Марианна и господин Хольменгро называли его Феликс.

Так вот когда молодой Феликс вернулся в Сегельфос, с тайным визитом, на несколько часов, инкогнито. Вот он. Все здесь его удивляло, он вернулся в родной городок, позабыв всех людей, и только помнил несколько имен. „Юлий?“—спрашивал он. „Готфред?“ — спрашивал он. „Виллац, Полина, Пер из Буа?“ — спрашивал он. — А чья это большая новая лавка? Теодора? Не помню!

Теперь и господин Хольменгро сам начал укладывать платья в сундуки и чемоданы, а Бертель из Сагвика и Оле Иоган снесли все на пароход: фрекен Хольменгро ехала к своему жениху в Тронгейм, и отец провожал ее.

— Как думаешь, вернется он? — говорит Оле Иоган.

— Вернется. Неизвестно, что он хочет делать с погребом, — отвечает Бертель.

— А говорят, что он больше не приедет.

— Кто это говорит?

— Адвокат болтал.

Они снесли сундуки и ящики; каждый раз, когда они приходили на пароход, Оле Иоган задавал пропасть вопросов и получал в ответ кучу непонятных сообщений от экипажа. Сам капитан находился на берегу у господина Хольменгро или же гулял по окрестностям и осматривался. Люди встречали его то тут, то там, он заговаривал с ними, смеялся, произносил несколько сегельфосских слов, но больше плел удивительнейшую чушь. Должно быть, он говорил на диалекте. Спросили редактора Копперуда, и тот сказал, что, должно быть, это диалект.

Со времени приезда пастора Лассена диалект получил здесь большое развитие; важное значение имело, что этот ученый и знаменитый служитель церкви был сторонником диалекта и даже проповедывал божье слово на нем. Все оставшиеся не у дел рабочие господина Хольменгро сделались приверженцами диалекта и поражали друг друга своими успехами, а тут еще приехал из чужой заграничной страны важный капитан, и он, оказывается, тоже говорит на диалекте.

Капитан зашел и в Буа, купил кое каких мелочей и поговорил на своем тарабарском языке,—невозможно было ошибиться, все поняли, что он сказал, да, это был родной язык, сердечное напоминание о далеком прошлом Норвегии. Праздношатаи энергично покивали капитану и начали ему подражать. Он многому научил их в короткое время. Жаль только, что он так скоро уехал.

Поздним утром на следующий день господин и фрекен Хольменгро и приезжий капитан взошли на пароход. Об этом сейчас же узналось, и оставленные без куска хлеба рабочие, должно быть, подумали: „Уж не хочет ли он сбежать? Надо посмотреть!“

Набережная кишела народом, фру Иргенс провожала своих господ, она стояла и плакала, хотя получила пакет с деньгами и была хорошо обеспечена. Стало быть, она плакала оттого, что лишалась хороших хозяев. Начальник пристани и его помощник явились в праздничном платье и держались в сторонке. Бертель из Сагвика и Оле Иоган поздоровались с помещиком, как всегда, и Бертель спросил:

— Как же нам, присматривать за погребом, покамест вас нет?

Господин Хольменгро подумал с секунду, потом ответил:

— За погребом? Нет, раз корабль пришел, погреб мне не понадобится.

Он дал Бертелю толстый конверт, дал такой же конверт и Оле Иогану, сказав, чтоб они не вскрывали их, пока он не уедет. Потом поблагодарил обоих за верную службу.

— Разве вы не вернетесь? — спросил Оле Иоган.

— Когда моя дочь будет хозяйкой в имении, я наверное приеду навестить ее, — ответил господин Хольменгро.

На набережной спрашивали, что он ответил, и вот оказалось, что он не удирает, дочь его остается здесь, и сам он тоже вернется! И тогда оставшиеся без хлеба рабочие перестали кричать и перестали свистать в кулаки, не такие уж они были отпетые, и даже стали помогать отдавать чалы и с грустью смотрели на своего бывшего хозяина. Вот он стоит на палубе; строгим и требовательным работодателем он никогда не был — счастливого пути! Не такие они уж были отпетые. Пусть только он не бросает на берег тысячу крон в раздел между ними, этого сейчас же будет мало, они начнут ворчать, почему не две тысячи, ну да, потому что эти деньги созданы ведь их же потом! У них инстинкт пролетария, вечная неудовлетворенность их непохожа на неудовлетворенность зверя, их разинутая пасть постоянно требует все больше и больше.

Теодор-лавочник тоже слышал ответ господина Хольменгро, и сердце его сжалось. Хозяйка в имении, ну, что ж, это не новость, не сюрприз. Мало пользы иметь фирму и быть первым в своей отрасли, судьба

сильнее. Вот она стоит, прощай, и будь счастлива, вот мое желание!

Вдруг в толпу влетел, словно сорвавшаяся с привязи лошадь, Оле Иоган, отходивший в сторонку. Любопытный старик, конечно, не мог удержаться, чтоб не вскрыть конверт, и вот он протискался к Бертелю из Сагвика и сказал:

— Там не писаный аттестат, как ты думал, а деньги. Разорви и посмотри, сколько у тебя!

— Когда он уедет, — ответил Бертель.

Подошел Борсен, легко одетый и озябший, похудевший после раны в груди. Удивительный Борсен, невозможный Борсен, разжалованный из начальников станции в телеграфисты под начало маленького Готфреда, но такой же представительный, походка в перевалку, как и раньше, без раскаяния, без озлобления. Он кланяется господам на палубе, шляпа его опускается чуть не до земли, никто не умеет так послать привет старой шляпой, как Борсен. И господа отвечают ему тоже низким поклоном, господин Хольменгро благодарит начальника телеграфа за все труды, которые он нес ради него; Борсен снова опускает шляпу и, раскачиваясь, бредет дальше.

Господин Хольменгро подзывает Теодора. Он желает молодому купцу действовать и дальше так же успешно:

— Поклонись твоему отцу и матери!

Марианна кивнула ему головкой.

В эту минуту пароход отходит от пристани, и Теодора охватывает страшное волнение. Большой пароход все шире и шире раскрывает просвет у берега, последний кивок Марианны, разлука на всю жизнь, это было что-то необъяснимое, он тяжело перевел дух.

— Ваш отец помер, — говорит рядом с ним чей-то голос. Это говорит Юлий.

Теодор возвращается из другого мира:

— Что ты говоришь?

— Отец ваш. Он сейчас помер. Я только что из лавки.

— Отец помер?

— Да.

Теодор сразу возвращается в свой собственный мир, он уже не видит парохода, не чувствует никакого необъяснимого волнения, он торопится домой и разыскивает мать.

— Да, отец твой помер, — говорит она, плача. — Он был очень плох утром и не мог сказать ни слова. „Тебе худо, Пер?“ спросила я, но он не ответил. А теперь он помер.

— Да, да, — сказал Теодор.

Он не был подготовлен к этой внезапной смерти, но она пришла не преждевременно, наконец-то бог оказал отцу эту услугу. В голове Теодора промелькнуло несколько быстрых мыслей, гроб, похороны, крест на могиле. Он пошел в лавку и выбрал черной материи повязать на шляпу. А не надо ли ему черной полоски на рукав? И на какой рукав, у кого бы узнать? Может быть, на оба? Редактор Копперуд наверное знает, как полагается, но Теодор был с ним далеко не в приятельских отношениях. Может, фотограф знает? Он послал подручного спросить; нет, фотограф не знал. Теодор был в таких вещах очень педантичен и боялся промахнуться. Борсен-то, разумеется, знает. И не следует ли ему писать письма на бумаге с черной каемкой, как принято в других городах?

Он пошел сам разыскивать Борсена, а вернувшись, поднял на лавке приспущенный флаг.

„А не выкинуть ли флаг и на театре?“ подумал он и приказал вывесить приспущенный флаг и на театре. Теперь самое главное сделано. Теодор был удивительно расторопен и в горе, даже в семейном горе, все он успел устроить: заявил о смерти отца причетникам, пастору и ленсману, заказал гроб, велел пекарю наготовить сладкого печенья. Что вселило в него такую смелость и огонь? Он старался это скрыть, но, в сущности, он хорошо заработал на смерти отца, это был случай, когда он выручил свою цену, не отдавая товаров.

Мало-по-малу люди разошлись с набережной и с пристани, большой пароход, увезший короля Тобиаса и его дочь, скрылся за далекой серой линией, теперь народ наполнял лавку и принимал участие в новом событии.

— Вот что, так он преставился!

— Да, да, господь долго мучил его, прежде чем взять к себе!

Ларс Мануэльсен только выразил сожаление, что Пер из Буа сам виноват: не умер, пока Лассен был здесь. Тогда, по крайней мере, на могиле его было бы произнесено настоящее надгробное слово.

XVII

Надгробное слово, и правда, могло бы быть лучше, все остались им недовольны. Сегельфос не получил от него никакого удовольствия. Пастору Ландмарку представлялся прекрасный случай поговорить серьезно, но он им не воспользовался, да и вообще он был плохой проповедник. Публика ждала, все уши насторожились от любопытства — неужели пастор не

скажет про грехи Пера из Буа, неужели он обойдет их молчанием? Он обошел.

Пастор Ландмарк был ремесленник, он плотничал, ковал, работал на токарном станке; он знал толк в форме, в линии, а Пер из Буа наверное никогда не совершил крупного и красивого по форме злодеяния, про него не было слышно ничего плохого, кроме мошенничеств, обманов и противного корыстолюбия. Пер из Буа вовсе не был таким уж ничтожеством, но пастор не знал его, это видно было по его речи, покойник был ему совершенно безразличен. Все были разочарованы речью. Теодора, следившего за всем, рассердил равнодушный тон пастора, и он не пригласил его на поминки, очень нужно!

— Из того, что его сделали председателем, не следует, что он может относиться так нахально к усопшим, — сказал Теодор. — Да и не каждый день ему случается бросать землю на такие гроба, — сказал он.

И правда, молва о гробе разошлась далеко, он был великолепен, выписан из Тронгейма, с надписью „Почивай в мире", с ангелами, с двумя руками, встретившимися в пожатии, всякими украшениями — все словно из чистого серебра. Теодор целый день не брал его с набережной, так что люди могли рассмотреть гроб, пока его не употребили в дело. В день похорон присутствовал, правда, не весь Сегельфос, но адвокат Раш во всяком случае явился, он знал свои обязанности по отношению к усопшему клиенту, и Теодор привел домой с кладбища большую свиту: покупателей из окрестных селений и виднейших жителей местечка. Среди них был Ларс Мануэльсен, совершивший свой первый выход в пальто, в городском пальто. Удивительно, до чего наружность его

изменилась вместе с платьем, а сороки — нет, сороки не кричали! Неужели они не узнали Ларса Мануэльсена?

Пир был, разумеется, самого первого сорта, без горячих блюд, а кофе со всевозможными печеньями и закусками, консервами, пивом и виноградным спиртом. Юлий опять распоряжался вместо хозяина, а роль лакея исполнял при нем Нильс-сапожник. Да, пир был отменный. Много прошло с тех пор времени, но кое у кого были основания его вспоминать, и среди таких был Юлий.

Вечером его и Нильса-сапожника неожиданно позвали в контору к Теодору, который предложил им быть свидетелями. Там находилась горничная Флорина; она и Теодор стояли посреди конторы, похоже было, что предстоит нечто торжественное, все молчали.

— Зачем вы нас позвали? — спросил Юлий.

Флорина не опустила глаз, и вид у нее был скорее твердый и упрямый. Она уже довольно давно перестала завязывать рот шерстяным платком, это уже перестало достигать цели, зубная боль и рвота у нее прекратились и не возобновлялись, а платок только надоедал, кроме того адвокат категорически потребовал, чтобы она его сняла. И вот она стояла в конторе. На допрос, что ли, ее вызвали? Сделайте одолжение, пожалуйста!

Теодор-лавочник взял слово. „Пришла почта“, сказал он и приступил прямо к делу:

— Я получил письмо от моего друга Дидриксена,— сказал он, — ты помнишь его, Флорина? Представитель Дидриксена и Гюбрехта?

— Чего вам от меня надо? — резко спросила Флорина.

— Ты писала его невесте, фрекен Рахили.

Флорина ответила, полная яда и раздражения:

— Должно быть, мне не следовало беспокоить!

— Она порвала с ним, — сказал Теодор.

— И слава богу!

— Теперь я скажу тебе одно, — продолжал Теодор, — вот письмо моего друга Дидриксена у меня в руке. Ты вела себя по отношению к нему не поджентльменски, но я решил уладить это наилучшим для тебя образом и уплатить тебе немножко денег. Ты хорошая покупательница, и лично я ничего против тебя не имею.

— Сколько же он мне назначает?

— Ну — сколько он назначает! Я уплачу тебе кругленькую сумму: тысячу крон.

Флорина вздрагивает, это превосходит ее ожидания, и она спрашивает:

— А вы можете это сделать?

— Что я могу сделать — об этом тебе нечего беспокоиться. Я беру это на свою ответственность. Тысячу крон под расписку. Юлий, и ты, Нильс-сапожник, вы — свидетели.

Юлий стал расспрашивать. Он был не из таких, чтобы пропустить без расспросов великих и малых мира сего, а тут ведь дело касалось всего лишь горничной Флорины. Но он получил только необходимые краткие ответы, а Флорина сказала: „Это тебя не касается, Юлий". — Так и сказала.

Затем Теодор положил на стол подробную расписку: такого-то года, месяца и числа, и нижеподписавшиеся, и на основании доверенности, в том, что с получением тысячи крон, прописью, поименованная Флорина отказывается впредь от всяких претензий к господину Дидриксену, вояжеру фирмы Дидриксен и Гюбрехт.

Но тут горничная Флорина стала раздумывать и отказалась расписаться: сумма была слишком мала, в сущности, ей следовало получить еще тысячу, потому что столько она потребовала: разинутая пасть ее требовала больше и больше; нельзя же позволить всякому заезжему барину поступать с бедной девушкой, как ему вздумается.

По настоянию Теодора она в конце концов расписалась, но не без ворчания: Юлия Теодор водил за руку, пока он расписывался, потому что Юлий сказал, что свои собственные буквы он пишет хуже всего. Зато Нильс-сапожник стоял прямой, как палка, и подписал свою фамилию неимоверно крупным почерком.

— Уплатить тебе сумму сейчас, или ты предпочитаешь оставить ее на вкладе у меня? — спросил Теодор.

Флорина, вероятно, находила, что синица в руке лучше журавля в небе, и потребовала сумму.

И так как Теодор только что получил все деньги за годовой улов трески, он широко распахнул свой несгораемый шкаф и вынул тысячу крон из пачки, а пачка даже как будто ни чуточки не убавилась от этого маленького платежа. Глубокий вздох вырвался из груди зрителей, а Нильс-сапожник тихо и слабоумно захихикал.

— Вот, пожалуйста, пересчитай сама, — сказал Теодор Флорине.

Он был счастлив, он стоял, точно опираясь на меч, случай вынудил его показать свои деньги, он был бы очень огорчен, если бы Флорина отказалась от получки. А кстати, теперь он уже не нуждался в деньгах господина Дидриксена, некоторое время тому назад оказавших ему такую замечательную поддержку.

Это была сама судьба, все склонялось перед парнем Теодором.

Разумеется, он получил письмо от молодого господина Дидриксена, буйный повеса опять разошелся, надо полагать, он и на этот раз писал с какой-нибудь пирушки:

„Девченка — как же это ее зовут? — сегельфосская девченка, господь с ней, но она просто напросто насплетничала Рахили. Вы помните Рахиль, дочь консула? Поэтому уплатите сегельфосской девченке только одну тысячу крон, она, негодница, насплетничала, и Рахиль расстроила помолвку. Словом, заплатите ей, сколько признаете нужным. Местер — вы знаете Местера, он неизменный мой закадычный друг и удивительно скупой малый — Местер говорит, чтобы мы дали ей только половину, но я хочу, чтоб негодница получила тысячу, она этого стоит, я мог бы дать ей больше, все, что у меня было. Рахиль порвала со мной, я узнал об этом в счастливую минуту, как раз, когда обручился с другой. Вы представить себе не можете, как она очаровательна, молодая особа здешняя уроженка, я любил ее все время, но она согласилась только теперь, когда я связался с другой, как же это ее фамилия? А теперешнюю зовут фрекен Гюбрехт, дочь хозяина фирмы, восемнадцати лет. Я покажу вам ее портрет, когда приеду. Рахиль прислала мне потом другое письмо, но оно ничего не может изменить в принятом мною решении. Я очень счастлив, и так как негодная сегельфосская девченка некоторым образом тому причина, то прошу вас поблагодарить ее за меня от чистого сердца. Я не могу забыть Рахиль, для этого я слишком сильно к ней привязался, но, в общем, это все-таки мимолетная влюбленность, а от судьбы своей никто не

может уйти. Фрекен Гюбрехт зовут Еленой, голубые глаза, восемнадцать лет. Итак, не откажите в любезности передать мою благодарность девице и примите сами мою глубокую признательность за то, что вы так любезно взялись уладить это дело. До свидания".

Знакомство с молодым Дидриксеном оказало хорошее влияние на Теодора, великий повеса был легкомыслен, но благороден, с широким размахом, и добрым сердцем,—Теодор не взял комиссионного вознаграждения ни с одной из сторон и в тот же день отослал расписку и остальные деньги. То был день похорон отца—тот самый день, когда перед хозяином гостиницы Юлием вдруг раскрылось, какая завидная партия горничная Флорина, и он начал искать сближения с нею.

После великих событий Сегельфос мало-по-малу успокоился. Поговаривали, будто весной мельницу опять пустят в ход, но пока что стояла зима, и многим жилось тяжело. Теодор-лавочник проявил в эти дни больше отзывчивости, чем от него ожидали, он распространял вокруг себя бодрость, снарядил нескольких наемных рабочих на Лофоден и вообще помогал людям кормиться.

Раскаты после падения господина Хольменгро гремели долго, но Теодор был теперь уже не настолько близорук, чтоб нападать на помещика: оказалось, что, с остановкой мельницы, деньги в местечке исчезли, Теодору не с кем стало торговать, господин Хольменгро поддерживал все. Теперь фотограф сидел на своем чердачке и умирал с голоду, а Нильс-сапожник заработал свои последние две кроны на похоронах Пера из Буа, „Сегельфосская газета" лишилась подписчиков. Правда, Теодор помогал и там и сям

и не лежал, как камень, но толку выходило мало,— Сегельфос спал, торговля и движение прекратились, поговаривали, что телеграф может обойтись одним телеграфистом, а там станцию и совсем закроют. В таком случае, Борсену придется остаться за флагом.

А что касается до Нильса-сапожника, то он стал совсем прозрачным, каким-то призраком, потому что всякие танцы и представления в театре прекратились. Пока хватало сил, он летал, легкий и до-нельзя тощий, по дорогам, в своих истрепанных покупных сапогах, поражая всех своей худобой. Особенную жуткость и вместе комичность придавало бедняге его масляно-умильное лицо,—оно производило впечатление, как будто он постоянно прислушивался к чему-то веселому, вид у него при этом делался страшный, близкий к помешательству. Последняя надежда его лопнула, он отправился к адвокату Рашу и прошел в контору, чтобы не показываться в этот день барыне, — спросил адвоката, скоро ли будет базар в пользу благоденствия Сегельфоса, и получил ответ, что времена теперь не для базаров.

— Так, так, — сказал Нильс-сапожник, но это была его последняя надежда.

Оттуда он пошел в лавку и купил несколько сухариков,—наверное, никто не голодал так основательно, как он:

— Дайте мне парочку сухариков для послеобеденного кофе, — сказал он.

Когда пришлось расплачиваться, он несколько раз вытаскивал ту же самую монету в пять эре и долго рылся в кошельке, как будто в нем не так-то уж мало денег. Уходя, он улыбнулся. Он всегда легко улыбался, но если теперь он улыбнулся, так потому что это было необходимо.

Два дня спустя Борсен ввалился в его избенку с провизией и водкой и в самом веселом расположении духа.

— Ха-ха! Я шел мимо и решил заглянуть к тебе, — сказал он. — Ну-ка, попробуй вот это!

Нильс-сапожник лежал в постели — подагра, сказал он — и потому в печке у него не было огня. Он с большой готовностью отведал вкусных закусок и выпил стаканчик. Борсен вел себя, как доктор, и сказал:

— Оставь пока эту колбасу, от нее тебе захочется пить, съешь лучше хлеба с маслом! Вот хорошо, что ты закусишь со мной; я иду издалека, и со мной были эти припасы!

Борсен затопил печку и так накалил сапожника, что тот вылез из постели и сварил кофе.

— Ха-ха, Нильс-сапожник, дела наладятся, все еще наладится!

— Оно похоже, что налаживается, когда вы приходите!

И, конечно, дела шли, но как? В глазах всех разумных людей, они шли вспять. Нильса-сапожника нельзя было поставить на ноги одним обедом и стаканчиком водки, для этого он зашел уж слишком далеко, а Борсен не интересовался ни ходом дел, ни тем, что ожидает его самого. Он никуда не собирался, бросил работу и жил со дня на день. Занимался праздными размышлениями, немножко благотворительствовал какому-то сапожнику, пил, играл на виолончели и произносил высокопарные речи, — все разумные люди поневоле от него отвернулись. Но поискать еще такого спокойствия и величия в самом падении!

— Не будь у меня сейчас такого свинского стеснения в деньгах, я взялся бы реставрировать Тронгеймский собор, — сказал он Нильсу-сапожнику.

— Не похоже, чтоб у вас было стеснение в деньгах! — ответил сапожник, уже сытый и захмелевший. Совсем призрак.

Борсен не ел, но пил. И пил он все-таки не из порочности и малодушия, чтоб облегчить себе жизнь, или от отчаяния, чтоб сократить ее, — Борсен малодушен? Ничего подобного. Он был тверд и спокоен, он находил, что хорошо и так. Если он мало ел, то оттого, что он не был ни голоден, ни сыт, а аккурат в точку, и чувствовал себя хорошо. Оба телеграфиста держали что-то в роде экономки, женщину, которая на них стряпала, но женщине пришлось уйти, потому что нечего было стряпать. Готфред стал обедать в гостинице, Борсен же вообще не обедал. Готфред, желая помочь ему, звал его с собой обедать в гостиницу, но Борсен благодарил и отвечал: „Не стоит, дружок!“ Готфред все время помогал ему, и когда Борсен лежал больной от своей раны, и позже, когда обнаружилась его растрата и его сместили из начальников станции, — Борсена трогала эта доброта, и он благодарил за каждую мелочь, но ни в чем не изменял своей жизни. Должно быть, у него от рождения была естественная склонность к гибели. Неужели у него не было родных, семьи? Ведь кто-то из проезжих узнал в нем блудного сына богатого торгового дома? Может быть, у него была семья, а может быть и нет. Его поразительное равнодушие к своим деньгам и к чужим объяснялось, может быть, тем, что вначале он расчитывал на семью, которая могла ему помочь, — он привык к безответственности и плевал на все. Но когда дело пришло к развязке, он не искал нигде помощи и ниоткуда не получил ее, а попросил у инспектора разрешения пополнить недостачу ежемесячными выплатами.

Помощь? Нет. Точь в точь так, как будто у него не было никакой семьи. Но само собой разумеется, Готфреду пришлось пополнять кассу вместо него.

И вот теперь он сидел у Нильса-сапожника и высокопарно разглагольствовал об известном обычае у римских патрициев в древности: заметив, что они впали в немилость у своего повелителя, они вскрывали себе жилы или морили себя голодом.

— Вежливое и благородное поведение по отношению к высшей силе; все другое было бы просто хамством. Представь себе, знатные господа стоят, и с них снимают допрос, стоят и держат ответ перед смертью — чорт возьми! Через сто лет ведь все равно об нас никто не вспомнит.

Уж не воображал ли телеграфист, что такие речи весело слушать? Он был не пьянее обычного и отлично знал, что говорит. Или же он хотел внушить сапожнику спокойствие и покорность перед тем, что его неминуемо ожидало?

— Насколько же вежливее мы должны быть по отношению к богу и итти ему навстречу! — продолжал он.—Ведь нам с тобой, мой добрый Нильс, уж нет никакого интереса изворачиваться и суетиться, извлекать выгоды из событий. На что нам выгоды? Мы об этом не заботимся, пусть с этим возятся другие. Это мы с тобой на правильном пути, мы с тобой не яркие светочи среди мировой загадки, а тьма во тьме, одно с ней, мы у себя дома и счастливы. Ты стал красивым, Нильс, лицо твое не противно, у тебя сделались мелкие и тонкие черты, и в лице твоем нет дерзкой наглости, ты—словно мука. Это оттого, что ты себя не перекармливал: индийские мудрецы те тоже голодают, чтобы сделаться белыми и внутренне ясными, тогда

они видят блаженство. Можешь быть спокоен, Нильс, мы с тобой на правильном пути.

— Надо думать, — отвечал сапожник, поддакивая.

— Сын твой мог бы, пожалуй, прислать тебе что-нибудь из Америки, но это вряд ли принесло бы тебе много пользы.

— Да, я тоже думаю. А, может, оно и так, что Ульрику и самому живется не очень сладко.

Борсен сказал:

— Когда придет почтовый пароход с юга, побывай у меня на станции. Не забудешь?

— А надо? Прийти к вам?

— Да. У меня есть основания думать, что тогда мне захочется повидать тебя, — сказал на своем странном языке Борсен и пошел.

Он оставил свои галоши. Нильс-сапожник проявил страшную подвижность, вышел на порог и крикнул про галоши, но Борсен махнул рукой, что не хочет их надевать, они очень тесны и жмут: брось их в печку!

Он побрел домой, на станцию. Он отлично сознавал свое положение, что он человек конченый, банкрот, он подвел итоги. Жизнь и смерть стали для него равноценны, от этого у него было легко на душе. Еще недавно он предпочитал жизнь, но путем многократных размышлений пришел к заключению, что ему может быть безразлично, какой жребий выпадет ему на долю. Он ни в чем не раскаивался. Он не стремился обвинить богатую семью, чтоб умалить собственную вину. Он ни в чем не виноват. Кого ему винить, и за что? И в чем виноват он сам? Растрата в телеграфной кассе будет пополнена, а больше ничего. Вина? Даже заблуждение есть вина, а он и не заблуждался, он великолепно жил

на станции, ему так нравилось, он чувствовал себя бесподобно.

Он в таком состоянии, что никакие несчастья не могут его постигнуть. Блага этого мира оказались для него очень доступными, они сделали жизнь его приятной, он фактически насладился всем, так что все ему известно. А если он пил, то не для того, чтобы чувствовать себя лучше, а чтобы продолжать чувствовать себя хорошо. Удовлетворенность, стоящая у цели, определенная точка зрения. Имел ли он что-нибудь, кроме своего тела и платья? Он был на дне. Пусть приходят несчастья, пожалуйста, он отнял у них всякую возможность торжества.

Когда пришел почтовый пароход, Борсен получил желтую повестку, денежное письмо и отдал деньги Нильсу-сапожнику. Опять выдумки, великодушие, пьяная фантазия, бог знает, что: но был ли в этом какой-нибудь смысл!

Да, Нильс-сапожник пришел, он был в галошах, они теплые и хорошие, сказал он. Он очень ослабел, был жалок, легко волновался, на глазах у него выступали слезы, хотя он боролся с ними и громко откашливался, чтобы казаться мужественным. Деньги ошеломили его, он упал на стул, хотя ему не предложили сесть.

— От Виллаца Хольмсена, — сказал Борсен. — Господин Виллац совершает свадебное путешествие, он с радостью посылает тебе эти деньги.

Сапожник сидел съежившись и беспомощный, как зародыш в материнской утробе:

— Да, так, стало быть, это не мои деньги?

Борсен весело захохотал, чтоб ободрить его, и сказал:

— Виллац Хольмсен хочет, чтоб ты хорошо прожил на эти деньги до весны. А если на остаток захочешь поехать в Америку, поезжай, вот, что он говорит. Но, во всяком случае, у тебя не должно быть горечи против жизни, когда придется с ней расстаться.

— Он так говорит? Да, уж эти Хольмсены из барского поместья, отец его был такой, и сын в него! Нет, неужели он так говорит? — Нильс-сапожник вдруг замечает, где он находится, и встает, благодарит, благодарит, ошеломленный, начинает без устали кланяться, и лицо его все сморщено от слез. Он даже не мог выговорить ни слова на прощание, когда уходил.

— Он не доживет до весны, — сказал Борсен.

Об этом Борсену следовало бы подумать раньше, тогда благоразумным людям не пришлось бы покачивать головой, говоря о нем. Умирающему создают хорошие условия, он получает галоши и деньги, словом, снаряжается для жизни — чтоб пойти домой и умереть! Ему помогает в этом человек, совершающий свадебное путешествие!

Но в Сегельфосе было много других людей, и те были умнее Борсена. Когда распространился слух, каким богачом сделался Нильс-сапожник, один за другим стали приходить к нему и просить взаймы:

— Ты ведь не проживешь всего за зиму, — говорили они, — а по возвращении с Лофодена мы тебе отдадим!

Нильс-сапожник был не каменный, вдобавок он теперь поздоровел и отъелся, купил новое платье, пил кофе,—он стал давать взаймы, сперва осторожно, потом все охотнее и охотнее, ему начало нравиться быть важным человеком, он находил в этом вкус,

люди относились к нему все вежливее, все подобострастнее, в несколько недель он превратился в благотворителя не хуже всякого другого. Богатство его таяло.

Но зато в Сегельфосе опять зашевелились кое какие деньжонки, и все они приплывали в лавку. Это немножко напомнило хорошие времена, когда мельница работала — ах, отраженные гулы после господина Хольменгро и мельницы ежедневно слышались до сих пор. Куда же это девался помещик? Или он уж окончательно не мог вести дальше работу, а то, пожалуй, и вовсе докатился где-нибудь до богадельни?

Однако общее мнение было таково, что у господина Хольменгро капитала побольше, чем все думают. В богадельне, он-то? Человек, выписавший свой собственный огромный корабль, чтоб поехать на свадьбу! Оно, собственно, не обязательно, чтоб это был его собственный корабль, могло быть и обыкновенное грузовое судно, которое лишь на несколько часов отклонилось от своего курса. Публика осаждала Теодора, все время делавшего вид, будто он чуть ли не доподлинно знает все относительно банкротства господина Хольменгро, и торжественно спрашивала про погреб, для чего он вырыт. Погреб этот продолжал волновать умы, а в конце концов, может, это был просто фокус разбитого короля, попытка в последний раз засиять сверхъестественным блеском, чего доброго, пустая бравада.

— Но разве этот погреб так и должен оставаться здесь? — спрашивали люди. — И есть ли в нем что нибудь? — спрашивали.

— Почем я знаю! — отвечал Теодор. — А если кое-что и знаю, все равно не скажу, — прибавил он.

— Дайте мне немножко ваших сухариков, — говорит Нильс-сапожник, — только вот, я не захватил с собой кошелька.

— Да у тебя в нем, должно быть, ничего уж и нет, — говорит Теодор.

— У меня много разобрали взаймы; понятно, кое-что еще есть, но раз у меня разобрали, то, конечно, осталось уж не так много.

Какой-то человек отводит Нильса-сапожника в сторону, это человек, который всегда покупает много желатину, он с горного хутора и еще не знает, что сапожник опять обнищал, он хочет занять у него денег. Они говорят вполголоса.

— Я наверное смогу тебя выручить, — говорит под конец Нильс-сапожник. Должно быть, уж очень приятно чувствовать себя богатым человеком и благодетелем.

Разговор в лавке опять заходит про погреб. Зачем господину Хольменгро понадобился погреб для своих сокровищ, когда он мог взять их с собой на корабль и увезти?

— А впрочем, — сказал Теодор, — впрочем, никому неизвестно, что находится в том погребе. Есть ли на нем замок?

Оле Иоган присутствует здесь же и отвечает, что нет, никакого замка не имеется.

— Тогда там, может быть, ниша в самой стене. Или маленькая незаметная ниша в своде. Об этом часто приходится читать.

Оле Иоган копал и выкладывал погреб, и в нем нигде нет никаких ниш.

Ларс Мануэльсен тоже здесь, он терпеливо и молча слушает, потом говорит:

— А вот нет ли ниши в каком-нибудь другом месте!

— Не отпустите ли вы мне немножко сухариков? — спрашивает опять Нильс-сапожник, — только я не захватил с собой кошелька.

— Дай ему сухарей, — говорит Теодор своему подручному, — отвесь ему вон тех сухарей, — говорит он, потому что он не каменный. — Но я совсем не расположен на тебя расходоваться, Нильс.

Странный разговор. Даже человек с гор, последний заемщик, настораживает внимание, он еще раз отводит сапожника в сторону и спрашивает, может ли он получить деньги.

— Да, я, конечно, тебя выручу, — отвечает Нильс-сапожник.

Так проходят дни. В Сегельфосе тихо и печально, но в Буа кое-что случается, там собирается народ, там топится печь. Лавка освещена, Теодор единственный человек, имеющий средства, у него горит много ламп. Лавка превратилась в огромный магазин, Теодор хорошо знал, что делал, когда пристраивал новую лавку стена к стене со старой, — настал день, когда он спилил перегородку, и получился огромный магазин.

— Как вы думаете, сколько это мне стоило? — говорил Теодор.

Он положительно великолепен. Во времена испытания для местечка Теодор — поддержка, ободрение и утешение всем, он неутомим в разных выдумках, в напоминании о себе. Он любит франтить, но не обладает настоящим вкусом, чтоб выбрать, что ему идет, и не умеет носить платье; но он любит франтить. Теперь в его лавке никто не вертит бумажных фунтиков. Теодор завел большие и маленькие бумажные картузы, а на картузах — его фамилия. Когда его имя стали читать на каждом картузе и

оно прославилось, Теодор придумал прибавить к надписи рисунок лавки — в роде иллюстрированной картинки с моего предприятия, — говорил Теодор.

Ему не хватало только трубы, чтоб трубить в нее.

По вечерам у него всегда полно народу. Говорят про Борсена, что он очень худеет в последнее время, прямо тает, бог знает, не голодает ли он. Действительно, Борсен тает, впрочем, худоба ему к лицу, он стал тонок и бел, и, может быть, это от голода. Говорят про Юлия, что вот теперь горничная Флорина переселилась в гостиницу Ларсена и будет там хозяйкой и женой. Сам Юлий все такой же, но невеста подарила ему длинную трубку с бисерным шнурком, и эта трубка далеко высовывается из его кармана и придает ему солидный вид. Говорят про адвоката Раша, он прошел на выборах и скоро попадет в стортинг. Он занят вопросам о мальпосте и работой по уменьшению налогов.

Говорят обо всем этом.

Изредка Теодор вставляет свое слово, и все прислушиваются к его указаниям, потому что он чертовски толковый и смышленый парень. В один прекрасный день он поражает народ замечательным плакатом на лавке, это наука о коммерции, биржевой курс: Гавр 25-го октября. Кофе 71 1/2, тенденция к повышению. Рио Жанейро 23-го октября. Вексельный курс на Лондон 109/84. Фрахт в Соединенные Штаты 52 1/2. Сантос 25-го октября. Тенденция устойчивая, сведений о пароходных отправках в Норвегию за неделю не имеется. Ввоз во внутренние области Сан-Пауло 66,000.

— Вот вам цены на кофе, — сказал Теодор.

— Замечательно! — говорил народ, смиренный и жалкий, а Теодор чувствовал себя всесильным.—Неужели вы можете высчитать цену на кофей вот по этому?

Теодор только улыбался, как будто для него было пустяком преодолевать подобного рода трудности.

Но вот вышла „Сегельфосская газета". Бедняга редактор и наборщик Копперуд, газетке его приходилось плохо, подписчики отпали, адвокат же Раш, после того, как его выбрали, отказался ее поддерживать. Что же оставалось делать Копперуду? Теодор-лавочник не прибавил камня к его бремени, наоборот он регулярно помещал свои объявления, и даже сегодня прибавил еще одно: „Заведующий конторой, в совершенстве знающий бухгалтерию, немецкую и английскую корреспонденцию может получить место, вознаграждение в зависимости от квалификации. Теодор Иенсен, Сегельфос".

О-о, — неужели Теодор собирается торговать с заграницей! Дальше уж итти некуда! Никто не знал в точности его средств, кончится, пожалуй, тем, что он купит мельницу и начнет получать зерно из Америки и с Черного моря и молоть его, точь в точь, как Хольменгро!

Теодор отвечал, что работа в конторе отнимает у него чересчур много времени и утомляет. Он сказал, что решил завести и пишущую машинку. Дело же в том, что начальник пристани господина Хольменгро остался не у дел, а Теодор знал, что человек этот имеет здесь безнадежную любовь и ни за что не хочет уезжать из Сегельфоса. Теодору не улыбалось позвать его к себе и втихомолку дать ему должность, он желал произвести эффект на весь Сегельфос, затем и поместил объявление, пусть люди знают,

что его фирма нуждается теперь в заведующем конторой, знающем иностранные языки. В былое время он махал флагом из-за всего и из-за ничего, это было, когда он еще не вырос, то были детские забавы по сравнению с теперешним временем, когда он заводил деловые сношения с заграницей. Начальник пристани явился просить места, и Теодор взял его. Взял сразу, без мелочной осмотрительности, смело и властно. Но на скромный оклад для начинающих.

Он сказал Оле Иогану:

— Не можешь ли ты с Бертелем из Сагвика сделать для меня одну землекопную работу? — И сказал это, как самую простую вещь, хотя стояла середина зимы, и земля глубоко промерзла.

— Не лучше ли подождать до весны? — сказал Оле Иоган.

— Об этом тебе нечего беспокоиться, раз мне нужно сделать землекопную работу зимой, — ответил Теодор. — Нужно поставить крест на могиле отца. Я не хочу, чтоб он лежал без креста.

Оле Иоган сейчас же приступил к делу.

Прибыл крест, большой, важнецкий железный крест с золотой надписью, числом года и золочеными ангелочками во всех четырех углах. Он был великолепен. На всем бедном кладбище только и была хорошая могила, что у Хольмсенов из поместья, а то не видно было ничего, кроме крашеных деревянных крестов да простых земляных холмиков,—теперь появился крест Пера из Буа. И мало того: Теодор выписал и решетку, обнести крест. Это уж было верхом всего, что можно вообразить. Оле Иоган и Бертель из Сагвика получили работу надолго, им пришлось разводить на кладбище костер, чтоб оттаяла земля, но Теодор ничего не жалел. Дело должно быть сделано.

— Потому что у нас должно быть, как на других кладбищах, — говорил Теодор.

И вот у его матери нашлось занятие: ходить через дверцу за решетку, запираться и украшать могилу. У нее появилось маленькое местечко, которое она могла запирать от других женщин, почти то же, что прилавок к лавке, отделявший толпу; приятно было проводить границу, жена Оле Иогана часто это на себе чувствовала. Правда, теперь, среди зимы, трудно было достать цветов и зелени, но можно обойтись и раковинами, и авось удастся вырастить горшечек-другой фуксии и герани. Фру Пер из Буа украшала могилу каждую субботу, украшать ее среди недели было бы напрасным трудом, к приходу богомольцев в воскресенье все равно все увяло бы и закоченело.

Но крест и решетка повели к расточительности, а фру Пер из Буа заразила соседок своим могильным культом. Народ стал приходить к Теодору и заказывать памятники для своих усопших, один не хотел отставать от другого, народу приходило все больше и больше, поистине благородное соревнование, и все обещали расплатиться после Лофоденского промысла. Теодору пришлось выписать иллюстрированные каталоги литейных и скульптурных мастерских, получилось настоящее торговое предприятие. Камень был, пожалуй, наряднее и вытеснил железо, памятники были из мрамора и гранита, полированные и неполированные, всех цветов, люди могли выбирать. Были кресты и пирамиды, и плиты, и колонны, и обелиски, всех форм. Можно было высечь места из писания или другие общепринятые слова: «Мы встретимся снова!» «С любовью и сердечным прискорбием!» «Спи с миром!» Люди могли выбирать. А после того, как

выбор был сделан сообразно со вкусом и средствами заказчика, Теодор выписывал памятник.

Все это было очень благородно и приятно, но получилась настоящая эпидемия. Ничего нельзя было сказать против того, что Ларс Мануэльсен с женой заказали памятник своим двум малюткам, пролежавшим в могиле уже двадцать лет; но в таком случае, у фру Пер из Буа двое малюток тоже лежали под дерном, и их тоже надо обнести решеткой? Конца этому не предвиделось, мало у кого не имелось родных на кладбище, и теперь все хотели помянуть их надгробными камнями. Да и не всегда это сходило гладко — как, например, когда отец горничной Марсилии облюбовал себе хорошее местечко для гордого обелиска, а Нильс из Вельта явился с маленькой гранитной плиткой и стал утверждать, что его отец похоронен как раз здесь.

Маленькое кладбище расцветало в разгаре зимы, и днем, и ночью на нем горели костры, растапливавшие мерзлоту, чтоб можно было производить земляные работы. Но когда фру Пер из Буа окидывала взглядом могилы, железный крест вызывал в ней неудовольствие; и действительно, кругом появились памятники, несравненно величественнее и красивее. Не поставит ли Теодор своему покойному отцу другой памятник внутри решетки? И Теодор был непрочь, пышность и великолепие нравились и ему; но он хотел выждать время! Что же ему делать со старым крестом, неужели так-таки выбросить? Другое дело, если в скорости умрет кто-нибудь по имени Педер Иенсен и мало-мальски подходящего возраста, — тогда Теодор сможет продать железный крест и вернуть свои деньги.

Так-то идут дни.

Теодор вел зимой порядочную торговлю памятниками и был в хорошем расположении духа; однажды вечером он предложил камень и Борсену. Это была чистейшая шутка, и Борсен на нее не обиделся, а ласково и кротко улыбнулся купцу. Борсен стал ужасно бледен и худ, у него и в самом деле был такой вид, что ему вот-вот понадобится надгробный камень, а глаза у него сделались необыкновенно блестящие. Он перестал покупать табак, а купил две штуки сухарей, тех самых, которыми поддерживал себя Нильс-сапожник в нищете. Заплатив за сухари, он ушел.

Внезапно завернул сильный мороз, а Борсен был очень легко одет, он шел не торопясь, как будто холод на него уже не действовал, а может, он и не в силах был итти быстрее.

Шел он на станцию. Было темно, Готфред ушел обедать. Оба телеграфиста как раз сегодня подвели счеты, и Борсен уплатил последний остаток своего долга. Он взял впотьмах свою виолончель и опять вышел; тихонько доплелся в поместье Сегельфос и вызвал Полину. Произошла печальная сцена. Он передал Полине свою виолончель и попросил отдать ее Виллацу Хольмсену, когда тот приедет.

— Вот как, — сказала Полина, — значит, я должна ее просто передать.

— Да, — ответил Борсен.

Странный поступок. Разумеется, виолончель отдавалась не по принуждению или из нужды: Виллац Хольмсен был не такой человек, чтоб давать Нильсу-сапожнику деньги под какой-то залог. Да и Борсен тоже не стал бы продавать свою виолончедь, а подарить мог кому угодно, — он и подарил ее туда, где ей будет хорошо, милая старая виолончель, прощай! — Но поступок все-таки был странный.

— Что это — вы нездоровы? — воскликнула вдруг Полина.

— Да, — ответил Борсен и согнулся. — Колет, — прошептал он, едва дыша.

Полина растерялась и хотела бежать за Мартином-работником, но Борсен простонал:

— Нет. Это пройдет — сейчас, — только колет.

Через несколько минут он действительно отнял кулаки от груди и вздохнул глубже:

— Сейчас скорее прошло, — сказал он, — нынче утром было хуже.

Но и сейчас он чувствовал себя все-таки не очень хорошо, губы его были совершенно бескровны, и Полина спросила, не лучше ли, чтоб Мартин-работник проводил его до телеграфа.

Он ответил:

— Я и один дойду. Покойной ночи.

Он зашагал довольно твердо, и у Полины составилось впечатление, что он оправился. В отблеске от окон она видела, как он шел по дороге к местечку и станции, и держался прямо — потом он вошел в темноту, и Полина не видела, что у него опять сделался сильный припадок, заставивший его согнуться и остановиться. Он оглянулся, до местечка было страшно далеко, назад до поместья тоже, он стоял согнувшись под углом и тихонько поводил головой во все стороны, ища, куда бы свернуть. Потом, должно быть, слишком озяб от неподвижного стояния и крошечными шажками двинулся наперекоски по снегу.

Полина последняя видела Борсена; дни проходили за днями, а он не появлялся. Стали искать и расспрашивать, на пароходе он не уезжал, на дорогах его нигде не видали. Исчез. „Сегельфосская газета“ опо-

вестила о событии в своем последнем, перед закрытием, номере.

На том и кончилось.

Теодор из Буа готовится к новым предприятиям на Лофоденских островах и вербует экипаж для рыболовной яхты, прежде всего он нанимает Нильса из Вельта, к которому привык. Этот Нильс некоторое время был очень молчалив и угнетен, и все из-за горничной Флорины. Он вел себя чертовски глупо в ту весну, когда оттолкнул от себя Флорину и пустил ее плавать по волнам с приезжим комми-вояжером. Правда, потом они помирились, и были у них и танцы по субботам, и много чего другого, но вот все кончилось навсегда: горничная Флорина разбогатела, у нее завелась сберегательная книжка и пропасть денег, и в конце концов она вышла замуж за Юлия. Теперь она хозяйка в гостинице, — ну, что ж, прощай, будь счастлива, только всего! Но оказалось, что у Нильса из Вельта характер очень глубокий, и он не так то скоро забыл свою любовь, так что только после серьезного совета Теодора он отказался от мысли хорошенько разделаться с Юлием. Потом горе его мало-по-малу улеглось, и в последнее время он сблизился с девицей Палестиной. Может, это вышло и к лучшему для него, Палестина имела в Буа заборную книжку и пользовалась большим доверием, про Флорину же Нильс, наоборот, слыхал, будто она через адвоката добилась раздела имущества между собой и мужем. Так пусть же Юлий и владеет ею!

Луна скрылась, и звезд не видно, ночь и глубокий мрак. И вот появляется Ларс Мануэльсен; куда же это он собрался в такую темень? Он идет вверх по дороге в поместье Сегельфос, но, пройдя порядочное

расстояние, сворачивает в сторону и шагает наперекоски по снегу.

Ни крика сорок, ни оклика или предупреждения, все тихо. Сорока так именно и поступает, она мстит не до смерти, вовсе нет, а наказывает семь месяцев под ряд в первый раз, и девять месяцев под ряд во второй раз, такой уж у нее обычай, и вот первый раз она Ларса Мануэльсена больше не наказывает. Бог знает, не сороку ли ему надо благодарить за то, что он нашел свои очки, они лежали в кармане его куртки, кожаной куртки с восемью пуговицами и наружными и внутренними карманами, как у заправского богача — в ней-то и лежали очки. Когда Ларс Мануэльсен нашел их, его чувства к сорокам стали менее ненавистны.

Вот он идет наперекоски по снегу. Ему некуда итти, как только к погребу, к алмазной пещере господина Хольменгро, а что ему там надо? Он не забыл, что в погребе, может быть, где-нибудь есть ниша, и решил поискать ее.

Он подходит к двери, замка нет, он открывает ее и входит. Внутри тепло и приятно, холод сюда не проникает. Он чиркает спичку.

Но вдруг Ларс Мануэльсен роняет из руки спичку, он чувствует крик ужаса в своей груди, но подавляет его, останавливает, как икоту, и шатаясь устремляется к двери, шатаясь бежит от погреба — бежит — и останавливается только у двери своей избы.

Когда настает день, он идет к Оле Иогану и говорит:

— Давай, сходим в погреб старика Хольменгро.

— Зачем? — спрашивает Оле Иоган.

— Посмотрим, нет ли там где-нибудь ниши.

Оле Иоган ужасно любопытен и идет.

— Я решил пойти днем, — говорит Ларс Мануэльсен, — потому что ничего не собираюсь украсть.

— Ну, еще бы.

— Потому, что мне это не нужно.

Они подходят к погребу, и Оле Иоган из любопытства входит первым. Но он сейчас же пятится назад и говорит:

— Борсен!..

— Что такое? Что там?

— Борсен! — говорит Оле Иоган. — Он сидит здесь. Он мертвый.

Оба спешат в местечко Сегельфос и в лавку. Они приходят и разрешают загадку — может, и не разрешают ее, но горды своей новостью. Они ходят и болтают, болтают без конца: он сидит в погребе, он мертвый, — все узнают об этом, слушают, задумываются на минуту, потом возвращаются к своим повседневным делам. Тем и кончается. А в вышине, прямо к югу, стонут лебеди.

Перевела с норвежского
К. Жихарева

КОНЕЦ

ОГЛАВЛЕНИЕ

		Стр.
Глава	I	7
„	II	26
„	III	46
„	IV	71
„	V	95
„	VI	117
„	VII	136
„	VIII	157
„	IX	182
„	X	212
„	XI	246
„	XII	277
„	XIII	310
„	XIV	340
„	XV	366
„	XVI	390
„	XVII	410

„ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ НОВОСТИ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

П. Амп	— „Искатели золота“, ц. 60 к.
Г. д'Аннунцио	— „Ноктюрн“, ц. 1 р.
П. Бенуа	— „Атлантида“, ц. 60 к.
„	— „Дорога гигантов“, ц. 75 к.
Г. Бергстедт	— „Александерсен“, ц. 1 р. 75 к.
„	— „Праздник Йоргена“, ц. 90 к.
Берже	— „ В то время, как он сражается“.
А. Беро	— „Страдания толстяка“, ц. 50 к.
С. Бржозовский	— „Зарево“, ц. 1 р. 25 к.
Ф. Верфель	— „Человек из зеркала“, пьеса, ц. 60 к.
К. Гамсун	— „Соки земли“, ц. 65 к.
Г. Гауптман	— „Зимняя баллада“, пьеса, ц. 33 к.
П. Гзелль	— „Беседы А. Франса“, ц. 70 к.
О. Генри	— Рассказы, ц. 1 р.
„	— „Короли и капуста“, ц. 90 к.
„	— „Рассказы жулика“.
Р. Гольст	— Лирические драмы, ц. 45 к.
Л. Деллюк	— „В дебрях кинематографа“.
Ж. Дюамель	— „Полуночная исповедь“, ц. 75 к.
С. Лагерлев	— „Гномы и люди“, рассказы, ц. 35 к.
Р. Маран	— „Батуала“, ц. 45 к.
К. Мейринк	— „Голем“, ц. 70 к.
М. Маркс	— „Женщина“, ц. 50 к.
М. Матерлинк	— „Белая невеста“, пьеса, ц. 40 к.
Дж. Мэйзфилд	— Пьесы, ц. 60 к.
Папалаги.	Ц. 30 к.
Дж. Папини	— „Конченый человек“, ц. 1 р. 20 к.
Ж. Ромен	— „Доногоо-Тонка“, ц. 25 к.
Р. Роллан	— „Кола Бреньон“, ц. 70 к.
„	— „Пьер и Люс“, ц. 35 к.
„	— „Клерамбо“, ц. 1 р.
„	— „Аннетт и Сильвия“, ц. 55 к.
Дж. Синг	— „Герой“, пьеса, ц. 55 к.
Э. Синклэр	— „Сто процентов“, ц. 75 к.
„	— „Ад“, ц. 75 к.

„ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“

Струг — „Деньги“, ц. 1 р. 40 к.
Г. Уэллс — „Неугасимый огонь“, ц. 40 к.
Ф. Унру — Драмы, ц. 1 р. 10. к.
А. Франс — „Жизнь в цвету“, ц. 80 к.
Л. Франк — „Человек добр“, ц. 30 к.
Л. Фульда — „Тень осла“, ц. 80 к.
К. Штернгейм — „Четыре новеллы“, ц. 50 к.
Б. Шо — „Назад к Мафусаилу“, ц. 2 р. 50 к.
К. Эдшмид — „Шесть притоков“, новеллы, ц. 60 к.
„ — „Тимур“, рассказы, ц. 75 к.
К. Эйснер — „Испытание богов“, ц. 75 к.
Экспрессионизм — Сборник статей, с иллюстрациями, ц. 1 р. 40 к.
„Французская революция в провинции и на фронте“.
Б. Богаевский — „Крит и Микены“ (Эгейская культура).
„Хетты и хеттская культура“.

СЕРИЯ ДЕТСКИХ КНИГ:

„Английские детские песни“, пересказ С. Маршака, многокрасочн. рисунки В. Конашевича, ц. 1 р.
В. Гауф. — „Сказки“, с рис. Ю. Черкесова, ц. 1 р. 10 к.
Д. Дефо — „Робинсон Крузо“, сокращ. изд. с иллюстр. Гранвиля, ц. 1 р. 50 к.
Р. Распе — „Мюнхгаузен“, с рис. Густ. Доре, ц. 70 к.
М. Твэн — „Приключения Тома“, с иллюстр. Н. Э. Радлова, ц. 1 р. 60 к.

„ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“

ПЕЧАТАЕТСЯ:

Вольтер	— „Орлеанская девственница“.
Зелигер	— „Петер Фосс“.
Миомандр	— „Золотой телец“.
Петроний	— „Сатирикон“.
Э. По	— „Стихи“.
Тагор	— „Воспоминания“.
Бюхнер	— „Дантон“.

ВЫШЛИ В СВЕТ

издаваемые „ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ“ журналы

„СОВРЕМЕННЫЙ ЗАПАД“

под редакцией Е. И. Замятина, К. И. Чуковского, А. Н. Тихонова и А. М. Эфроса

№№ 1, 2, 3 и 4

Печатается **№ 5.**

„ВОСТОК“

под редакцией академика С. Ф. Ольденбурга, академика И. Ю. Крачковского, профессора В. М. Алексеева, профессора Б. Я. Владимирцева и А. Н. Тихонова.

№№ 1, 2, 3 и 4.

Печатается **№ 5.**